



Большая смерть
выходит на дорогу,
Тяжелый воздух
лапами когтя.
Мы пожили свое,
и слава Богу,
Но каково тебе,
рожденное дитя?

Евгений
Блажеевский.

Полотнище, которое не-
сли над головами люди,
праздновавшие сверже-
ние коммунистического
режима, теперь лежало
свернутое в огромный ка-
тыш как раз в той комнате,
где Жора с Клубничкой
начинали свой путь в биз-
несе.

Сергей Алиханов



Национальная идея не
только не противоре-
чит демократии, но,
напротив, может быть
наиболее полно осуще-
ствлена именно демок-
ратическим путем.

Борис
Братусь

Я всегда подчеркиваю,
что мое мнение есть
мнение частного чело-
века и, как правило, то-
же по поводу частных
людей.

Дмитрий
Галковский



Эдуард Лозанский: Организаторы круглого стола видят в участниках этой встречи умных, критичных и проницательных врачей-терапевтов... **Василий Аксенов:** Осмелюсь предположить, что возрождение нашей страны немыслимо вне контекста западной цивилизации. **Владимир Буковский:** Это мой далеко не первый приезд в эту страну, но, боюсь, один из последних. Чем чаще я сюда езжу, тем меньше у меня остается надежды... **Александр Зиновьев:** Советский период русской истории был не провал, а, наоборот, самым значительным периодом... **Владимир Максимов:** Нынешняя Россия — это омерзительная нео-большевистская клоака, симбиоз вчерашних номенклатурных растений с откровенной и абсолютно безнаказанной уголовщиной...





КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Совместное издание

**Редакции журнала "Континент",
Ассоциации друзей журнала "Континент"
(Париж, Президент Ассоциации и основатель-учредитель
журнала "Континент" ВЛАДИМИР МАКСИМОВ),
Издательства "Московский рабочий"**



**ИНКОМ
БАНК**

**Журнал издается при содействии
ИНКОМБАНКа**

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*



Выходит 4 раза в год

МОСКВА - ПАРИЖ

Главный редактор: Игорь Виноградов
Зам. главного редактора: Игорь Тарасевич

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов • Виктор Астафьев • Ценко Барев •
Александр Блок • Иосиф Бродский •
Армандо Вальядарес • Галина Вишневская •
Георгий Владимов • Ежи Гедройц •
Густав Герлинг-Грудзинский • Пауль Гома •
Милован Джилас • Пьер Дэкс • Вячеслав Иванов •
Эжен Ионеско • Фазиль Искандер • Оливье Клеман •
Роберт Конквест • Наум Коржавин •
Эдуард Кузнецов • Николаус Лобковиц •
Эдуард Лозанский • Эрнст Неизвестный • Жорж Нива •
Амос Оз • Булат Окуджава • Ярослав Пеленский •
Андрей Седых • Виктор Спарре • Витторни Страда •
Юзеф Чапский • Карл-Густав Штрём • Юлиу Эдлис •

Представители "Континента"

Израиль	Юлия Эйдельман Hashaftim 22 64365 TEL-AVIV, ISRAEL ☎ (03) 69-67-375
Италия	Джулия Филиппелли Via OLMETTO, 5 20100 MILANO, ITALIA ☎ (2) 86-45-47-23
США	Эдуард Лозанский 3001 Veazey Terrace, N.W. Washington, D.C. 20008 USA ☎ (202) 362-7855
Франция	Татьяна Максимова 9 rue Lauriston, 75116 Paris, France ☎ (1) 45-00-67-56
Швейцария	
Женева	Жан-Филипп Жаккард 104 rue de Carouge 1205 GENÈVE, SUISSE ☎ (22) 321-4052
Берн	Юрий Гальперин Scheuermattweg 14 3007 BERN, SUISSE ☎ (31) 459-463
Япония	Госюке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
При перепечатке наших материалов ссылка на "Континент" обязательна.
Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Лаврин <i>Ночь горит напрасно. Стихотворения</i>	7
Сергей Алиханов <i>Клубничное время. Повесть</i>	12
Евгений Блажеевский <i>Профиль стервятника. Стихотворения</i>	78
Анатолий Приставкин <i>Ласточка-касаточка. Из цикла "Рязанка"</i>	84
Юрий Кувалдин <i>Так говорил Заратустра. Рассказ</i>	121
Марк Харитонов <i>Новобранцы. Рассказ</i>	138
Литературный дебют Леонид Раскин <i>Четыре стихотворения</i>	152
РОССИЯ	
Борис Братусь <i>Закат "Империи зла" глазами психолога</i>	154
<i>Настоящее и будущее России. Выступления</i> Э.Лозанского, В.Аксенова, В.Буковского, А.Зиновьева, В.Максимова на июньской Международной встрече в Российской Академии наук	196
ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ	
Георгий Иванов <i>Страх перед жизнью. Предисловие и публикация</i> Е.Витковского	239

РЕЛИГИЯ

Антоний, Митрополит Сурожский <i>О церкви, о монашестве и браке. Публикация</i> Е.Л.Майданович.....	248
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Дмитрий Галковский <i>Русские мифы</i>	268
<i>Интервью с Дмитрием Галковским. Записал А.Хлус</i>	310

ИСКУССТВО

Сергей Юрский <i>О современном театре. Мысли этой зимы</i>	326
--	-----

ПИСЬМА В КОНТИНЕНТ	344
---------------------------------	-----

НОЧЬ ГОРИТ НАПРАСНО

* * *

Мне жаль персидскую княжну
И шаль ее с вишневым блеском.
Мы тоже канем в ту волну, —
Ведь жизнь прошла и выпить не с кем.

И не с кем выйти на причал,
Сжимая пачку желтых денег,
Чтобы священник обвенчал
Волну с волной, как шизофреник,

Чтоб он тоску высоких слов,
Как сеть, на женщину набросил.
Мы не забудем этих снов,
И волн речных, и скрипа весел,

И песен каторжный размах,
Летающий вдаль, в чужие страны...
Но слишком быстро, на глазах
Река затягивает раны.

Сквозь гладь воды, сквозь ткань времен
И мы уйдем в миры иные.
О, этот страшный, сладкий стон,
Душой услышанный впервые!

**Александр
Лаврин**

— родился в 1958 г. в г. Советская Гавань.
Учился в Московском институте культуры.
Автор сборника стихов "Поднимается ветер"
(1991), сборника рассказов "Люди, звери и
ангелы" (1992), историко-документальных
книг "1001 смерть" (1991) и "Хроники
Харона" (1993).

Сквозь чаек злой переполох
В земных рассеется обидах
Не то русалки первый вздох,
Не то княжны последний выдох.

* * *

Цветенье черного июня,
Копирка ночи, снов загадка, —
Так серебрится в полнолуние
Травой спеленутая грядка,

И следом сад к пустому дому,
Привстав на цыпочки, крадется...
Я отдаю тебя любому,
Кому придется:

Вот этим птицам и цикадам,
В мембраны листьев голосащим,
Вот этим снам, скользящим рядом,
Не состоящим в настоящем.

Ты видишь: ночь горит напрасно.
Не скрыть следы твоих ладоней
От ясновидящих, от ясно
Свидетельствующих бегоний.

И блик олуненного лика
С крыльца метнется с опозданием
Заплачут мята, ежевика,
И травы с вымершим названьем,

И, как зарезанный любовник,
Со стоном выступив из тени,
Дрожа, обрушится шиповник
На деревянные ступени.

ВОЗРАСТ

Ничто не дано в надежде
Увидеть себя седым.
Ты будешь таким, как прежде,
Беспечным и молодым.

Твоя тишина гремела,
И магнием жгла кусты,
Но в тесной каморке тела
Однажды проснешься ты
И ночью, ломая зенки
Об уголь с накрапом звезд,
Рукой проведешь по стенке,
Пытаясь подняться в рост.
И, голой коснувшись кожей
Цементного наждака,
Ты вытянешься, похожий
На бедного старика,
Который, ну что есть мочи,
В безумии, с кондачка,
Все тычет в скважину ночи
Обломанный ключ зрачка.

* * *

В больнице сумрак. Ночь прошла.
А в шесть утра зима настала —
Из охлажденного стекла,
Из осажденного кристалла.

Она сгодилась бы и в сны,
Но тьма окутает палаты,
Когда из этой белизны
Нашьют больничные халаты,

Когда настанет шесть утра,
А в шесть утра зима настанет,
И птица канет со двора,
И с этой птицей память канет,

Истаяв, словно чайный пар,
Она проступит через годы:
Придурковатый санитар
В дежурке травит анекдоты,

Лениво вскидывая бровь,
Безумье бродит этажами,
И мальчик в жертвенной пижаме
Ладонь расчесывает в кровь.

* * *

Не сны морей, а дни печали,
Чья география проста:
Ее мы в детстве отмечали
На белой памяти холста

Таким же нежным, снежным мелом,
Неразличимым для других,
И воскресали между делом
В своих прозрениях ночных.

А после веселились или
Смотрели, как, раздвинув мрак,
В рубашках белых выходили
Самоубийцы на чердак.

По ребрам крыши, страшно ловки,
Развешивали бытие,
И бельевые их веревки,
Как драгоценные колье.

* * *

Растаял снег, и сумрак сглажен
На блузе томного Пьеро,
И синий вечер авантажен,
Как театральное перо.

"Карету, — выкрикнув, — карету!"
Испив вина чужой вины,
Вдруг понимаешь, что поэту
Ужимки счастья не страшны.

В его гримерной брови Яго,
Нос Бержерака, сон Дюма
И переломленная шпага
Остроконечного ума.

Я тоже знал такие роли,
Где что ни профиль, то — анфас,
Где по прорехам на камзоле
Филеры узнавали нас.

Налево ли пойдешь, направо,
Суфлера волею влеком,
Из-за кулис бывая слава
Грозит костлявым кулаком.

* * *

Не говори, мой друг о том, что надо
уезжать. Отложим счастье на потом — когда
умрем опять. Мы целый век живем в такой
бессмертной нищете, что в сердце светится
покой, как роза на кусте. Ну, так прошу,
молчи, мой друг, о том, что над землей
горит звезда земных потуг — иголкой
ледяной. Уколет, кажется, слегка, — во сне
и не понять, — а смерть, как ласточка, легка,
— спешит крылом обнять. Как сладок шаг ее
пустой, скворешная метель... Хозяйка
пустит на постой, взобьет в ночи постель.
И все, что пело наугад, что плакало
в столе, шумит как яблоневый сад, последний
на земле.

КЛУБНИЧНОЕ ВРЕМЯ

Повесть-хроника

Ибо мы истребим сие место,
потому что велик вопль на
жителей его к Господу, и
Господь послал нас истре-
бить его.

Бытие (19, 13)

1

Если далеко за полночь раздается телефонный звонок, то Край уже знает — это Клубника звонит.

Чего ему надо? — а ничего. Просто обзванивает он партнеров своих, чтобы и перед сном им жизнь медом не казалась. Сам же Клубника никогда не спит, а тасует картишки.

Играет Клубника честно, но не всегда. Чуть зазевался — сразу плати бабки.

Край хавал от него и скрипку¹ и накладку². А на БАМе, по которому они с концертами ездили, песни для

**Сергей
Алиханов**

— родился в 1947 году в г. Тбилиси. Окончил Грузинский институт физической культуры. Автор книг стихов "Голубиный шум" (1980), "Долгая осень" (1987), "Лен лежит" (1989), "Блаженство бега" (1992).

¹ скрипка - шулерский карточный прием, при игре в деберц, когда затесываются незаметно все красные или черные карты и при съеме колоды одним движением разделяется на масти.

² накладка - шулерский прием, когда при съеме на колоду сверху кладут спрятанные в ладони карты, которые сдающий сам же и сдает партнеру.

строителей пели, делал Клубника в агитпоезде любые объявления¹, Край верил ему на слово, не проверял.

У Клубники глаза синие, горят всепобедным огнем и чуть-чуть косят. Одним глазом как будто на тебя смотрит, а другим в карты твои подглядывает. Волосы у подлюги растут отовсюду в растопыр, на пробор сразу после бани успеет их расчесать — хорошо, а нет — ходит, как дикобраз; руки короткие, животик свой поглаживает — еле достает.

У Края все в точности наоборот. Лысеет, а лысину только Луне видать — высок больно. В фас вроде монгол, а в профиль — Гоголь и Гоголь. И если судить по задумчивому виду, то пока рот не раскроет, подумаешь — культурный человек.

Раз вышли они в Северо-Муйске в концертных туфлях на эстраду, ненароком глянули друг на друга и как начали смеяться, так и просмеялись весь номер. А работяги бамовские аплодисментами их проводили — решили, что в этом-то и вся соль.

Но вот однажды, уже в Москве, объявил Клубника пятьдесят от туза трэф с доездом, а Краю-то всего два очка надо было набрать. Проиграл он партию. Вдруг смотрит — валет трэф у него в руках.

— Покажи, дурака мать, — говорит, — где твои пятьдесят?!

А Клубника оставшуюся колоду смешал уже и отвечает, что пятьдесят было в пиках, а валета трефового Край может себе в нос свой длинный засунуть.

Тут Край карты бросил и пошел вдоль Москвы-реки гулять, успокаиваться. А Клубника следом бредет и бормочет, что он кругом прав и за это десятерным отвечает².

Вернулись, опять играть сели. И к вечеру выкатал Край котлы фирменные, которые тысячные секунды показывали. Сидит потом на толчке, развлекается, пробует на них свою реакцию. Но не долго он так поразвлекался.

Пришла Лариска химкинская и та Ольгутка, что племянница композитора Мюридова, и Лариска то ли

¹ объявка - сообщение об имеющейся на руках карточной комбинации, дающей очки, без предъявления этой комбинации.

² десятерным отвечает - ставит десять к одному за свое утверждение и готов заплатить, если выяснится при разборке, что был не прав.

уж спохватился Край, заставил телок одеться: лазили-лазили втроем по кустам, газеты жгли, да поздно, плакали часики, кто-то уже подобрал их да унес.

* * *

Зипер, если ему кадык убрать, в точности похож на молодого вождя, разве что лоб чуть уже. Было у него и удостоверение особое на право играть эту роль хоть в театре, хоть в кино — где придется, — да затерялось. Зипер и грассирует, если попросят, да так, что не отличишь.

А в сентябре, как водится, нажрался он до беспамятства. Клубника все подливал ему коньячка да подливал, а потом на Зипера матрац со шкафа упал, и он развалился в коридоре, голова под вешалкой, к дверям не подойти, и лежит. Ребята плюнули на него, продолжают веселиться. Ведь Зипер как наклюкается — нет спасенья. А он очнулся, втихаря встал и все карманы, все сумки обшарил, из Серегинной мыльную кисточку и бритвенный прибор в свою засунул — Серега тогда еще бездомным был, по друзьям ночевал — и убежал под дождь баб клеить. Но упал, падла, в лужу и заснул. Пошли потом Надоленко с Клубникой искать его и не нашли — Зипера уже патруль подобрал. В вытрезвительском же протоколе сумма изъятая была указана — всего шесть рублей. Куда он Серегин сороковник дел — никто не знает. Может, Колька Квач под шумок подшустрил; но нет, вряд ли. Наверное, сами менты сначала обчистили Зипера, а потом уж и протокол написали.

Квач, кстати, первым среди нас и пошел потом в гору. Он уже и тогда был рачительный малый. А сейчас только тот, у кого валюты навалом, может его увидеть. Ведь работает Колька в Италии, в Милане, в дорогом русском кабаке. Никогда толком ничего не умел, только на баяне играл, и не так чтоб уж очень круто, а вон куда залетел. Прислал недавно фотографию — красавец, аж светится весь, стоит под навесом у входа возле надписи "Яр", и баян как игрушка у него в руках — и не хочешь пить, а зайдешь.

Клубника, конечно, пишет не только лирику, но и патриотику. Вот уж сколько лет все жалуется он, что Доброхотова, свинья, забрала на худсовете его песню "Любовь, комсомол и весна". А через месяц по

всем программам крутилась эта песня, да только под ее фамилией. И все потому, что многие мультики знает Клубника, а нот не знает. Начал подбирать по слуху, платил потом за клавиры, но так и не удосужился овладеть нотной грамотой. Глупость, конечно, все было ему недосуг. Да и зачем нужны такому человеку эти значки, если сам Кобзон на коду и по сей день поет и "Миру мир", и "Третью бомбу сбросить не дадим"? А попадется вам в руки рапортчика кобзоновская, так вы увидите, что самый исполняемый им композитор — Клубника. И если нужно срочно лекарство какое-нибудь заграничное или гондоны вдруг закончатся — всегда идет Клубника за кулисы на поклон к певцу и разжигается.

* * *

Люди мы все не бедные, конечно, на что выпить всегда найдется, но разве кто-нибудь из нас может сравниться с Надоленко? У него и замашки богатого человека — купил недавно и пальто и брюки вельветовые и даже шляпу фетровую купил. Выйдет из метро, оглянется, усики разгладит, полям шляпным нужный изгиб придаст и пойдет, из стороны в сторону чуть наклоняясь для элегантности. Правда нос у него несколько сомнительной формы, но зато глаза умные, зеленые, как оливки. По ящичку пляж показывали, самый длинный в мире, Апокабана называется, и вдоль всего этого пляжа отели стоят "Надоленко" с ударением на предпоследнем слоге. Это родной дядя его вовремя свалил и мог бы легко племянничка упаковать, если б за своего признавал. А пока что сидит Надоленко в полном дерьме, но чего не случается, может и сжалится когда-нибудь дядя и призовет его к себе в Рио.

Так, тоскуя по Южной Америке, пили вечером однажды Край с Надоленко коньяк, а закусывать нечем. Тут Край и говорит:

— Давай с тобой на Север махнем за семгой, может и шапки котиковые раздобудем. Возьми с собой пару-другую лишних яуфов, обратно их полными привезем.

Тут же на скорую руку заявку на фильм набросали о молодом председателе рыболовецкого колхоза — Надоленко тогда еще с телевидения не выперли.

Быстренько сколотил он бригаду охотников на семгу, человек семь: два осветителя, звукорежиссер с помощником, оператор, инженер, да и Края, конечно, тоже включил. Билеты взяли и полетели по пьяной лавочке в Койду через Архангельск и Мезень. На дворе-то февраль, в это время там по месяцу летной погоды ждут, а дуракам счастье — за три дня добрались. Вылезли из Юшки, огляделись: ни деревца вокруг, ни кустика — снежная пустыня. И не встречает никто, хоть вроде из райкома телеграмму давали.

Дотащились волоком до сельсовета, входят к председателю, мы, говорят, московское телевидение. Оживился председатель, молодой, но не по годам смурной:

— Наконец-то, — говорит, — а то люди все ждут не дождутся. Я уж и телевизоры в сельмаг завез, и раскупили их половину, а ретранслятор все никак не смонтируете.

Видят ребята — ошибка вышла.

— Мы, — говорят, — фильм прилетели снимать, а не ретранслятор устанавливать.

— Опять прохиндеи столичные на халяву заявили! — как зарычит председатель! И расселил всю бригаду в общаге, где еще только в конце марта охотники за котиками будут жить, холодно — не то слово.

Купили в сельпо трески вяленой, водкой привезенной насилу разогрелись, и слышит Край — ребята сговариваются ему ночью темную устроить. Что делать? Пошел к аэродромной избе на расписание взглянуть, а она вдруг открытой оказалась. Вошел и спрашивает у радиста в телогрейке:

— Когда следующий самолет на Мезень?

— Недели через две.

— А ты тогда чего тут загораешь?

— Из Долгощелья самолет садится на Архангельск.

— Билеты есть?

— Конечно есть — там всего два пассажира летят.

Побежал Край в общагу за сумкой и говорит на ходу ребятам:

— Не буду вам тут под ногами мешаться, работайте. А меня срочно в Москву вызывают.

— Вызывают натягивать двумя руками, — сказал Надоленко и воздуха набрал в грудь, чтобы пустить вслед матерком, но Край дверью хлопнул и был таков.

Разбежался самолетик на лыжах своих, и нехотя отпустила его северная земля.

Летит Край над тундрой, низко летит, буря начинается. Вдруг зарево впереди возникло. Приближаются, пролетают прямо над ним, видят — лагерь, строгий режим. Прямо над колонной зеков пролетели — строем в столовую идут, — и вот все сгнуло, и только овал зоны светится во мгле.

И потом шел Край по льду через Двину с Киг-острова в Архангельск и все думал — нет, не всем с жизнью шутки шутить удастся.

А когда через фарватер переходил по мосткам, где ледакол дежурит и где костры жгут, чтобы в реку никто впотьмах не свалился, глянул вниз, в крошево ледяное, и перекрестился от всего сердца первый раз в жизни — пронеси, Господи.

* * *

Другим летом играли опять Край с Клубникой у того же окна. Птицы поют, а карта у Края не идет.

Тут Серега звонит с работы, чтобы пару лишних минут убить. Край и говорит ему:

— Спроси там у сотрудниц, не хочет ли кто на часок к нам заглянуть, а то засаживаю все подряд¹, пора сделать перерыв.

Через часик прикатила одна, с лица вроде ничего.

"Пусть сперва Клубнике даст, — решил Край, — мне-то всегда успеется", — и пошел в сберкаассу за деньгами.

Назад не сразу вернулся, а приходит — они все еще говорят о том, о сем. Тут прогнал он Клубнику на кухню и на скорую руку сотрудницу оприходовал. А Клубника — и смех и грех, — как только Край в ванную пошел, прямо в ботинках к ней полез, в одной руке — колода, а другой за нее хватается.

Она и говорит ему:

— Ты хоть что-нибудь одно отпусти, — с разговором попалась бабенка.

А Клубника, суеверный малый, зажмурил один глаз и думает — это неспроста, так картишки и не выпустил.

¹ засаживаю все подряд — проигрываю.

Тут Зипер позвонил и говорит, что Достоевского достал. Все бросили, Край схватил свой большой американский чемодан, и помчались. Катать у Зипера не стали, буквально всего пару партий сыграли, в железку на удачу зарядили, засунули все тридцать томов в чемодан, вытащили на улицу, сели на него и голосуют. Уже смеркается.

Вдруг их "Москвич" фарами ослепил, а из него мент вышел, кобуру расстегивает на ходу. Клубника только и успел сказать:

— Ложись...

— Что у вас в чемодане? — гаркнул тот из-за спящих фар.

— Книги, — ответил Край.

— Показывай, открывай.

Посмотрел на книги, застегнул кобуру и назад к "Москвичу" пошел.

Спас Достоевский.

* * *

Катран¹, который вскоре открыл Клубника на квартире Зипера, отличался от других нехваткой мебели. Зипер спит на полу, жрет на ящиках, совокупляется на подоконнике, а для катрана нужны стулья. Играющие привозили их с собой, оставляли, и скоро стульев стало хватать. Игра шла круглые сутки, и окна были всегда зашторены, потому как выходили на гостиницу "Украина", на ее плюсовые номера. Катали в основном в буру², которую Клубника обожает, а Край терпеть не может из-за того, что колоду кладут на кашне, чтобы снизу легче было прикупать. Клубника проигрывался дотла каждый день, но поднимал цены на услуги: чашечка кофе — четвертак, бутылка водки — две "кати", да еще у каждой бляди отбирал половину заработка — и опять играл.

Менты нашли катран по окуркам — какая-то сука вытряхнула трехлитровую банку прямо в окно — и обложили Клубнику данью, стали опекать, а Зиперовская доля пошла ментам. Правда, до дележки дело так ни

¹ катран — игровой притон.

² бура — карточная игра, в которой надо набрать 31 очко или предъявить три козыря.

разу и не дошло — Клубника все, что наживал, сразу и просаживал.

Появилось у катрана прикрытие, пришла и известность — Шепелявый, Заширянный, сам Петя Иркутский стали заходить. Захар-покойник дежурил ночами на своем "Жигуленке" — вдруг за чем послать вздумают — бедолага был тогда в долгах. А потом и со всей страны стали приезжать: и Викентий там побывал, и Шакал, и Налим, и Шатун Ленинградский — золотое было время. Клубника перестал есть, ходил по катрану в исподнем, на улицу не показывался. Всех потешала Зоя — она работала под столами, и деньги ей совали вниз прямо из кушевых.

В штосс просаживали на конец месяца столько, что и не выговорить. Шатурский проиграл пол-Шатуры. Аист унес в клюве мешок денег. Но все внезапно кончилось — в одной команде не доставало верхнего, ребята предложили поработать Клубнике, и он поехал с ними на юга. А Зипер один разве потянет такое дело?

* * *

Скорлупка — игра старая. Еще герои О.Генри обыгрывали фермеров, манипулируя сухой горошиной и тремя скорлупками от грецких орехов. Когда Клубника стал верхним, вместо горошины использовался крашеный кусочек поролона, а крутить стали наперстки. Но главное усовершенствование было в том, что против фраера, решившего попытать счастье, стала работать целая команда — нижний, который вприсядку сгибался над маленькой переносной доской, четыре верхних, которые гоняют обезьяну, то есть ставят и выигрывают по кругу деньги, заманивая простаков, и человека три "на Васе" — на стреме то есть. Нижний всегда пустой — как только он выигрывает у постороннего, так тут же проигрывает эти деньги одному из верхних. А поролоновая горошина обычно в щипке у него зажата и выпускает он ее, только приподнимая последний оставшийся наперсток. Дело оказалось настолько хлебным, что Клубника виделся с Краем только раз в два-три месяца, когда возвращался в Москву с сумкой, набитой крупными купюрами, и закапывал очередной котел у себя в огороде. Стал Клубника одним из лучших верхних; работал только на главных площадках — у пере-

крестков дорог, у придорожных гостиниц возле Ростова, Краснодара, Туапсе.

Гуляли, гужевались ребята, ну а потом несчастья пришли своим чередом. Один нижний сел за травку, а потом Гоша сел за рыжье. А ведь и отмазка была, и уговор был с ментами не брать кольца и цепочки, но подвела Гошу жадность. Сделали в тот раз возле "Севастополя" одной бабе "цвет" — это когда нижний вроде отворачивается, а Клубника или другой какой из верхних засветку делает — вот, мол, где горошина, под этим вот наперстком — а сам тут же и берет ее. А баба та на этот наперсток ногой наступила, свои-то деньги все уже просадила, ставить нечего, а у стоящей рядом телки, которая все это видела, но сама не играла, цепочку золотую с крестом выцыганила и поставила на кон — дело-то верное. Ну и вот, снимает теперь та баба ногу с наперстка — и надо же! пусто! А Клубника, не мешкая, поднимает оставшийся наперсток, горошину выпускает — вот она где оказалась! Забрал Гоша рыжье, а верхнему спустить его не успел, не тут-то было — вцепились бабы в Гошу и визжат на всю площадь. Им сзади верхние по головам плашмя со всего маха раз! раз! — поплыла картинка перед глазами, а они еще сильней визжат. Гоша вырвался, в "Волжанку" свою вскочил, но та баба, чья цепочка, ухватилась за руль — Гоша ее кругами волочит, в морду тычет свободным кулаком, но ничего не помогло — взяли Гошу.

А потом и на минке возле мотеля облажались. Подошел вроде лох¹, и как будто один. Засадил легко штуки три, засветил капусту, а потом и говорит: "Давай на тридцатку или лучше на сороковку крутани, хрен с ним". Гоша тут же бы просек, что номер не тот, да не было уже Гоши, и Клубника замешкался, не успел толкнуть нижнего, Женька в тот день плюгавый работал. И вот крутанул он, держит, баран, свою поролонку между пальцами, а тот лох оказался вовсе не лох — поднял ближний наперсток, а под ним другая точно такая же поролонка лежит. Оглянулись ребята — а вокруг целая команда с волынами² наготове — и надо платить, никуда не денешься.

Плюнул Клубника и стал искать дело поспокойнее.

¹ лох — фраер, недотепа.

² волына — пистолет.

Жора в это время был пасечником в горах. Это только на пляже в Коктебеле кажется, что Крым людное место, а отойди вглубь километр-другой — нет никого, дальше только олени, кабаны, волки. И Жора один, долгие годы один, кончится хлеб — пойдет на турбазу, на мед его выменяет и опять в горы, травы собирает, чай на них настаивает, смотрит на огонь, не спеша пьет, силы копит.

Пойдет браконьерить, лучше пса олений дух чует. Пустится за зверем в погоню, день идет, два, преследует его, а как загонит, убьет — на плечи взваливает и домой несет.

А когда, глядя в лужу, бреется, то словно бог лесной отражается в ней. Волос шапка такой густоты, что и в самый холод лютый Жора ничем голову не покрывает. Глаза серые, с темным придоньем, в себя свет вбирают, а излучают силу неведомую.

А на турбазе с утра Высоцкий в репродукторе в горы зовет, а к ночи гулянка, табачищем несет за версту, после танцев шепот по кустам, смех, праздник жизни. А Жора ноздрями нечистый воздух потянет и опять назад, как зверь, заберется в урочище свое, псов оленевой кормит и сам ее ест, а ружья и по сей день в тайниках лежат — вдруг пригодятся.

Случалось, глянет Жора на турбазе в газетку, что под стеклом на стенде желтеет, посмотрит на фото, на рожи расплывшиеся, и отвернется. Никогда не читал их; насквозь видел.

Долго ждал, долго терпел, да и дождался.

Объявили коммунаки сдуру, что раз уж социализм стал плотью и кровью народной, то можно инициативу позволить. Ну кто тогда воспринял это всерьез? — так, очередная блажь аппаратная.

А Жора прослышал о новшествах, спустился с перевала, с пьяными туристами потолковал и в этом знак для себя увидел. Продал пасеку, купил вагон веников и поехал в Москву.

Зипер протрезвел и решил пойти в монахи. До Загорска добрался, входит в обитель, бороду уже отрастил,

осталось только постричься. Но не тут-то было — батюшка ему говорит:

— Паспорт покажите, пожалуйста. Прописочка-то у вас иркутская. Я вам могу дать адрес тамошний, где вас примут, если подойдете.

Зипер весь дрожит, а тут вместо опохмелки такая лажа, — да и послал батюшку.

Делать нечего, опять надо кино снимать, Зипер-то киношник. В последний сценарий восемь женских ролей вписал, всем скопом навалились актрис отбирать — пять месяцев отбирали, Край опять еле вылез, а остальных пронесло.

Что там девчонки, до чего матери их дуры. Раз забраковали парочку, а следующие по плану что-то задерживаются. Стали на ночь глядя обзванивать всех подряд и все больше на матерей нарываются.

Зипер и говорит глупой матери, что завтра с самого раннего утра выезжаем в Ясную Поляну на пробы; автобус мосфильмовский уже стоит у подъезда, так что поднимайте дочь и присылайте к нам на такси.

И будят, и присылают.

Снимет Зипер кино, а есть все равно хочется. И устроился он экскурсоводом на Курский вокзал. Ходит вокруг будки, орет в мегафон, приезжих в "Икарусы" зазывает. А чуть кто посимпатичней попадается, так сразу красное режиссерское удостоверение достает из заднего кармана и ей сует, не зевает.

* * *

Продав веники Жора и деньги положил в банк. Прадед был у него банкир, дед успел банкиром побывать, отца, конечно, пустили в расход, а сам Жора уцелел, и вот счет у него появился. Ну, думает, всем вам теперь покажу, да только не знает еще, как. Мечется, уставы пишет, а зарегистрироваться не может — не москвич он. Нашел бабу, дал ей десять тысяч, женился. А баба с придурью оказалась, неприятности одни, деньги возвращает, гребни, говорит, меня. А Жоре все некогда. Дай, думает, куплю ей видик или что подешевле, чтобы отстала, и отправился в Безбожный переулочек в валютку.

От метро две трамвайные остановки прошел, пятак сэкономил, повернул за угол и на Венеру наткнулся. Венера тогда в форме военно-морского атташе работал:

— Не хотите ли чеков купить?

— А почему?

— Да я свои продаю, у меня дешевле всего.

— Хочу, — отвечает Жора.

— Деньги у тебя с собой?

— Да.

— Сколько будешь брать?

— Тысячи две возьму.

— У меня сейчас столько нет, но я знаю, у кого есть, пошли.

Заходят Жора с Венерой в подворотню, где бани Астраханские, а там Клубника на ящике из-под пива сидит, клиентов поджидает.

Насчитал Клубника Жоре чеков, дал лишка. Потом взял пересчитывать, сломал¹ и опять дал.

А Жора деньги держит в одной руке, а чеки в другой и ничего не отдает.

Венера ему шипит:

— Деньги давай, ты чего?!

И Клубника вторит:

— Давай деньги, чего ты, в натуре?

А Жора подлянку чует, лапищи у Жоры будь здоров, как что туда попадет — наружу не скоро выходит.

— Погодите, — говорит, — дайте сообразить, вам какие деньги дать — эти или эти.

Венера шума не любит, видит — плохо сработали.

— Дай, — говорит, — какие-нибудь и иди к зеленефене.

Жора еще чуть-чуть помозговал, чеки сломанные отдал и пошел. Но Клубника, по старой привычке, не любит за так лоха отпускать.

— погоди, — говорит, — я тебе маг продам.

— А где он у тебя?

— Тут, недалеко.

Смерил Жора Клубнику взглядом, видит — съест его с потрохами при случае, и согласился.

По дороге и познакомились.

¹ сломал (ломка) — перегнул пополам пачку, одну половину пересчитал по согнутым корешкам, а другую половину убрал в карман.

— Не дрейфь, Жора, — подбодрил его Клубника, — помогу я тебе кооператив зарегистрировать, у меня в Долгопрудном телка как раз там, где надо, работает, и с конторой помогу — придется дать штуки три (тогда еще цены смешные были).

— Какие разговоры, только подсобите мне, ребята, будете в порядке.

Так все и заварилось.

* * *

И пошли они вдвоем повсюду — исполкомы, жэки, заготконторы, министерства, райкомы, комиссии ветеранов, депутатов, афганцев, матерей-одиночек, жилкомиссии; и рестораны, и закрытые дома — композиторов, литераторов, архитекторов, журналистов; и всюду идут — впереди Клубника, а сзади Жора. Несет Жора кейс, где Клубничные записные книжки, пропуска, визитки, а Клубника животик свой несет. Делают общее благое дело — денежки наживают.

У Клубники вид предприимчивый, энергичный, руками размахивает, все что-то объясняет, хотя и так с первого взгляда ясно — платит Жора. А у самого Жоры вид небесный, светится весь горной чистотой, молчит еще, а уши слушают, глаза все насквозь видят. Клубника же все больше меню читает, и жрет, и курит, а улучит минутку и панибратски Жору по плечу похлопает, когда тот сидит. А Жора улыбнется или даже рассмеется мелким горошком, и замолчит, и аккуратно рот сложит.

А за Клубничным праздничным столом из всех тех комиссий и министерств главные шишки оказываются. Сперва присматриваются, а потом стопарник выпьют, другой, да и понеслось. К закрытию кабака все уже друзья, да чего там друзья — единые духом люди, и желание у всех одно — Жоре помочь.

И в самом деле, месяца уже через два появилась у Жоры первая контора, или, как говорят, — офис, в доме, который вот-вот должны сносить, но все почему-то не сносят, но, конечно, снесут буквально на днях.

Нашли партнеры в выселенной квартире две железные кровати, поставили возле телефона, сели друг против друга и уговорились: как заработают первый миллион — покупают Клубнике студию музыкальную,

чтобы он все свои песни сам бы спел и сам записал, и стали звонить-названивать.

Покупают и продают, продают и покупают — женские сапожки, подсолнечное масло, пиджаки из кожзаменителя, унитазы, шерсть в мотках, заполнили все комнаты этой шерстью, дышать нечем; и опять все продали, и снова только две кровати да еще телевизор появился. Бегают, суетятся, а все без толку — нет миллиона. Клубника отчаялся, стол раздобыл, хочет опять катран открыть. А Жора намост десятков-другой тысяч, купит колечко бриллиантовое и в банке его с низким поклоном нужному человеку преподнесет — вашей, дескать, супруге, с праздником разрешите поздравить, а то и не надо никакой супруги, когда нужный человек — баба.

Но тут счастье подвалило — у Коли Жадного выкатал Клубника копию устава его фонда "Вечная память павшим матросам". Глянул в устав Жора — молодцы ребята: налоги-то со всех кооперативов, которые под маркой фонда окопались, идут на озеленение братских могил в белорусских лесах.

"Мы-то чем хуже", — решил Жора. Вычеркивает "павших", Чернобыль, думает, весь уже обсадили, и пишет "Женский благотворительный фонд" — и цели одна благороднее другой определяет: помощь многодетным и начинающим матерям, искусственное осеменение, лечение бесплодия...

— Вылечим, всех вылечим, — радуется Клубника.

* * *

Зарегистрировали Фонд, покруче стали наживать.

Компьютеры подвернулись, стали пропускать их партиями через свой счет, расти стали цифирки. Участки там и сям под Фонд получили и передали их кому нужно, то же самое и со строениями. Чувствует Жора — надо для отмазки и о матерях позаботиться.

Дали объявление в газету, по радио запустили рекламу: "Медовый массаж, бесплатная раздача пыльцы".

Застелили кровати простынями, халаты белые надели и ждут — полетят бабочки на огонек или нет. И полетели они, да еще как — косяками.

И вот зачерпнет Клубника горстью своей корявой медок, разложит пациентку и коричневыми от табака,

шершавыми пальцами поводит сначала по бесплодному чреву, а потом кругами все шире, все глубже массирует, и слюна от старания капает. А Жора в отдельном кабинете принимает. Начинает всегда со спины, никогда сразу в промежность не лезет. Спрашивает — какой стол, какой стул. Проверялся ли муж — ведь, судя по всему, это его вина, никаких женских отклонений Жора не чувствует.

И к вечеру так распалются они на народной медицине, аж пар валит. Завели из тех пациенток, что попокладистей, пяток медицинских сестер, оклад им положили сдельный, а потом и на круглосуточное дежурство перевели — полегче стало.

* * *

Если купить пять караваев хлеба и из них мякиш один смять, то в точности физиономия Кольки Квача получится. Любит Край на досуге рисовать его, только лист надо брать большой, и тогда как ни малюй, все равно Квач выходит. Главное — густопсовый рыжий цвет, оранжевый с ярко-красным, как следует смешать и ломоносовским париком обляпать портрет покудрявее.

И вот видит Квач — все торгуют почему зря, час от часу богатеют, а он как был на нуле, так на нуле и остается. Мозгами раскидывает, а продавать все равно нечего. А тут еще жена, дура, день рождения себе устроила, с ткацкой своей фабрики подружек назвала, а они под двухкассетник, который Квач из Польши привез, танцевать стали, холодильник в угол задвинули, и два мерзавчика, две заветные четвертинки в загашнике нашли. Квач кинулся было, а они уже из горла их и выжрали. Прогнал жену в отпуск, вышел на улицу, видит, две плюгавки симпатичные слоняются: "Пойдем, — говорит им, — сухаря ко мне пить". Пошли. Пили, пили, Квач в туалет облегчиться зашел и слышит — за ним щеколду задвинули. Сразу неладное почуял, забился, как птица в клетке, вопит — а что толку, баян, думает, уже унесли.

Изловчился наконец, уперся в стенной шкаф, садал ногой, вышиб дверь и вниз по лестнице, как орангутанг, запрыгал. Выбежал из подъезда, а уже ночь. Озирается вокруг, видит — под дальним фонарем фигурка женская промелькнула. В два шага нагнал ее

Квач, за волосы схватил, потащил в оперпункт, орет — баян отдавай!

Оперпункт, конечно, закрытым оказался, но смотрит Квач, вроде это совсем другая телка, не из тех, что с ним пили.

Делать нечего, отпустил ее, вернулся домой. Баян на месте, а магнитофона-то нет. И пригорюнился Квач, совсем затосковал.

* * *

Зипер кричал на весь Курский вокзал, глотку драл, а потом стал предложения позаманистей подбирать, паузы нужные делать, и повалили экскурсанты в его автобусы, ему с каждого полтинник отстегивается. А буквально рядом, метрах в ста пятидесяти, другие такие же автобусы стартуют, но гораздо реже, по часу стоят, пока заполнятся, и те люди, которые первыми зашли, не выдерживают и уходят.

Тут хозяин посыльного прислал, вызывает. Обрадовался, конечно, Зипер, приходит в кондитерскую, думает, сейчас ему хозяин птичье молоко вручит килограмма на три. Просидел в приемной минут сорок, засомневался — столько особо отличившиеся не ждут, и в самом деле — недоволен хозяин.

— Ты что, Ленин?! — сказал он, — зачем ты, Шурик, ребятам хлеб перебиваешь?

— Я не Шурик, — возразил Зипер, — работаю, стараюсь, как могу.

— Шурик ты рогатый, спокойнее надо, вместе делайте дело, — внушает хозяин.

— А конкуренция? — осмелился спросить Зипер.

— Какая тут, в лохань, конкуренция, — удивился хозяин, — когда и те автобусы тоже мои.

Поблагодарил Зипер за науку и поехал опять на вокзал. Надрываться перестал, оглядывается больше вокруг. К нему, оказывается, уже присмотрелись.

Подходит один, обычный такой с виду, и говорит:

— Можно в твой будка я сумка поставлю, мой брат придет потом, заберет.

— Оставляй, — разрешил Зипер, — какие разговоры.

Пришел через пару дней брат, и вроде даже похож, сумку взял и Зиперу сзади что-то в карман сунул.

Пересчитал Зипер и испугался — две штуки! А ведь ему еще кино снимать надо. Приходит опять тот с сумкой, а Зипер ему две штуки возвращает:

— Вот, — говорит, — брат твой обронил, извини.

Если же самотеком на своем автобусе подвалит кто к вокзалу тоже экскурсантов возить, то тут от вольного можно действовать — разрешил хозяин. Это как праздник — потому что весело очень.

Забирается к ним Зипер в автобус вроде с разборкой, что у вас, мол, нет разрешения, где ваша лицензия и т.д. И пока он толкует с ними, ребята им в шины гвозди забивают, но не глубоко, потому что предупреждай, не предубеждай — все равно возить будут. И вот наберут самопальщики экскурсантов, только отъедут с вокзальной площади, а уже и приехали — вылезай. Второй раз не сунутся.

Бомжей все оглядывал Зипер, присматривал типы для своих будущих кинокартин, а потом бросил: бери любое лицо, недельку не мой его, не брей — да и вставляй в картину, в самый раз будет.

А вот насчет блядей вокзальных — зря говорят, что их там вроде рои несметные, — нет, совсем не так. Баба бездомная — это еще совсем не блядь, а просто несчастная баба, и дает она не затем, чтобы заработать, а так, от скуки жизни или чтобы поспать лишний раз в кровати. Но случается, сядут подружки-девятиклассницы где-нибудь в Пензе или в Перми в поезд и канают в Москву пугачевыми становиться. Этих вот певиц Зипер аж за версту чует — макияж усиленной радуги, шубка кроличья в проплешинах и косметичка в пластмассовом пакете, — два дня ехали и дней десять уже слоняются по столице, жрут в буфетах объедки со столов, спят в залах ожидания. Как тигр, бросается на них Зипер и предлагает познакомить с композитором известным, автором песни "Любимые цветы". А в метро, уже по дороге к Клубнике или к Краю, предупреждает, что композитор тоже не москвич, сам снимает и что как раз завтра переезжает на другую хату — иначе утром не выпроводить бедолаг.

Теперь не как раньше — с пустыми руками Зипер в гости не заявляется, а всегда двух пензианочек вокзальных в презент привезет.

Знаешь анекдот, может, сам ему и рассказал намерении, а перескажет Надоленко его тебе — и только тогда и посмеешься вдоволь по-настоящему. Ужимкой, телодвижением обволакивающим, интонацией, хватающей прямо животную твою сущность, — вот чем берет Надоленко; не увидишь, не услышишь его неделю — и жить скучно.

Бывает, выпустит в эфир Надоленко передачу "Веселись веселей", всех облажает, осмеет, а под конец и себя не забудет. Что друзей ближних радует больше всего? — когда ты сам, голубчик, в полном дерьме. Развлекал, потешал всех Надоленко, и мало ему показалось — потому что любая шутка, как с ней свыкнешься, уже не смешит, а порой даже слабой улыбки не вызывает, и решился на самопожертвование.

Едва выйдя из прыщавого возраста, попал как-то он в объятия доцентши одной, по фамилии Ольга Зверева. Родила она от него и женила на себе. Через годик встречается Надоленко другую Ольгу, тоже Звереву, но помоложе. Переметнулся он к ней, а вскоре и женился на этой второй. Родила и вторая Зверева — видит Надоленко, ребята стали посмеиваться, и думает — женюсь-ка я на третьей. Стал искать, вскоре и третья подвернулась, и женился Надоленко опять. Тут уж как его встречают — сразу смеются, и понял он, что напал на жилу.

Позвонил однажды Надоленко Зиперу и к телкам позвал смотаться. Раздобыли пузырь сухаря, пузырь крепленого и поехали на метро Кропоткинское. Дом нашли, по лестнице поднялись, и пока Надоленко звонил пять звонков, Зипер таблички на дверях с фамилиями читал — много разных, а Зверевой нет.

— Они что, снимают тут, что ли?

— Черт их знает.

— А как их звать-то?

— Мою — Ольга, твою — не помню.

Прокрались по длинному коридору вслед за квартиранткой, а в комнате пусто, подружки нет.

Зиперу это сразу не понравилось. Выжрал он крепленого залпом, улучил минуту и полез на надоленковскую Ольгу. Та в крик, а соседи только того и ждали, оперов сразу вызвали. Зипер под шумок

смылся, а Надоленко загребли. Отсидел пятнадцать суток, возвращается к этой самой Ольге разбираться. А та уже замуж успела выйти, конечно, за Зверева. А когда через месячишко развелась, фамилия-то осталась. Видит Надоленко — такого случая больше уже не представится, и женился опять.

А Венера как узнал, до того смеялся, до того хохотал, что не выдержал и сам тоже на Зверевой женился, пуститься решил вдогонку.

* * *

Давно уже перевалило у Жоры на счету за несколько миллионов, а он все ходит в чем ходил, ест всухомятку, только раньше они вместе с Клубникой все решали, а теперь завел себе Жора отдельный кабинет, параллельные телефоны убрал — кабы кто чего лишнего не услышал. А Клубника чувствует, что Жора его из доли выделяет, но все еще надеется, что не может такого быть. А Жора наживает и молчит по обыкновению. Спят еще вместе, в шахматы вечерами играют, медсестрами делятся, но печать из ящика стола перекочевала Жоре в карман, и фирменные бланки "Фонда" оказались запертыми в сейфе на ключ.

А Клубника все ждал, когда же Жора студию ему купит, да и бросил ждать. Позвал Края и стал с ним опять в деберц неделями играть. Край между сдачами вокруг оглядывается, видит — заведение стоящее: деньги мешками носят, компьютеры караванами принимают, машины фирменные подъезжают, телефоны названивают.

— Чем это вы тут занимаетесь? — спрашивает у Клубники.

А Клубника человек скрытный:

— Муму долбим, — отвечает.

Приезжает Край в другой раз в Фонд, а Клубника в биллиардную уже уехал; Жора один сидит, думает.

— Возьми, — сказал ему Край, — меня к себе на работу, мне ваша контора больно нравится.

— А что ты делать умеешь?

— Все умею.

— А можешь, — спрашивает Жора, — мне международные отношения наладить?

— Запросто. Ты с образованием каким-нибудь образом связан?

— Самым прямым, — отвечает Жора, — воспитываю молодежь.

— Сейчас одна делегация школьная в Америку собралась, приглашение есть, а денег на билеты нет. Если купишь на всех билеты — вот сразу тебе и международные отношения.

— Когда ехать?

— А ты что, деньги на всех даешь?

— На когда, — уточняет Жора, — и сколько билетов заказывать?

— Вот это по мне, — обрадовался Край.

* * *

Бортанули Клубнику, приезжают во главе образовательной делегации в Вашингтон. Чистота кругом, трава зеленеет подстриженная, машины все до одной разные, но все на солнце блестят, а по дороге выбоин нет.

— Ну, — решает Жора, — это они нарочно для приезжих от аэропорта до города так устроили.

А потом пригляделся — никому дела до них нет. Барахла вправду навалом, все без подлянки. А главное, к кому ни обратишься со своим корявым английским — он как будто всю жизнь тебя только и ждал, дождался наконец и улыбается тебе, как пидор.

А делегация совсем не школьная оказалась — все начальнички, председатели. И Жору с Краем и со всей бранжей¹ то в департаменте примут, то в Белом доме накормят. Снялся Жора на цветное фото и с орлом серебряным, и с американским Георгадзе, а потом в гостинице "Марриотт" на себя в зеркало посмотрел и обалдел: неужто это он, Жора-пасечник, и есть. Понравилось в Америке, только удивился он, что Белый дом этот ну раз в пять меньше любого райкома, и охрана сидит как в предбаннике тесном, друг на друга дышит. А конгресс и вовсе галерея какая-то, картинами все увешано, статуями заставлено, а сенаторы заседают чуть ли не в подвале, в самом низу.

А перед отлетом прикинул Жора, сколько же денег у него, если их в доллары перевести, и огорчился: на "Бьюик" он еще потянет, а к дому к самому паршивому

¹ бранжа — группа, компания.

и не прицениться. И загрустил — какой же он миллионер.

* * *

— Суки! — кипятился в Москве Клубника. — Они уже в Америке ошиваются! Снюхались за моей спиной! Жаль, я из оборонки ушел, показал бы говнюкам!..

В молодости долгих семь лет, сдав физику самому Ландау, сидел Клубника в бункере ракетном и, как из рогатки, целился в Капитолий, висевший у него над оперативным столом.

Спросили раз у него ребята за покером:

— А мог ли бы ты тогда, ягодник, пульнуть своей вонючей ракетой?

— Запросто, — отвечал Клубника.

— А как же тогда эти все знаменитые президентские чемоданчики?

— Лажа все это, — объяснил Клубника. — Работал у меня в бункере Палыч, махровый алкаш. И он как спиртику против обледенения наружных поверхностей хлебнет, так сразу и отождествляется с любой схемой, нутром ее чует. А что там в коробке ни гремит, наружу-то все равно концы выходят. Я только диву давался: похмелка тяжкая, еле шевелится Палыч, а забредет в закуток — и чистым гением оттуда вылазит. Пальцем еще дрожащим потыкает туда-сюда — глядишь, заработала, замигала огоньками машина. Сидим ночами с Палычем, спать охота, а делать нечего — войны нет. А я у него и спрашиваю:

— Можешь ли ты сейчас, Палыч, всех их там, блядь, разбомбить?

— Как два пальца обоссать, — отвечает.

* * *

Ушел Квач Колька из ансамбля "Перезвоны Тамбовские", потому что язва одолела вконец. Еду в России местным стали продавать, да и то только по талонам, а если ты командировочный, гастролер, так и иди в ресторан. А там гадость одна подгорелая, а за одно второе заплатишь столько, сколько за концерт получишь; но концерты не каждый день, а обедать хочется. В последнюю поездку взял он с собой полтавской колбасы батон и крупы пшенной пакет пластмассовый, а крупа

просыпалась, промокла и зацвела. И язва как ударит Кольку под дых, баян не удержать, пришлось сидя играть.

Вернулся в Москву, вполз на карачках в свою берлогу, отдышался, отъелся таблетками и решил: больше по совку не ездить — шабаш.

Стал ребят обзванивать, кабаки все заняты, команд укомплектованы, даже за парнос¹ играть не берут — ложись да помирай. Позвонил и Клубнике, спрашивает — нет ли у него работы какой, а то жена из дому гонит. Клубника и говорит: приезжай прямо сейчас, мы в баню собрались, там для нас и поиграешь — стольник-другой каждый тебе отстегнет.

— В бане играть — баян отсыреет, не поеду.

— У нас в предбаннике видак японский стоит, и с твоим баяном ничего не сделается, да и пожрешь от вольного.

Взял Квач баян, в тачку сел и покатил.

А баня-то на велотреке строилась с размахом, чтобы все велосипедисты после гонок в нее поместились, попарились и усталость согнали.

Клубника встретил Квача у входа, провел в баню, раздел, посадил. "Играй, — говорит, — тренируйся, да закусывай помаленьку, жди, пока люди придут", — и ушел.

А Жора тем временем один катается по арендованному им самому большому в мире велотреку. Тишина — оранжевые, синие, зеленые трибуны проносятся справа, а Жора педали крутит, то быстрее, то медленнее, но всегда первый, нет соперников, всех обогнал. Огни сверху полные сияют — любит свет Жора. А сегодня тем более, у него праздник, поэтому и наказал Клубнике, чтоб было все кругом-бегом.

Выбил Жора под контракт фуфлыжный кредит в банке и купил на эти деньги долларов на аукционе валютном — три миллиона под тот же контракт, и теперь осталось только перекрутиться, вернуть кредит, и зелененькие останутся у него. И радостно жмет он на педали, и ветер трековой волосы ему треплет, и майка от пота мокрой стала: физкультура — до ста лет надо до-

¹ парнос, или парнус — деньги, которые дают посетители ресторанов музыкантам, когда заказывают им песню, которую хотели бы услышать.

жить. Свернул наконец с полотна деревянного, поставил машину, пошел в баню. Вдруг слышит в коридоре — музыка тоскливая раздаётся; что за наваждение, думает. Дверь открыл, смотрит — на столе все, что полагается, есть, а вокруг нет никого, один Квач сидит в трусах и баян шевелит.

— Что ты тут делаешь, мать-перемать? — удивился Жора.

— Играю, как заказывали.

А, клубничная рожка, тут же смекнул Жора, гнать пора:

— Слышь, ты, прекрати волынку. Как тебя звать?

— Квач, то есть Коля.

— Ложи, Коля, баян, пей, закусывай. Только не играй, я эту музыку гнидостную терпеть не могу.

— А кто же мне заплатит? — спросил Квач в сердцах. — Я только за тачку пятнашку отдал.

Залез Жора в карман висевшей кожанки своей, зажал бумажек, сколько ухватить сумел, и дал Квачу.

Тот на глазок прикинул — под штуку! Ну и дела, думает.

— Пойдем, — говорит Жора, — попаришь меня.

Поработал Квач вениками на радостях, себя не щадя. Вышли передохнуть, в бассейн бултыхнулись, а пусто в бассейне, телок нет. Хоть бы одна четверговая сама по себе заглянула, сокрушается Жора, ничего нельзя поручить — все самому делать приходится.

— У тебя девочки знакомые есть? — у Квача спросил.

— Море.

— Столько не нужно, а вот человека четыре-пять не помешало бы.

— А где тут телефон, я сейчас вызову, — понтуется¹ квач.

— Сейчас уже не надо, а вот на субботу позаботься, а потом на вторник, часам к четырем и часика на три.

— А вам каких?

— Да разных. Но тех, конечно, которые посвежее. Ты где работаешь?

— Сейчас нигде, место ищу.

¹ понт, понтуется — хвалится, представляется не тем, кто есть он на самом деле.

— У меня хочешь поработать? Премияльные получать будешь.

— Хочу, конечно хочу, — отвечает, а сам прикидывает, где ж столько телок взять. И вдруг как озарение — у жены подружек-то вон их сколько, и номера телефонные в книжке есть — выкручусь.

И стал Квач у Жоры шестерить.

* * *

Настолько распоясался Клубника, что даже медовую лечебницу забросил, медсестры, без присмотра оставшись, мед продали, остатки проели и разошлись. Страждущие потыркались и тоже разбрелись кто куда. Пришла к Жоре проверка — почему налоги не платите? Он им старую песню заводит, что вот мы, мол, бесплатно лечим всех ветеранов и вдов Красноказарменного и Пролетарского районов. А ребята не дураки попались, видят — куш наклеивается нормальный, и наведались заранее в медовую клинику и замок амбарный на дверях зафиксировали. Дернулся Жора, да не тут-то было — нет никакой отмазки, и надо давать. Ну, думает, сука, уплыла твоя песенная студия в инспекторский карман.

А Клубника тут как тут опять явился, крутится с важным видом.

Жора ему и говорит:

— Отдавай ключи!

— Какие ключи?

— Все, — отвечает Жора.

Посмотрел тогда Клубника на Жору и прочел в глазах его, что вовсе он не друг ему, а волчара ненасытный и что уговор тот вышел весь.

— Молодец, — спокойно сказал Клубника, — далеко пойдешь, смотри не упади.

Положил связку ключей на холодильник и ушел.

* * *

Для Венеры наступили тяжелые времена. У валютотокшмон навели, с чеками чего-то намудрили и о ломке растрезвонили — чуть ли не каждый день по первой программе долдонили — вас могут обмануть, и показывают — как. А главное, весь товар исчез, покупать стало нечего.

Стал Венера размышлять — чем же заняться, газеты стал почитывать. Попалась ему записка одна, что дети из шведской какой-то школы пригласили к себе грудновоспитуемых интернатовцев-сирот из Красного Бора. Газетка затерялась, а статья в память запала. Чувствует Венера — тут пожить можно. С Краем посоветовался — надо бы, говорит, какой-нибудь пункт по обмену сиротами организовать.

— Пункт, Венера, бывает по сдаче посуды. Мы и так при нашем Фонде образование курируем, только толку в этом нет никакого.

— У сироты что — на лбу написано, что он сирота, — стал объяснять Венера. — Ты договор заключи, а я найду кого послать. Вон у Лешего трое гавриков, Шагурский сам за границей никогда не был — за всех сирот забашляет¹, ты его только во Францию свози.

— А, — допер наконец Край. — Ты бы с этого и начинал.

Так при Женском Фонде образовался сиротский центр.

Венера стал ездить туда и сюда, возил сначала сынов, потом присмотрелся и стал знакомых да приятелей своих возить, да и детки надоели — шустрые больно. Такса — по пятнадцать косых с рыла. За десять дней, а то и за две недели в Рейкьявике или в самом Чикаго на всем готовом — каждый с удовольствием отстегивал. Все шло нормально, но только оттуда нет-нет да приезжала какая-нибудь делегация по обмену — возились с ними, гостиницу не достать, жратвы нет, хлопотно, одним словом.

Но у Венеры глаз-ватерпас. Лежал как-то раз летом в Нью-Йорке, и пока сироты по магазинам шастали, он бейсбол по гостиничному телевизору смотрел. Дистанционное управление что-то заело, уставился в этот экран, час смотрит, другой, и тут мысль опять возникла — ведь вся Америка на этот дурацкий бейсбол сейчас смотрит. Вот бы у нас из наших разгильдяев бейсбольную команду организовать, а с ней бы по Штатам и помотаться. А с сиротами пора завязывать, примелькались уже.

¹ забашляет — заплатит.

Сказано — сделано. Вернулся — и действительно, не прошло и трех месяцев, как возглавил Венера команду бейсболистов.

И теперь как прилетит он из Испании или с Тайваня, всегда Краю сувенирчик привезет — карты пластиковые, номер "Плейбоя". Соберутся пивка попить, а Край все не унимается, просит:

— Объясни ты мне наконец, как там счет ведут в этом твоём бейсболе.

— Что-нибудь полегче спроси, — отвечает Венера.

— А как же вы там играете? — допытывается Край.

— Дура ты. Им самим публику надо в напряжении поддерживать, вот они и играют за себя, да и за нас.

— Всегда знал, что ты парень башковитый, но не думал, что настолько, — гордится приятелем Край. — А правила выучил бы.

— Выучим, — отвечает Венера, — успеется, какие наши годы.

* * *

Началось все обыкновенно — Серега позвонил, говорит, поехали подкадримся. Часов с пяти ездили сначала по кафе, осматривались, — нет ничего подходящего. Весь проспект Вернадского прочесали, у университета патрулировали, за студенточками бегали, глядят — уж стемнело. Стали кабаки объезжать, да все попадаются в них только те крала, которые сами мужиков высматривают. Остервенели и решили бить наверняка. В Доме туриста четвертак на входе сунули, вошли, а там опять блатные в фуражках со сцены поют, ансамбль им аккомпанирует — всех туристочек распугали, те по номерам и попрятались. Ну, решили, сегодня не наше число, и поехали к Краю. Фильм на голодный желудок поставили, а от него воротит. Накрутили пару номеров для проформы — да поздно уже, спит гвардия. Серега домой поехал, а Край заснул, как будто сотню лет не спал. Вдруг слышит — звонок, а трубка у него с подушкой рядом лежит.

— Четырнадцатый слушает, — промычал.

— Просыпайся, везу, мать-перемать! — в восторге опять Серега возник.

— Кого ты везешь, обалдевший тип?

— Сам подумай, кого можно сейчас везти! — и трубку бросил.

Посмотрел Край на часы — половина четвертого — и решил — трендит. Стал опять засыпать, а потом как ударило: а может и вправду везет, надо же кассеты, мелочевку всю с глаз долой в ящики засунуть, ведь подметут и как звать не спросят. Прибрался на скорую руку, опять стал кемарить, и тут звонок.

Открывает — и правда, Серега притащил двоих — во дает. Входят, огляделись, давай, просят, кино смотреть. А у Края глаза слипаются:

— Ну, нет, — говорит, — хорош. Разбирайтесь, кто с кем, а кино всякое завтра, сил уже нет никаких.

Посовещались девчонки на кухне и определились: одна, которая черненькая, говорит, что с Серегой поедет к нему, а светлая, которая с грудями, наоборот, говорит, остаюсь.

Ну так, значит, так. Закрыл Край за ними дверь, а светленькая уже под одеялом лежит. Потрахался с ней по памяти и вырубился.

Проснулся опять от звонка, но уж солнце светит в окно. Говорить начинает, смотрит — мамочка родная, — потом, говорит, перезвоню.

— Сколько тебе лет? — спрашивает (ну, Серый, мрази кусок, подсунул мину). — В каком ты классе?

— В девятый перешла.

Сколько веревочке ни виться, выходи, Маруся, бриться.

— Что же мне с тобой делать и как тебя звать? — спрашивает.

— Синя, — отвечает, — и иди, — говорит, — сюда, мне вчера показалось, что у меня с тобой получается.

Семь бед — один привет, — решил Край. Пропадать, так не зазря, — и накинулся на нее.

А у Сини глаза в полнеба, а груди в полведра каждая. А встанет Синя, в ванну пойдет, и груди эти как будто кто-то за соски вверх тянет, вытянуть не может и потряхивает ими; ноги стройные, живота нет, волосы льняные — золото с ртутью, но тяжелее и ртути и золота.

День пролетел, как и не было его вовсе, и вторая ночь наступает.

— А где ты живешь и почему в школу не ходишь? — очнулся Край.

— В школе каникулы сейчас, а дома мне надоело, я у Нинки живу.

— У этой черненькой, что ли?

— Да.

И неделя прошла, и уже не разобрать стало Краю, где тут Синя, а где он сам, поплыл парень, как полено по клубничной реке.

Да тут еще Гавард из Нотр-Дамского университета на голову свалился — давно пригласил его Край, да по запарке забыл. Показали Гаварду на скорую руку Москву, ребят на уши поставили — шлите, мол, всех, которые лишними окажутся, американца угощать, да и межтелок своих слух пустили, что, мол, прикатил дурак-профессор на русской жениться; и тут такое началось, что можно точно сказать — на кухне на крайской тогда и закончилась холодная война. Но москвички как ни напирали, тулячки их все равно одолели. Сначала одна изловчилась и дала Гаварду на стиральной машине, все шампунь, парфюмы, которые на ней стояли, рассыпались, перебились. Потом подружка ее, а потом подружка двоюродная сестра прилетела, как вцепилась в профессора, только его и видели. Первые денька два ходил еще профессор — на него по Москве оглядывались — холеный больно иностранец. Потом, когда витамины западные в крови еще оставались, спрашивать стали адрес — как, куда пройти, а под конец, когда тулячки уже высосали все соки из него, только выпить предлагали — своим стал профессор за пару недель.

А у Края с Синей свой роман идет, да и не только за стенкой. Стал Край от помутнения рассудка повсюду с ней ходить, расстаться не может: дочь — объясняет. Но с дочерью-то в обнимку не ходят. Но тут и Гавард, и тулячки, и по кабакам, по дачам, по бильiardным несутся кавалькада, только одно плохо — жара, шампанское по бокалам разольешь только из холодильника — так и пей сразу, а не допил — оно уже теплое.

Гулял-гулял Край, да и догулялся — не доглядел. Пригласил Шатурский прямо из бильiardной всю компанию в "Якорь" и там втихаря свой телефончик Сине и всучил.

На другой день праздники опять продолжаются, а Сини нет.

— Где ты была? — вечером спрашивает у нее Край.

— В школе, — отвечает, — школа-то началась.

Легли на койку, встали как чужие, и обмерло все внутри у Края — врет, переметнулась к Шатурскому.

— Где ты была? — опять спрашивает.

— Где была, там меня уже нет. А теперь мне домой пора.

— С чего бы это. Погоди, провожу.

— Не надо. Сама доеду.

— Нет, я тебя провожу, не пущу одну.

Поехали на автобусе, да вроде не в ту степь.

— Ведь ты не там живешь.

— Нет там, вон в том доме.

Слезли, дошли до подъезда.

— Пока, — говорит Синя, — завтра позвоню.

Ушла в подъезд, лифтом хлопнула.

Да не поверил Край, сел за кустами, притаился и ждет. Минут сорок просидел — неужели, думает, и вправду домой пошла.

Нет!

Тихо, неслышно дверь отворилась, и сиянье волос сининых в свете фонаря возникло и аж до звезд полыхнуло. Ах, курва! — и отнялись у Края от ревности ноги, хочет пойти за ней и шагнуть не может. А когда побегал в ночь — уже не было никого ни на дорожке асфальтовой, ни на остановке автобусной. И только мелькнул вдали перед лесопарком красный огонек мотора, который увозил от него последнюю его любовь.

* * *

"Не с кем поделиться, посоветоваться, да и нельзя, откроешься — он тебя же и опередит или заложит. Все продумываешь, делаешь все сам, а заработаешь копейку — и радоваться одному. Вот парня встречаю, да и он не помощник, в голове тряпки одни да этот рок проклятый. Ждешь, пока наушники снимет, не скоро дождешься", — думал Жора по дороге во внуковский аэропорт. Сын Андрей вырос с матерью. В последние годы посылал ему Жора джинсы, кроссовки, куртки, носки, а в основном ребята из охраны передавали через проводников кассеты по Жориной просьбе.

Вот Андрей появился в толпе, бредущей от самолета, выше всех на голову, и у Жоры сердце занеслось от радости — до чего парень на него похож. Кто-то из ребят сумку подхватил. А Жора обнял сына, чувствует, курит он, опять курит. Сели вдвоем в "Вольво", остальные следом поехали в "БМВ" для впечатления, а Андрею хоть бы что, как будто так и надо. Жора спросил о матери, о доме, о стариках, ответ один у Андрея: "Нормально".

В первые же дни показал Жора сыну, чем он стал обладать за эти несколько лет, — офисы, квартиры, участки под Москвой — вроде немножко проняло парня, стал головой вертеть, а то все только вниз перед собой смотрел. Вечером пивка датского попил, "Мальборо" закурил — совсем оживился, стал порнуху смотреть.

— Погоди, выруби ты эту блевотину, давай с тобой потолкуем, Андрей, — сказал Жора. — Видел, "Ниссан-патруль" внизу стоит?

— Тот, что в углу, серый? Видел.

— Твой.

— Спасибо, отец.

— Одним "спасибо" не отделаешься. Мне помощник нужен, которому мог бы я доверять.

— А что делать?

— Здесь надо не "что", а "как". Покрутишься около меня, научишься, поймешь.

— Чему научусь?

— Делу, бизнесу.

— Я, пап, недавно по телевизору видел объявление о школе менеджеров в Англии. Там надо триста долларов всего заплатить, а остальное рублями. Пошли меня учиться в Англию.

— Поедешь и в Англию и куда угодно. Только все их науки здесь гроша ломаного не стоят. У нас все по-другому, нет ничего похожего. То, что я здесь нажил за пять лет, им там на это пять поколений не хватит.

Андрей смеется:

— Так чего ж и мне тогда еще работать?

Жора опешил вначале, а потом огорчился:

— Такой шанс только раз в столетие выпадает и только в одной какой-нибудь стране. Во всех американ-

ских музеях есть комнаты с портретами их основателей, и в галереях под каждой картиной имена, — понял?

— Кого, какие имена?

— Ты их все знаешь — Дюпон, Мелон, Морган — это те самые ребята, которые в 19-м веке пользовались возможностями, что представились. Сейчас мне в этой стране.

— Это не имена, а фамилии.

— Ты послушай. Такие деньги остаются в семье на поколения вперед, они — навсегда. Ты мой наследник, больше детей у меня нет, и я сам тебя всему научу. В Англии, во всех ихних учебниках описывается, как заработать долю процента. А мне если предлагают сделку, где я навариваю меньше ста, я даже слушать не хочу. Так будет еще месяц, два, ну, может, полгода продлится и кончится. Так не может быть долго. Надо успеть, пока неразбериха, пока ничего никто не понимает.

— Я, наверное, не смогу, папа.

— Почему не сможешь, что здесь такого?

— Не знаю. Неохота мне во все это влезать.

— Ничего тут сложного нет. Главное — нельзя терять ни минуты, использовать каждую возможность. Время — это не деньги, это сейчас тысячу раз деньги. Провернешь одну сделку, за ней идет другая, третья, десятая. Встретился с нужным человеком — значит, за ним есть еще люди, выходи на них напрямую, отсекай посредников, ищи поставщиков, сам товар. В банках я со всеми тебя познакомлю, мне доверяют, они у меня все в Фонде оформлены, нормально получают. Бери кредиты, работай. Любой товар сейчас как наркотики. Купил его, через месяц продал и столько же еще нажил. Я сейчас свой банк открываю и тебя там во главе поставлю — руки у меня до всего не доходят.

— Пап, а пиво еще есть?

— Вот там возьми, в морозильник положи, через десять минут пить можно. Ну что, решай.

— Я матери обещал недели через две вернуться.

— Опять баклуши бить. Будешь ей деньги посылать, шмотки, все будет в порядке.

— Ладно, давай попробую.

— Что тут пробовать, это как икра, черпай ложкой, чем больше съешь, тем сильнее хочется.

Закон есть, правда, негласный, что после любой отсидки в средствах массовой информации работать нельзя. Вызы Надоленко в отдел кадров и говорят:

— Увольняйтесь.

— В каком смысле? — спрашивает.

— В самом прямом, забирайте трудовую книжку и уходите.

— Ладно, давайте, я заберу.

— Вы сначала заявление напишите.

— Какое заявление?

— Что вы Ваньку валяете? Заявление об уходе с работы по собственному желанию.

— Я не Ваня, а Валера. И я, наоборот, хочу остаться, привык к вам очень.

— Все равно эфирного времени вам никто не даст, а значит, и снимать не будете.

— Сейчас не дадут, а месяц-другой пройдет — и дадут.

— Ни сейчас, ни потом. Вы здесь конченный человек, так что пишите заявление.

Покочевряжился еще Надоленко, да и написал. Стал искать, куда пристроиться, вскоре нашел — снимать стал учебные фильмы для школ и техникумов: об энтропии картину сбацал, о кавитации заканчивает. А если кто вдруг спрашивает его: "Ты хоть понимаешь, о чем снимаешь?" — "Конечно, — отвечает, — ведь я художник".

Долго сокрушался Клубника, что такого маху дал. Особенно огорчался, что его, старого афериста, паршивый лох, лошина жадный кинул¹, и на чем — на дружбе убрал². Столько лет псу под хвост. И чего он, как пацан, бегал туда-сюда, спрашивается. Вот сейчас, на трезвую голову, вся картина ясна: надо было на себя эти фонды оформлять, а Жора пусть бы на подхвате работал. Да что уж теперь говорить — поздно!

¹ кинул (кидала) — взял товар, обещая заплатить и ушел через проходной двор.

² убрал — уничтожил, унизил.

Забрался Клубника в свой дом загородный, вскрыл свежий блок "Дымка" и стал прикидывать, обмозговывать. Получается, что опоздал он, проворонил все. Уж и Гоша успел по досрочной выйти¹ и совместку² с австрияками пробил и звал его, да он не пошел вовремя, а теперь некрасиво на готовое являться. Венера и сейчас приглашает в начальники бейсбольной своей команды, да там суеты много, вокруг кляузники одни, да и по этому бейсболу чемпионат скоро начнется, выживут и самого Венеру через пару месяцев. И в песню возвращаться незачем — авторские вообще перестали платить. А ведь недавно паскудники праздник какой-то свой справляли, набилось пьянок ВААПовских целый зал, и это только с центральной конторы — а по стране сколько их еще, дармоедов, и чем они все занимаются, никому не ведомо. Да и гастролеры теперь сами для себя песни пишут и сами же поют эту дребедень.

"Но ничего, плохо вы, гопники, меня знаете, погодите чуток..." — бормочет Клубника. И опять закурит, по огороду пройдет, ягод насобирает, и все больше утверждает в чувстве, что не может такого случиться, чтобы не прислал ему Бог в последней сдаче козырного туза.

* * *

"Лучше пойти на природу, чем на презентацию, — как начались они, так и конца им нет. Вначале не дозвешься этих репортеришек, а теперь отбою нет. Прослышали про раздачу и теперь лезут, как осы на мед", — думал Жора, закончив очередное телеинтервью. Зеркальный, со старинной мебелью по углам и ужасными стульями посередине зал был полон, кто-то втихаря курил, было душно от осветительной аппаратуры.

Организовал Жора картель по продаже сырья за бугор, и подсказали ему: чтобы на партнера стоящего выйти, надо побольше телевидения. Дал он на свою беду команду — карусель и закрутилась.

Прикатил и Надоленко на своем учебном автобусе с бригадой:

— Где тут, — спрашивает, — "Зениты" раздают?

¹ по досрочной выйти — вышел из тюрьмы по амнистии.

² совместка — совместное предприятие.

А Жора как раз отдышаться вышел во двор и без охранника оказался.

Улыбнулся Жора:

— Я, — говорит, — раздаю. Тебе вынести или зайдешь сам возьмешь?

— А кого снимать надо?

— Меня. Что, не подхожу?

— В самом деле?

— Вполне серьезно. Какую программу представляешь?

— Я не из программы, но зато могу фильм о вас снять, а не куций репортаж. А вообще-то мы из учпопа, делаем фильмы для школ.

— Снимай, делай обо мне кино, — и опять Жора смеется, попал Надоленко под хорошую руку, — пусть детвора учится.

— Это обойдется, — сразу за рога берет Надоленко, — тысяч 500 — 600.

— И ладно, — заторопился Жора на презентацию; тут и Володя-охранник подрос, хотел было в грудь толкнуть Надоленко, да Жора остановил: — Дай ему телефон мой. — И самому Надоленко: — Позвони мне на днях.

* * *

Раздача подходила к концу, и итальянцы, которых снимали как будущих партнеров Жориных, от радости светились так, что казалось и ламп не надо. Шастали они месяцами по Сибири, копались в отвалах, образцы в кейсы клали, в ладонях держали, а купить — сколько ни пытались — нельзя. В Москве сунулись в это отвальное министерство, и там им объяснили, что лицензий на вывоз продано уже раз в пять больше, чем запасов руды, и что раздача лицензий прекращена. Итальянцы просят: там эти отвалы лежат, никто их не вывозит, они самовозгораются, дымятся.

— Вывезут, — отвечают, — не ваше дело.

И тут их кто-то, буквально за 500 долларов, вывел на Жору, который все эти лицензии к рукам прибрал и только поджидал покупателей.

Итальянцы попались тупые и Жоре все пытались коньяк французский дать, бумаги какие-то подсовывали, не понимали, что главный разговор еще впереди.

На переговорах до презентации невдомек им было — зачем Жора просит, чтобы руду купила какая-то гамбургская фирма "Унисон-продакшен", а они перекупили бы у этой фирмы.

— Зачем вам расходы лишние?

— Посреднические вы должны заплатить? Провизион? — объясняет Жора.

— Мы вам и заплатим.

— Мне не надо. Заплатите "Унисону".

— А кому же деньги за руду? Кто их получает?

— Государство и сам комбинат.

— А вы? Мы же вам тоже должны заплатить?

— Должны, — ведь не объяснять же, что если они заплатят прямо ему, то у него будут не то что неприятности, а его самого может не быть. — Вот и заплатите фирме.

— А, это ваша фирма! — смекнули наконец итальянцы.

— Какая фирма? — удивляется Жора.

Переводчик путается, а они по-английски рубят слабо, а итальянский никто не знает. В общем, в сауну пора, а то рассыплется контракт — до чего дурные турки.

Отсняли, наконец, в четвертый раз процедуру подписания договора о сотрудничестве для программы "Наш бизнес", журналистов поблагодарили, разогнали и поехали. А бабу ихнюю, итальянскую, как ни оттесняли, она все равно увязалась. К велотреку подъехали, и Жора сначала за Квачом послал. Выскочил Квач, весь распаренный. Жора ему налички сунул и приказал:

— Отвези, — говорит, — вот эту воблу в кабак какой-нибудь, покорми, а потом в гостиницу мою привези. А то никак не можем от нее отколоться.

Укатил Квач с итальянкой на "восьмерке", а с остальными Жора в парилку попил. Мимо бассейна прошли, а в нем воды не видно, одни телки плавают.

Иностранцы насторожились, съежились, подвоха ждут, компрометации. Ну, ничего, не впервой, обвыкнутся.

Мигнул Жора телкам, мол, не напирайте сразу, там вдали поплавайте пока. Разделись, и опять Жора стал объяснять на пальцах:

— Сколько вы хотите всего заплатить?

— 370 миллионов.

— Вы открываете общий корреспондентский счет вместе с фирмой "Унисон продакшен", "Унисон" открывает "LC" на закупку руды, а мои комиссионные остаются на ее счету.

— Мы вам и так заплатим, вы что, нам не доверяете?

— Доверяю полностью. Вы сами этот счет и будете контролировать до момента закупки — как и указано в контракте.

— Но получается, что мы должны платить дважды.

— Вы платите только один раз, и руда приплывет к вам в Неаполь. Не волнуйтесь, у нас делается только так, вы не первые. Все будет в порядке. Проверьте вот по этим документам предыдущие мои поставки.

— У нас так не принято.

— У меня это отработано, как часы. Деньги все равно не двигаются до поступления товара к вам. Это как обычно. А оперировать будем через люксембургский банк...

Выпили тем временем коньяка, семгой, икрой закусили. Девочкам можно начинать, решил Жора.

— Давайте, пошевеливайтесь, меда не жалейте, — приказал.

И пошли из воды непобедимые амазонки рядами на итальянцев. Хочешь — тебя массировать будут, хочешь — ты их массируй.

Часа не прошло, а в мозгах просветлело. Но Жора по опыту знает, что до того, как они деньги переведут, еще неделька-другая пройдет. Все-таки даже для таких прожженных дельцов не обычная картина: товар — в Сибири, продавец — в сауне, а касса — в Люксембурге. Правда, и не они сами у доменных печей сталь варить будут — тоже посредники, ищут, где что подешевле. А выходит почти в два раза дешевле у Жоры, чем в Южной Африке покупать. Путались бы они тут зазря.

* * *

Квач за несколько месяцев поднялся, приоделся, себя, можно сказать, нашел. Зарабатывает хорошо, и присматриваться стал к происходящему. Вначале удивлялся: привезут две-три бумажки, подпишут, увезут в банк, потом опять подпишут какие-то бумажки, опять едут в банк и гуляют потом, на радостях отстегивают

ему столько, сколько он за год раньше не зарабатывал. Потом привык и понимать вроде стал, о чем толкуют — налик, безналик, двойки, писи, эйти и опять налик, безналик. А как посылают Квача на "Линкольне" по адресам, значит, выгорело дело — большая гулянка наклевывается. Приедет Квач в "Федан", что на Старорязанском шоссе, "Я к Джонни" — скажет на входе, а за ним вся бригада поднимается по лестнице и к столу. Тогда Жора еще с Джонни дела крутил, а в "Федане" для Джонни всегда стол накрыт на тридцать персон. Квача знают, позволяют сесть с краю, закусить.

Ест Квач, но больше смотрит на танцы, вот это да! Раньше, когда Квач в кабаке работал, человек песню заказывал, а парнос незаметно старался сунуть в карман певцу. А теперь выходят ребята танцевать и вверх кидают деньги пачку за пачкой. Чирики, четвертаки, сотни, как бабочки, в цветных лучах порхают, и вся сцена бумажками выстлана, и не тонким ковром. Пройдет Квач по деньгам к телефону позвонить, а спина сама собой сгибаться начинает, но не подбери, нельзя — обидишь и музыкантов и ребят Джонни, а они и за столом нунчаками играют, финками шашлыки разрезают.

Да, жизнь опять рядом проходит. Ближе, конечно, стал Квач к раздаче, но и понятие появилось, что не скоро еще сам он будет капусту в воздух веером подбрасывать...

И куда ему теперь с этой итальянкой податься — сейчас вдвоем с бабой, тем более с иностранкой, появляться всюду опасно. Лучше, думает, куплю на эти бабки еды на базаре, отвезу ее домой, сделаю бутерброд и чаю налью. Пробежал от прилавка к прилавку по ленинградскому рынку, плетенку с картошкой в багажник бросил — и дал газу. А пассажирка молчит, в окно смотрит, но и на Квача поглядывает.

Подрулил к подъезду своему: "Вэлком, вэлком, май хом" — втолковывает ей. Вошли в лифт, а там опять нассано. "Эксюз ми — тыз из совет юнион". "О'кэй, — отвечает итальянка, — дат из о'кэй".

И больше ничего не сказали друг другу. Вошли — жена еще на работе, чайник Квач поставил, хлеб нарезал; итальянка вроде по квартире гуляла, потом в ванную зашла. Выходит. Рыжий на нее глянул, а она в ха-

лате женином, а под халатом пупок голый, а под пупком она, мамочка.

Нет, не зря Кольку Квачем в ансамбле прозвали. Как схватил он итальяночку, как опрокинул ее на диван, а диван сам собой тотчас раздвинулся, и как впился в нее, и пошел, и пошел работать. Итальяночка сначала постанывать стала, потом повизгивать, а потом в голос орать, рвать ногтями пространство, прижимать в судороге шевелюру Квачеву к себе...

Так ничего не искал Квач, а нашел. Открывает он через месячишко ящик почтовый, чтобы "Советский спорт" взять по дороге, а из ящика длинный конверт выскользнул на замызганный цементный пол. Разорвал конверт — вот так чудеса! — в нем приглашение, в Италию, в Милан. Никому ни слова не сказал Квач, визу втихаря проставил в посольстве. Потом оплаченный билет в Ал-Италии получил, взял баян и свалил.

2

В управлении, занимающемся внутренней безопасностью государства, говорили два старших офицера. Вначале это был доклад, но оперативных решений, как понимали оба, за ним последовать не могло, и теперь просто беседовали.

— Мне самому не ясна позиция руководства, не только тебе. Практически все, что я передавал в инстанцию,¹ — а по последнему докладу мы даже постановление подготовили, которое, конечно, не решило бы сразу все, но мы хотя бы начали действовать в нужном направлении, — все повисло в воздухе. А резолюции одни и те же: "Переговорите со мной" — вот посмотрите.

— Вы переговорили?

— Был вчера на приеме. Какая-то делегация только ушла, готовились к приему следующей. Я стал докладывать, вижу — меня не слушают.

— Неужели там не понимают, что положение крайне серьезное? Система расшатывается. Еще совсем недавно мы что-то контролировали. А что сейчас происходит? Все может рухнуть, мы сделать ничего не успеем.

¹ Инстанция - ЦК КПСС.

— Вы только посмотрите сводку по денежным переводам: до трех миллиардов накачивается в Москву — регионы освобождаются от денег, а товар растаскивают по углам. Ежедневно задерживаем на всех направлениях контейнеры. Вот, пожалуйста, — по накладной пузырьки для парфюмерной фабрики, а в контейнере мешки с деньгами. Водитель плачет, вроде сам удивляется, откуда они взялись.

— Свободу все хотят, чтоб было как на Западе. Да ихние дельцы наркодоллары пока отмоют — намучаются. А у нас черной наливки с любого товара возникает больше, чем белой. Когда прошлой зимой я новые компьютеры для нас покупал, показали они мне, какой в их корпорации внутренний контроль за работой персонала — каждые пятнадцать секунд проверяют, кто чем занят. Если кто не по делу позвонит, ему этот звонок вставляется в ведомость, он сам его и оплатит, а корпорация — огромная.

— Ладно, не до них нам сейчас, хотя им-то всегда до нас... Надо сначала накормить народ, постепенно, как в Китае, не торопиться с новациями, а потом уж демократию эту вводить. А тут строить стали экономику по свежим впечатлениям от загранпоездов.

Вошла секретарша, положила на стол папку с надписью, вдавленной золотом, — "Срочно". Разговор продолжался.

— Федор Сергеевич, надо что-то делать. Иначе мы через пять лет уже окажемся ничем. Растащат нас на куски, высосут, вывернут наизнанку.

— Хотим прикрутить им хвосты, Виктор Петрович, начинаем разбираться, а оказывается, мы сами и даем средства.

— Как мы сами? Кому?

— Вот поглядите. Это наш банк, и он профинансировал и это известное объединение, и эти вот.

— А кто давал указания?

— Проявляют деловую активность, за всем не уследишь. А общая картина складывается неприглядная. Ладно, иди к себе, подготовь мне предложения в трехдневный срок по этим материалам.

Хорошо, что Жора накануне начал прокручивать операцию с "КамАЗами" и обналичил семь миллионов, хотя и не побежишь сейчас с этими мешками, и куда бежать — все перекрыто. По дороге в свой офис он переждал в машине, когда пройдет танковая колонна, но дождался только, что перегородили и выезд на проспект. Проехал дворами, переулками. Стал Жора звонить — всюду паника, что делать — никто не знает. Стал Жора просчитывать варианты — ни улететь, ни в глубинку, в нору какую-нибудь запрятаться: поздно. Неужели все зря, столько работал и опять с нуля начинать? Говорили ему умные люди: все перегоняй в доллары, ничего не оставляй, а он все тянул, все крутился, и вот — на тебе. Позвонил в банки — да, так и есть, все заморожено, счета не работают.

— Только мои?

— Нет, все.

"Ну что, — решил Жора, — умереть еще успеем, а пока надо убраться с глаз долой".

Загрузил мешками мини-автобус тойотовский, сам сел за руль.

— Нам что делать? — спросил Володя.

— Ждите здесь, я позвоню, а пока разузнайте, что происходит.

Огляделся, вроде нет никого вокруг, и поехал к Андрею, на квартиру, которую подарил ему недавно. Еле добудился долгими звонками, поднял его наконец. На похмельную рожу сына смотреть было противно, да не до этого. Девочек двух прогнал и сыну приказал:

— Одевайся, поехали.

Обосновались в Медведково, там Жора купил недавно этаж в кооперативном доме, двери у входа в коридор стальные поставил, мебель фирменную завез, хотел за гринь сдавать. А теперь сам залез сюда, как в берлогу, — дня два, наверное, у него еще есть. Устроился и стал звонить, узнавать, что происходит:

— Танки где?

— Стоят у мостов, по пять с каждой стороны, и в центре полно.

— А солдаты?

— Вылезают, бродят вокруг, жратву ищут.

— Патроны, снаряды есть у них?

— Вроде есть, но говорят, что нет.

— Ельцина взяли?

— Нет еще.

"Волынят, копаются долго, — стал соображать Жора. И решил: — Надо бороться". Обзвонил партнеров, с кем дела вел и кого уважал, и каждому говорил:

— Все туда везите, продукты, деньги, ничего не жалейте, дорога каждая минута...

Первым из делового мира понял Жора, что заколебался путч, что это не неспешность победителя, а просто неуверенность. Не продумали, не все просчитали, сукины дети, а теперь топчутся в нерешительности.

Зная хватку его и чутье, поверили ему. Ночью Жора опять перетащил мешки с деньгами в машину и поехал в один из своих офисов, что возле "Кутузовского" метро, — оттуда до противостояния рукой подать.

И уже с самого раннего утра, раздавая деньги доверенным людям, он приказывал:

— Покупайте все — цена не имеет значения, на рынках, в ресторанах еду, все со складов — шлите туда. Скупайте все в магазинах, оружие, какое сумеете достать, — несите туда. Танкистам, которые перейдут на нашу сторону, давайте десять, двадцать тысяч. Ничего не прячьте, если наша возьмет, получите от меня больше...

Неизвестно, куда ушли эти деньги и все те миллионы, которые, не считая, бросали на свою чашу весов подельники Жорины, коммерческие банки — наличка рекой текла, каждый зачерпнуть мог, концов не найти.

* * *

Зазвонил телефон, Зипер пошарил, не раскрывая глаз, и нашел трубку. Какой-то незнакомый голос прокричал: "Включай радио, соня!" — и раздались короткие гудки. Зипер проснулся, но потом понял, что звонили не ему, а отсутствующему хозяину квартиры. "Что там такое еще стряслось?" — подумал Зипер, набрал номер приятеля и узнал. Пошарив в холодильнике, в кухонных шкафах, он нашел настойку шиповника, опохмелился, вышел на улицу и поехал на метро в центр, чтобы поучаствовать в происходящем.

Проезжие части центральных улиц и площадей, по которым бродил Зипер и которые обычно подметались

шинами мчащихся автомобилей, были заставлены шеренгами бронетранспортеров, запружены народом, усыпаны мусором. Пыль, натертая гусеницами, несла какой-то аллерген. Зипер начал чихать и никак не мог прочихаться. Но жилистые ноги сами несли его туда, где назревали главные события, — к Белому дому. Еще не было баррикад, да и народу было немного, а он уже шастал вокруг и встретил приятеля со студии, который готовил когда-то батальные сцены в "Карателях", а сейчас набирал бойцов в оборону. Зипер обрадовался, записался, а вскоре ему досталась снайперская винтовка. Его поставили, вернее положили у одного из окон, и он стал оглядываться, просматривать окрестности через оптический прицел.

Не страх, а какой-то восторг возможной смерти пронизал его, когда в окнах СЭВа высмотрел трех или четырех снайперов, которые, как ему показалось, метили прямо в него. Если б началось, он, наверное, и стрелял бы, но не по цели, а так, для остротки. Но умереть Зипер собрался твердо именно здесь, перед своим окном. Жрать и даже пить не очень хотелось, но курил он одну за другой. "И убьют по огоньку", — думал Зипер, но все равно курил — сигарет было вдоволь.

Ночью глубокой, когда его сменили, он не лег спать, а выбрался из здания и ходил от костра к костру и радовался, видя столько лиц.

Он говорил не переставая, не слушал, что ему отвечали, выговаривался за молчаливое дежурство. На вторую ночь почти потерял голос.

Спал он в эти дни только один раз в кресле. Его будили, добудиться не смогли и вместе с креслом перенесли за угол — по стратегии коридорной обороны мебель надо было передвинуть именно туда.

Когда путч закончился, Иван Валентинович Малов, по кличке Зипер, пошел в церковь в Коломенском, поставил свечку и поблагодарил Иисуса Христа, что уберег его от гибели.

* * *

Безуспешно прокрутив минут двадцать телефон спецсвязи, поговорив с порученцами, но так и не пообщавшись ни с кем из руководства, Федор Сергеевич вышел из служебной квартиры возле Смоленской площади и

пошел к Новому Арбату посмотреть на оперативную обстановку. В свете фонарей вглядываясь и запоминая по обыкновению лица людей, он с негодованием подумал о той глупости, с какой, по его мнению, продолжали действовать чрезвычайщики.

Ну кто бы знал, здоров Горбачев или болен, если б они сами об этом не объявили? К чему эти преждевременные разглагольствования, разослали бы по местам директивы, а потом, если бы кто не понял, тому мы бы и объяснили. А теперь здесь корреспондентов иностранных сотни, не меньше, чем самих баррикадников. А сколько летит, аккредитацию прямо с борта запрашивают, как будто здесь чемпионат хоккейный. Только и крутят сейчас по всем мировым новостям — и вспомнил опять генерал рекламную разбивку, которую сегодня утром видел у себя: средство для укрепления волос — Ельцин на танке, Пицца-хат — бронемашины на Манежной площади, полоскание для зубов — Ростропович проклятый интервью дает — и от ненависти ток по коже прошел. Эти тоже хороши — прокукарекали и сидят где-то, ждут, что само рассветет, никто ответственность на себя брать не хочет. Как будто это очередной БАМ — нагнал народу, поднял хай — что-нибудь да построят. Не хотят оперативное решение принимать — напустили в город технику и стоит здесь она, как красная тряпка для быка. Я с одним своим управлением решил бы все вопросы, а теперь вон сколько ребят наших здесь работают, а все без толку.

Куда сами попрыгались? А ведь и когда отдавали приказы — как в Тбилиси, — потом отнекивались, юлили, противно смотреть. А прояви твердость, заяви: еще соберетесь — опять всех разгоним! — всего этого безобразия и не было бы никогда.

Готовились... Да мы к параду больше готовимся.

Генерал прошел контрольные пункты, показывая доставленный час назад пропуск, называл действующий пароль.

"В казаки-разбойники играют", — продолжал на ходу грустные свои размышления Федор Сергеевич. Он все осмотрел — все было ясно, кроме одного: почему их не разгонят до сих пор. Двух групп хватит на всех...

К генералу подошел тип лет сорока, небритый, грязный, точно моджахед, и, ухмыляясь, попросил закурить.

Генерал достал начатую пачку "Столичных", протянул.

— Можно взять парочку?

— Берите.

Парень вытащил щипком штук пять и еще две сигареты упали. Зипер — это был он — поднял их с гранитной плиты и стал запихивать обратно в пачку.

— Берите все — я почти не курю.

— Спасибо. Давно тут, отец?

— С самого начала.

— Продержимся, слабо коммунякам к нам сунуться.

— Да, куда им.

Зипер зажег спичку, стал закуривать, скосил глаза на кончик сигареты, а генерал зашагал дальше.

"Вот так же, — продолжал сокрушаться он, — и с Афганистаном было, все были озабочены тем, что о нас подумают, а в результате не дожали".

Когда генерал после обхода возвращался на квартиру, от площади Маяковского с походным грохотом подходила еще одна колонна боевых машин пехоты. От удара брони разлетелись скамейки и мусорные ящики баррикад, но на выезде из подземного проезда началась какая-то возня. Стали громко кричать: "Фашисты, фашисты!", завизжали девки. От брошенной сверху бутылки с бензином на головной машине вспыхнуло пламя. Генерал, протиснувшись к парапету, еще раз с неприязнью удивился, как жадно какой-то кинооператор устремился на огонь и на беспорядочную стрельбу, которую повели солдаты, покидая бронемашину. Смерть — лучший для них товар. Он запомнил профиль профессионала с камерой на плече. Этот парень с каждым оборотом кассеты зарабатывал сейчас тысячи долларов. Генерал посмотрел, что он снимал: двое пытались залезть на мечущийся бронетранспортер, попали под автоматную очередь, сорвались под гусеницы.

Генерал с огорчением отвернулся и заторопился звонить. Он еще не знал тогда, что эта ночная стычка была последним в истории сражением, в которое вступила и которое проиграла Советская Армия.

Недель пять Клубника нигде не появлялся — ни на катранах, ни в бильярдных. Край стосковался по заклятому другу и отправился к нему на дачу: больше быть ему негде было. Из-за переворота по центру было не проехать, он отправился по окружной. Подъезжая на своем "Жигуленке" к заветному дому, Край решил, что ошибся переулком — на зеленой некошенной траве, чуть-чуть растопылив задние скаты, стоял, снисходительно отражая корявые заборы, черный "Мерседес-300" с двумя антеннами и с голубым флажком ООН на правом крыле. Однажды, когда в армии Край служил фотографом, он уже обмишуривался так, когда принял полигон с надувными мишенями за боевые самолеты, и поэтому подошел и постучал костяшками пальцев по крыше лимузина. Вместе с глухим металлическим отзвуком дачную тишину взорвал вой электронного сторожа.

На крыльцо из стеклянной короткой галереи не торопясь вышел Клубника. Нет! Это был уже не Клубника, а сам Виссарион Иванович Мохов в тускло сияющих кожаных туфлях, в облегающем уверенную фигуру сером шерстяном костюме в мелкую звездочку, в шелковой сорочке в полоску и в шелковом же галстуке, завязанном одним узлом и с надписью "Кристиан Диор". А когда вдохнул в себя Край воздух, то услышал запах от подстриженной клубничной бородки — "Нина Ричи".

Прошел Клубника к "Мерседесу-300" мимо Края, как бы не замечая гостя, открыл дверь, нагнулся, выключил сирену, а уж потом только сказал:

— Некстати заявился, не до тебя сейчас, — и матом ничего не добавил.

Делать нечего — зажал Край в кулак пачку денег и сказал в спину уходящему в дом Клубнике:

— Скажи пулемет — бак даю!¹

— Объясняю тебе в последний раз, — ответил Клубника, — я занят.

— Чем? Что ты делаешь?

— Я работаю, — сказал Клубника и ушел в дом.

¹ скажи пулемет — бак даю — при игре в шменд или в железку зажимается несколько денежных купюр, и играющий дает фору партнеру — при сумме цифр, равной нулю, выигрывает партнер.

Не ожидал такого поворота Край. И стал он ходить вокруг "Мерседеса", сквозь стекла разглядывать — как там чего расположено, — время тянул, ждал, пока Клубника понтоваться бросит. И рассмотрел, что вторая антенна — от спутникова телефона. Ну и дела.

Минут через двадцать опять появился Клубника и прямо с крыльца объявил:

— Играть не будем, и не надейся.

— Ладно, черт с ними, с картами. Чаем обязан ты меня напоить или нет?

— Зайди, чай попей.

Входит Край в знакомый дом, где не одну неделю повел в беспощадных деберцовских сражениях, и не узнает его.

Куда подевалась вся рухлядь — где деревянный резной буфет с дверцами в цветных стеклах, там на полке стояла спиртовая настойка с медвежьей желчью, которую ночами пил Клубника, чтобы восстановить силы перед решающей сдачей; где письменный стол, который когда-то принадлежал Краю, а до этого его предпоследней жене, она еще школьные уроки за ним готовила и залила дно ящиков чернилами — стол этот достался Краю в приданое, и он и писал, и ел, и праздники справлял за ним все девять лет, что прожил в коммунальной квартире, а когда от горячего пролитого супа и чая на поверхности появлялись белые пятна старой полировки, соскабливал их перочинным ножом; где черный прямострунный рояль, который, чтобы спеться перед поездкой на БАМ, они купили с Клубникой за двести рублей на старой преображенской мебелиной барахолке, там еще в 73-м году приобрел Край за тридцатку и два гнутых стула, и тумбочку, и тот знаменитый книжный шкаф, с которого потом матрац свалился на Зипера; а главное — где кровать его, славная двухспальная кровать, которая выдержала все испытания, а потом, кажется, и сама подмахивать стала и которую Край тоже завез сюда на время?..

— Где моя мебель? — закричал Край, увидев омерзительные гладкие углы и блестящие поверхности офисного оборудования. — В сарае, — ответил Клубника. — Все в сарае.

— Какой ужас, он же у тебя протекает. Там все погибнет.

— Я сарай толем покрыл заново. Ничего с ней не делается.

— Дай ключ, я пойду посмотрю.

Открыл Край висячий замок, поднял и оттащил дверь, внутрь вошел, провел ладонью по сгрудившимся в темноте ножкам, поверхностям, спинкам и с облегчением почувствовал на ладонях сухую пыль.

— Что все это значит? — спросил Край, когда успокоился и вернулся в дом, — он только сейчас заметил, что на современной мебели работает аппаратура связи, что свежие факсовые сообщения, сохраняющие тугую закрученность рулона, кипами лежат на столах.

— Это подтверждения, — сказал Клубника.

— Подтверждения чего?

— Делегации сообщают, что они прибудут.

— Куда прибудут?

— На международный симпозиум.

— Но ты-то тут причем?

— Я его провожу.

— А где ты его проводишь?

— В Большом Колонном зале. У меня все страны будут, и Горбачев сам будет.

— Так он же болен сейчас.

— Ничего, поправится.

Край понял, что Клубника его разыгрывает, и поменял тему:

— Где ты пропадал почти два месяца?

— А ты хоть знаешь, с кем ты, баран, сейчас разговариваешь?

— Чувствую, что нет, не знаю.

— То-то же, — сказал Клубника, достал из кармана пачку "Дымка" и закурил.

— В кости играть будешь?

— Ни в коем случае, — ответил Край, — только в карты.

Уже через час Край проигрывал больше десяти тысяч и громко сокрушался о невезении, а Клубника утешал его, говоря:

— Это все ерунда, ты посмотри, что сейчас в Москве делается.

Семнадцать раз подряд Клубника сыграл по первому козырю, Край проиграл двенадцать тысяч, бросил карты и заплатил.

Пока Клубника пересчитывал деньги, Край стащил со стола несколько факсов и прочел их в туалете. Действительно, все они были адресованы Президенту Всемирного неправительственного фонда по Космическим контактам и Гуманитарным измерениям Виссариону Ивановичу Мохову.

А дальше и вовсе было выше крыши — все было правдой, только это были не подтверждения, а отказы от участия в Конгрессе в связи с путчем.

Край умылся, намочил волосы, жаль было проигранных денег, голова кружилась. Когда он вернулся в комнату, Клубника уже спрятал куш в заглазник, рвал и бросал в корзину игровые записи.

— Кто ты, раздери тебя надвое? — в сердцах спросил Край.

— Я общественник, — ответил Клубника.

3

Москва набирала в большие легкие воздух свободы. Плохо одетые женщины, еще неделю назад послушно просиживавшие положенные часы на открытых партийных собраниях, сейчас, продев руки сквозь бретельки пустых провизионных кошельков, вместе с мужчинами, которые положили на асфальт свои портфели и папки, образовали огромный живой круг по Старой площади, улице Разина и переулкам, оцепив весь огромный комплекс зданий ЦК.

И это было не простое стояние, это была боевая цепь, досматривающая всех выходящих и не пускающая никого внутрь.

Первые, вторые, третьи секретари, их помощники, первые, вторые, третьи инструкторы — по промышленности, по идеологии и пропаганде, по обороне, по образованию, по сельскому хозяйству, отделы кадров, работники первых (секретных) отделов, общие отделы, отдел партийного контроля, народный контроль, — все те, которые решали по всей стране и по всему ближнему зарубежью все политические, финансовые, правовые, строительные, жилищные, информационные, кадровые вопросы, — эти легионы и легионы партфункционеров в одночасье, положив в кейсы памятные безделушки со своих столов, рассеялись, разошлись по домам.

И какой-нибудь инструктор, по одному звонку которого заводы во многих регионах начинали производить новую систему вооружения, подвергался личному досмотру домохозяйки, которая чуть не плевала ему в глаза.

На Лубянской, в тот день еще Дзержинской, площади собирались оживленные молодые люди, чтобы к вечеру повергнуть символ организации, намеренно представлявшей собой на земле силовой полюс зла.

В районных комитетах партии, в которых еще совсем недавно униженные старики и старухи сидели в залах для заседаний, заполняя листки с просьбами разрешить обмен допавловских крупных купюр, а потом часами ожидали вызова на спецкомиссию, в этих самых райкомах, которым по территориальному признаку подчинялись абсолютно все учреждения, расположенные в округе, — университет, детская больница, мануфактура, рыбное министерство, консерватория и т.д., и ими же контролировались все жители каждого района, теперь торопливо уничтожали директивные документы.

Остались пустые, огромные опечатанные здания.

Осталась связь, пользуясь которой можно было измчающегося по Калининскому проспекту автомобиля отдать боевой приказ подводной лодке в Ледовитом океане.

Остались противоводородные подземные бетонные норы с десятилетним запасом пищи, воды и воздуха.

Остались счета в банках Люксембурга, Лихтенштейна, Ганы, Швейцарии.

Осталась неизвестно кому теперь принадлежащая собственность — гостиницы, типографии, газеты, производства.

Остались выпотрошенная, разоренная, растерянная Россия и обманутые, обозленные, обездоленные ее соседи.

Осталось население, не знающее, как себя прокормить, лишенное чувства ответственности, необязательное, неумелое.

Остались вытравленная почва, обмелевшие реки, высохшие моря...

У тех же людей, которые все эти темные десятилетия печатали, закладывая в каретку по семь — восемь листов бумаги — до слепого экземпляра, Платонова и Бул-

гакова, Пастернака, Солженицына и Шаламова, размножали на ротапринтах подпольные газетки, переснимали и печатали книги Авторханова, Джиласа, Воронеля, у всех тех, кто сидел в лагерях и тюрьмах за манифест технократов или приклепленную на дверях агитпункта написанную от руки листовку, — было ощущение, что все эти годы они боролись с оборотнями...

* * *

— Где Сашенька? Почему ее все время нет дома, и ночует она у каких-то подруг, а ты даже телефона не знаешь, по которому с ней можно хотя бы поговорить?!

— Она такая же твоя дочь, как и моя. А ты все время занят. И у тебя можно спросить, где ты ночами бываешь.

— Ирина, я на работе.

— Много вы наработали. Смотри, что делается...

— Ирина, я ее уже неделю не видел.

— Вчера забегала, голодная. И поесть спокойно не может, в одной руке трубка, в другой вилка, и говорит все на каком-то жаргоне, я слушаю — ничего не понимаю. Тоже, наверное, была защитницей ельциновской, рядом с тобой где-то там ошивалась.

— Не было ее.

— Ты что, там всех пересмотрел, их ведь тысячи там было.

— У меня на рабочем столе ее фотография стоит. Если бы хоть кто-нибудь из сотрудников заметил ее, мне бы сообщили.

— Так и узнай тогда сам, где твоя дочь. А то каждый дипломат у вас на поводке, а где дочь родная — не знаешь.

— Я не могу поручать офицерам, которым государство платит зарплату, решать мои личные вопросы.

— Общественные вы все уже решили, мог бы и о дочери теперь побеспокоиться.

Синев перестал препираться с женой и затворился в кабинете. Поражение, которое они потерпели, поставило его перед выбором: или уходить в отставку сейчас, или ждать, пока распустят все управление, поскольку чувствовал, что преступления, раскрытием которых они занимались, если так дело дальше пойдет, скоро перестанут, видимо, квалифицироваться как нарушения за-

кона, и он все равно окажется не у дел. Чем еще заниматься оставшиеся добрые двадцать лет жизни — торговать секретной служебной информацией, обличительствовать? Федор Сергеевич вспомнил некоторых своих сослуживцев и брезгливо поморщился. К даче еще флигелек пристраивать, ездить на рыбалку — выбор не велик.

Сашенька совсем от рук отбилась, продолжал он свои грустные раздумья. Все у ней есть: и два видеомагнитофона, и видеотека, и компьютер в комнате стоит — а самой дома нет. Отказа ей ни в чем не было, во всем потакали, вот теперь и делает, что хочет.

Синев снял трубку особого аппарата, набрал несколько цифр, и уже неоднократно слышанный им сегодня голос произнес:

— У телефона.

— Какие последние сведения?

— Да все те же, звонят из регионов, спрашивают, что у нас происходит.

— Виктор Павлович, — замялся генерал, — не в службу, а в дружбу. У меня дочь вторую ночь дома не ночует, а где она — и Ирина не знает, распустила девочку. Поручи кому-нибудь, кто у тебя поскромней, узнать, что за подружки у нее, чем занимаются. Одну я раз застал тут у нас — так она лет на десять старше Саши. Не надо особенно копать, но...

— Обязательно, завтра же попрошу, в течение недели мы все будем иметь.

— Спасибо, Виктор Павлович, спасибо. Теперь за молодыми девушками только мы и можем уследить...

* * *

Старший лейтенант Мицинская занималась регистрацией прилетающих со всех стран делегаций на третий конгресс по Гуманитарным измерениям. Два предыдущих конгресса прошли когда-то на Западе, и нынешний, Московский, был предметом долгой борьбы мнений, неоднократные миссии проверяли чистопольский лагерь в поисках затерявшихся правозащитников, и когда, казалось бы, все вроде уже утряслось, случился путч и последовала лавина отказов. Но демократия неожиданно победила, и теперь многие сотни борцов за права угнетенных торопились поглядеть на Кремль, по-

слоняться по Оружейной палате, понаслаждаться балетом в Большом, проехаться по Золотому кольцу, поесть икры, осетрины астраханской, семужки мезенской, грибков маринованных из владимирских лесов, сняться с горбачевской супругой, а может, и с самим мужем, ну и, конечно, поговорить, выговориться, во всем разобраться, что в мире произошло после Второго конгресса, — времени на все должно было хватить: целый месяц предстояло дебатировать в Большом Колонном зале.

Именно Мицинскую и попросил Виктор Петрович выполнить деликатное поручение руководства. Еще по номерам телефонов, звонивших данному ей объекту, она определила несколько активных абонентов и наметила себе на вторую половину дня объехать их, а сейчас слушала Клубнику, который, чванясь, объяснял ей, по каким комиссиям будет работать конгресс.

Она вежливо уточняла, какое заседание будет проходить в Синем зале, и, подсчитывая на ходу, сколько понадобится там синхронистов, спросила, на каких заседаниях сам Виссарион Иванович будет присутствовать.

"Еще чего не хватало, — подумал Клубника, — эту бодягу слушать". И сказал:

— Зайду туда, обязательно побываю. Но столько дел...

А если бы Мицинская вдруг напрямую спросила Клубнику:

— Как звать телку Шатурского, у которого ты в буру три дня подряд на той неделе играл? — то, может быть, от удивления Клубника бы и ответил:

— Сия.

А старший лейтенант сэкономила бы этим полтора дня работы.

* * *

Жора в междуцарствие, когда еще непонятно было, чья возьмет — горбачевская, ельциновская ли сторона, — оправдал с лихвой вложенные семь миллионов. Он, да и партнеры его все телефоны, факсы пообрывали, дружкам своим брайтоновским знать давая, что, мол, валите, не упустите момент. Ребята откликнулись конечно, поднажали — со всех складов тайваньских за доллар — а тогда он еще двадцать рублей стоил — весь лежалый товар — зонтики, курточки дождевые, косме-

тику разовую, тапочки — закупили и обносившимся победителям за 300 рублей этот мусор толкнули, то есть за пятнадцать долларов, — прибыль с одного оборота 1500 процентов! Обалдели ребята от счастья — крутят и крутят операции эти, партию за партией самолетами, поездами, контейнеровозами. И этот рублево-долларовый тайфун, под запарку победную, завертелся, засосал и втянул в себя все денежки кровные наши и превратил их в труху.

А напоследок академики горбачевские, в юношестве своем экономику социализма изучавшие, смотрят, что это такое деется, и думают: вот неплохая тема для аспирантов будущего набора. Невдомек было олухам, что времени-то у них самих уже не осталось.

И хоть бы Рая — уж на что ушлая баба — чего сообразила; так нет, и она все прошляпила.

И началась девальвация — пять, шесть, десять процентов в неделю. Жора чувствует, что он в рай попал. Берет 100 миллионов в кредит на месяц за ничтожный тогда процент, покупает тысячу вагонов все равно чего — не глядя, через месяц продает, кредит возвращает, а 100 000 000 на свой счет кладет — глаза протрет: неужели эти циферки на бумаге — его бабки? Да! Да! Его! И опять крути их, крути, ах, красота какая...

* * *

Клубника пригласил Края на конгресс, показать, каких он высот достиг. Походили туда-сюда с пропусками на шеях — смотреть нечего, а слушать — тем более. Показывают таблицы с количеством угнетенных, а в креслах кто газетки почитывает, кто дремлет с перепоем вчерашнего, а в зальчиках отдельных и вовсе блины с икрой жрут, пепси-колой запивают.

— А ты чего не выступишь? — спросил Край. — Скажи им мнение свое веское — на кого ставить: на "Спартак" или на ЦСКА.

— Сейчас и выступлю.

Решил Край, что шутит Клубника, ан нет, он, оказывается, специально подгадал, чтобы поразить его.

И вот объявили, вышел Клубника на трибуну, микрофон придвинул и как набросится на наркобизнес, на кокаиновых баронов и на среднеазиатских поставщиков. "Недопустимо, — стал орать, — чтобы нашу молодежь губила жадная картель".

Край ему крутит у виска пальцем, мол, остынь, куда прешь.

А Клубника бельма выкатил и дает. Регламент просрочил, еле согнали парня.

— Ты чего против ветра ссышь? Где ты эту мафию видел? А ведь она тебя, если вдруг понадобится, искать долго не будет.

— Баран ты, — ответил Клубника, — полный баран, это же социология — наука важная.

Но поднадоел им уже конгресс, от колонн белых глаза стали слезиться, и решили они отправиться в академию, в биллиардную то есть.

Вышли из зала, поднялись по Пушкинской улице, завернули в Георгиевский переулок, и постучал Клубника в стекло, — Виктор Иванович, запершись, дремал за рулем. Сели, поехали. Край и говорит:

— Ну, понятно, зеки, узники, декларация, гуманизм, но космос тут причем, какие связи и с кем? Вот ты, к примеру, 50 лет живешь, и все это время, если никого не объегориваешь, то на небо смотришь. Ну так видел ли ты хоть раз что-нибудь такое, что бы ты не смог сам себе объяснить?

— Нет, — честно признался Клубника, — не видел. А ты видел?

— Да, один раз видел.

— Где?

— В Америке, в Вашингтоне. Вышли мы из Белого дома, сели на автобус свой маленький и поехали в гостиницу, а жили мы в "Марриотте" в Хрустальном городе, рядом с Пентагоном. И вот едем мы, озираемся вокруг, смотрим на город и вдруг видим три тарелки летающих, первая над второй, а третья чуть сбоку висят. Минут десять ехали, и все десять минут на них в двадцать глаз глядели.

— Нажрались вы в Белом доме, вот и тарелки помешались.

— Во-первых, нам выпить там не дали. А во-вторых, война тогда была в заливе, вот тарелки и висели над Пентагоном, высматривали у них чего-то, следили.

— Я думал, ты трендишь, а ты, оказывается, в натуре в Белом доме был. Что же ты там, засранец, делал?

— А эти гаврики, образователи наши, по-английски совсем не рубят, один только немножко понимал и все.

Ну вот переводил я речь нашего рогатого бугра, а один из прихлебателей его, который чуть-чуть рубил по фирме, и шепчет ему, что, мол, не совсем точно вас переводят. Тут я тараторить бросил и говорю образователям прямо по-русски: "Не мешало бы вам, прежде чем руководить, хоть что-нибудь и самим выучить" На том его речь и закончилась.

— А американцы?

— Министр ихний стал ответную речь держать. Наш-то все хвалился, а ихний недостатки свои выпячивает. А мы о недостатках этих всю жизнь в газетах читали. Скажет он фразу, я перевожу, скажет другую — опять перевожу, потом вижу — я и сам не хуже него знаю, о чем говорить, — и пошел, не дожидаясь, чесать. А министр этот, гляжу, смотрит на меня с удивлением. Тут я ему по-английски и говорю, что, мол, садитесь пока, отдыхайте, я тут быстренько без вас управлюсь.

Ну, министр не то, что наши гондоны, засмеялся, понравились министру наши мульки¹ ...

Тут Виктор Иванович спросил:

— Вас ждять, Виссарион Иванович, или можно домой съездить, пообедать?

— Поезжай, а часам к девяти появись.

— Будет сделано.

Незаметно и приехали — вот она, академия.

* * *

Не любит билиардная посторонних, и жизнь надо прожить, чтобы там своим стать. Потому что сводка это хлеб, и надо переиграть со всеми и проиграть не одну тысячу, и выиграть, сколько сумеешь, чтобы мнение о тебе сложилось, что ты — партнер. Легко зайти в академию, не трудно и выйти, а вот остаться там — дело не простое. Потому что проиграл две партии — сыграл на расчет, еще проиграл — опять на расчет, а в долю к партнеру твоему идут и Борода, и Шкаф, так что получить с тебя есть кому, и платить придется. И тут одно спасение, один закон: играй только на то, что у тебя в карманах сейчас, а зарвешься — тут тебе и конец, будешь и бит, и в замаске. А если проявишь характер, то, может быть, повезет и дадут тебе кликуху,

¹ мульки — прибалтненые шутки.

как Клубнике, а это значит, что закончил ты академию и остался в ней навсегда.

Все, что происходило в эти дни, было как бы обхаживанием партнера, который в выигрыше и при деньгах. Но об игре ничего не говорится. На самом-то деле Край только и думал, как отыграться. Ведь в шары Клубника не так силен, как в карты, и даже сводка¹ с ним не так уж важна, главное — начать.

Для играющего сердца никакая музыка не сравнится с щелкающим стуком, никакая беседа не заменит игроцких присказок, понятных только своим.

Вот Венера повторяет перед каждым ударом: "Элан-Уде!", потому что хочет вывести из себя известного Чумака, которого зовут Элан. Вот Кролик похваливает лоха, награждая его после каждого дурного удара государственными и нобелевскими премиями.

Вот Налим спрашивает Полковника через каждые десять минут:

— Ты где работаешь?

А тот неизменно отвечает:

— Я еще учусь.

А игроцкие деньги переходят от одного биллиардиста к другому, и случается, что накатит такой фарт², как у Лешего в 73-м году, когда все ему попали. Но не повернулся, никуда не ушел с набитыми карманами Леший — вон сидит рядом с Суреном, все давно спустил, пустой сейчас, гробовщиком недавно устроился, композиторов хоронит.

Но вот стол как раз освободился.

— Давай побалуемся, — толкнул Клубнику Край.

— А фора какая?

— Наша, обычная, три шара.

— Нет, — отвечает Клубника, — я сегодня плохо себя чувствую, не годится.

— Ладно, — в выигрыше Клубника, вот и за горло берет, — ладно, четыре шара даю, не имеешь права отказаться. Но играем моим кушем.

И пошла катка.

Клубника с такой форой бьет по всем шарам не глядя, отыгрываться и не думает, а дураки по два в

¹ сводка — сложившаяся и устоявшаяся в соответствии с классом игроков фора.

² накатит такой фарт — выпадет счастие.

партию падают. Но Краю деваться некуда, надо терпеть. Борьба идет не шуточная, Край скручивает вдоль бортов, Клубника своих в среднюю кладет, а рамс все нулевой, толка нет. Но вот стал уставать Клубника, из луз выбил пару раз, мелить забывает, киксовать стал. Начали по штуке, а вот уже и по пять игра пошла.

Виктор Иванович пришел, ключами поигрывая, прогнал его Клубника, чтоб не мешал. К утру и свое отбил Край, и нагрузил партнера под полтинник¹. А Клубника двужильный, кий поставил, поехали, говорит, теперь в карты ко мне играть.

— Ну нет уж, шабаш, хватит на сегодня.

Доковыляли до машины, рассчитались внутри. Подвез Клубника Краю до Щербаковского метро и, пока тот шел ко входу, уже влившись в поток спешащих на работу людей, все орал ему вслед из своего "Мерседеса":

— Поцайло! Не хочешь в карты, так поедem кости покидаем!

* * *

Длинное трехцветное полотнище, которое несли над головами люди, праздновавшие свержение коммунистического режима, теперь лежало свернутым в огромный катыш, как раз в той комнате, где еще недавно стояли две железные кровати, с которых Жора с Клубникой начинали свой путь в бизнесе. Георгий Сергеевич переехал в более престижное место — арендовал теперь этаж в самой мэрии, а эти комнаты отдал формирующейся гвардии. Предполагалось устроить здесь казармы для отряда, так сказать, быстрого реагирования. И первые бойцы благоустраивались: койки, на которых когда-то массировали медом страдающих бесплодием женщин, теперь устанавливались рядами, в изголовьях ставили стулья вместо армейских тумбочек. Жора распорядился выдать белье, дал денег на еду. Зипер сразу же побежал за водкой и скоро притащил рюкзак, набитый чекушками, — директор ближайшего гастронома возле Октябрьской площади выделил по такому случаю из своих запасов. К вечеру на празднование потянулись начинающие актрисочки, которых Зипер апробировал в эти недели, готовясь к съемкам новой картины, да и

¹ нагрузил партнера под полтинник — выиграл около пятидесяти тысяч.

остальные гвардейцы не сидели сложа руки — тело оказалось даже с избытком. Стаканов же не оказалось вовсе — пили прямо из горла. Нажарили две сковороды картошки, хлеба нарезали. Пили сперва за победу, потом за Лен, которых оказалось девять штук, потом уж без разбора. Часам к двум ночи нажрались до умопомрачения. Зипер по обыкновению упал и вырубился, а ребята стали заниматься с актрисами. Несогласные визг подняли, согласных не поделили, кто-то нож достал, стекла оконные полетели, шум поднялся на весь микрорайон. В полпятого утра прибыл усиленный наряд, поскольку прибывшую ранее подвижную милицескую группу просто не пустили за порог. Казарму взяли штурмом, девчонок отпустили по домам, а большая часть ребят оказалась без прописки, их задержали, начались разбирательства. Зипер же в бесчувствии завернулся в конец полотнища, его не заметили, и когда утром, очнувшись, он выпутался и стал искать, чем бы опохмелиться, ни в одной из чекушек не оказалось ни глотка водки.

Так бесславно закончилась первая попытка возрождения русской национальной гвардии.

* * *

Закончив очередной безрадостный недельный отчет, Виктор Петрович положил перед руководством заявление с просьбой отпустить его из кадров в связи с выслугой лет.

— Чего ж ты бежишь, как с тонущего корабля, — огорчился генерал.

— Устал я, Федор Сергеевич. И потом работу хорошую предложили.

— Какую?

— Банк коммерческий возглавить пригласили. Буду там работать даже с большими оперативными возможностями.

— Ты же ничего в банковском деле не понимаешь.

— Дело нехитрое — деньги считать.

— Смотри, тебе виднее. Доложу о тебе на Коллегии, посмотрим, что решат.

— Спасибо, — поднялся Виктор Петрович. — И еще вот вы просили... — и уходя, положил на край стола конверт.

— Что это? — спросил генерал, но Виктор Петрович уже закрыл за собой двери.

— Боже мой, неужели? — вслух сказал генерал, рассматривая документы. Но никаких сомнений быть не могло — его Сашенька, дочь его любимая, входила с кем-то на катран, наблюдала за карточной игрой, затягивалась папиросой, по-видимому набитой травкой, сиделась в машину с усатым молодчиком, который обнимал ее. А вот дом, где она живет и ночует с ним. А кто он? Генерал просмотрел справку — какая мерзость!..

Федор Сергеевич встал, подошел к окну и увидел оскверненный постамент, увидел толкучку, вольготно расплзшуюся в центре когда-то режимной столицы. Удушливая бензиновая гарь, которую почти не очищал голландский кондиционер, кольнула его в сердце. Кружащиеся бесчисленные автомобили вздымали пыль, которая смерчем поднималась ввысь и делала серыми солнечные лучи.

Генерал подошел к сейфу, открыл его, достал табельный пистолет, снял с предохранителя, вложил его снизу вверх в рот, уперся прохладным стволом в небо и торопясь, боясь передумать, нажал спусковой крючок.

* * *

Президентский прием, посвященный окончанию третьего Московского конгресса по гуманитарным измерениям и космическим связям, заканчивался. Вся еда была съедена, грязные тарелки складывались официантами, стулья отодвинуты впопыхах — все встали и напоследок стремились пообщаться с Горбачевым, пожать ему руку, постоять рядом с ним.

Клубника с белым тисненным приглашением в руке, которое не помещалось в карман его шикарного костюма, а мять не хотелось, — пробивался поближе. Он уже ощущал эту ауру власти, которая притягивала людей к Президенту.

Стоял гомон, но чутким ухом привыкшего работать в толпе человека Клубника улавливал отдельные слова и общий тон людей, что-то поочередно пытавшихся говорить Горбачеву. Интонация была просительной.

Он впервые видел его живьем в такой телевизионной близости, а ощущение было такое, что знает его настолько хорошо, что стоит Горбачеву встретиться с ним

взглядом — и тот сразу всех бросит и подойдет к Клубнике.

Но вот броуновское движение толпы подвинуло его еще ближе, и он увидел на оживленном, холеном лице Президента уставшие тоскующие глаза.

— Как поживаете? — неожиданно для себя спросил Клубника. — Как Вы поживаете, Михаил Сергеевич?

— Кто вы? — спросил Горбачев.

Клубника зажал приглашение под мышкой, вынул из кармана визитки и мгновенным решением профессионала старой школы выбрал из них ту, на которой он был еще заместителем Генерального директора Женского благотворительного фонда.

— Я композитор, — сказал Клубника, протягивая бизнес-карточку.

Но Горбачев не успел удивиться — какой-то космонавт потянул его за руку, зажавшую клубничную визитку. Президент отвлекся, да и Клубника перестал упираться, и его оттеснили из кружка открытого пространства, образовавшегося возле первого лица государства.

Когда Клубника выходил из Кремля через Боровицкие ворота, он вдруг вспомнил, что уже много раз видел, как в толпе возникали такие пузыри. Он вспомнил, как Гоша, устав крутить наперстки, ненадолго вставал с приседа, чтобы размять колени, и напряженно оглядывался — кто, кроме верхних, еще тут стоит, прилип к игре. И тут же опять приседал, и мелькать начинали наперстки у него под руками. "Раз уж ты нижний и тебе по закону идет двойная доля, — подумал Виссарион Иванович, садясь в свою машину, стоявшую в рядах черных "Волг" посреди Манежной площади, — так и крути, пока тебя не взяли".

* * *

Шатурский попал на приезжего и залетел на 240 тысяч, и теперь обзванивал приятелей, чтобы перехватить денег и перекрутиться. Нинка поэтому еле прозвонилась:

— Саша, поезжай домой.

— Чего там стряслось у них?

— Поезжай немедленно, это необходимо.

— У Олежки неприятности, я не могу сейчас его одного оставить.

— Твой отец погиб.

— Врешь! Он, наверное, сам кого-нибудь прикончил.

— Позвони домой, узнаешь, — закончила разговор Нина и положила трубку.

Саша успела проститься с отцом.

Она надеялась, что еще сможет напоследок увидеть его, но крышку так и не открыли, и гроб, уже без венков, опустился под траурную музыку вниз.

— Это ты его убила, ты своим поведением его убила, — стала кричать на Сашу мать, как только они остались одни в квартире.

Саша молчала.

— Шлюха, убийца, дрянь, — надрывалась, распаляя себя, мать.

— Ну ладно, — сказала Саша. Встала и пошла к выходу.

— Ты куда? Где тебя опять искать?

— Не надо меня искать, я не приду, — ответила Саша.

Мать бросилась ее удерживать, но дочь оттолкнула ее, проскользнула в дверь и, не дожидаясь лифта, бросилась бежать вниз по темной лестнице.

* * *

Надоленко, пообщавшись с Жорой, написал сценарий фильма о нем и название успел придумать подходящее — "Брод через бедность". Жора сценарий одобрил, а название забраковал. Надоленко предложил на выбор: "Новый меценат", "Бизнес по-нашенски", "Первопроходец предпринимательства", "Богатые люди — богатая страна", "Путь деда повторяет внук", "Следуйте за мной", "Как построить капитализм", "Непросто быть миллионером", "24 часа у телефона", "Мы все-таки перегоним Америку", "Все происходит сегодня", "Попечитель сирот"...

Жора растрогался, достал из чемоданчика десять тысяч, дал их Надоленко и сказал: "Молодец!"

— У нашего фильма, — стал объяснять на радостях автор, — два главных направления: благотворительная деятельность в Москве и трудное детство на родине.

— Ладно, там разберемся. Аппаратуру когда тебе дадут на студии?

— В конце месяца.

— Ты проверил, деньги на счет студии от нас поступили?

— Да, все в порядке.

Киноэкспедиция отправилась в Крым на четырех машинах: каплевидном микроавтобусе фирмы "Дженерал моторс", "Линкольне", "Ниссан-патруле" и отечественном бензозаправщике, поскольку бензина в дороге не было. Ехали колонной, и кто шел, кто стоял в ту минуту вдоль по обочинам российских печальных дорог, скидывал с плеч поклажу, клал наземь авоську с буханками хлеба, мешок с картошкой и долго смотрел вслед, провожая взглядом дикие, невиданные автомобили.

Хотя бригада рэкетиров, пытавшаяся досаждать Жоре, осталась в Москве, порядок выхода оставался прежним, и когда по дороге останавливались передохнуть, ноги размять, сначала из "Ниссан-патруля" выбегала охрана, оглядывала окрестности, и только потом Володя открывал дверь "Линкольна" и выходил Жора.

Надоленко ехал с оператором в микроавтобусе и, поглядывая сквозь дымчатые стекла на бедные скособоченные деревеньки, вспоминал недобрым словом своего бразильского дядю, бросившего его на произвол киношной судьбы. Пересел как-то раз, уже за Курском, для разнообразия в "Ниссан-патруль" и спрашивает у Володи:

— Откуда шеф раздобыл это длиннущее ландо?

— Купил по случаю.

— А кто же вез этот гроб через океан, чтобы здесь за рубли толкнуть, или он зелеными заплатил?

— Не знаю, — ответил Володя. Потому что первая заповедь охранника — не говори никому, что узнал на работе, а уж вторая — никого к хозяину не подпускай.

На самом деле он знал, откуда здесь ноги растут, потому что занимался этим сам. Приглянулся Жоре этот лимузин на улице, и поручил разузнать — откуда он, чей. Поработали — узнали, что нью-йорские эмигранты наши, башковитые ребята, рассчитали, что по Москве толстосумам ездить не на чем. Взяли напрокат у себя в Нью-Йорке лимузины и от своей фирмы пустили их по

Москве. И правильно рассчитали — навар валютный был у них раза в три выше. Но одного не учли — что по Жориной территории они разъезжать будут. Вот и забрал Володя один лимузин у фирмы за расчет и название ее запомнил: "Зигзаг" с Пятой авеню.

* * *

Фильм получался психологическим и глубоким. Жора слонялся в туманной дымке по крымским горам, где он в свое время работал то лесником, то пасечником, а Надоленко командовал оператором, входил в образ, продумывал вопросы и задавал их, поддерживая естественное напряжение мысли своего героя. Жора говорил о будущем, о том, как преобразится с его помощью Крым, как в его лечебницах будут излечивать страждущих, как в его лицеях дети будут проходить пушкинский курс наук. Съемки продолжались в Юсуповском дворце на Мисхоре, где обалдевший от газетных новостей подполковник принял Жору за прямого наследника Хоннекера, прошедшего здесь свое последнее лето. Надоленко узнавал виденную им когда-то в ялтинской кинохронике легендарную столовую с характерным, готической высоты камином, который грел в свое время спину вождю народов, пока за обеденным столом сидели и слушали его многозначительные тосты Рузвельт и Черчилль. Сделав в работе перерыв, Надоленко с трепетом обошел пустой дворец — он был казенным и мертвым. Мебель шестидесятых годов с овальными номерами инвентарной принадлежности к чекистской канцелярии; арабские белые спальни, которые шикарно бы выглядели в московской какой-нибудь квартире, а здесь были оскорбительны своей безвкусицей; многозначительные пустые телефонные столики на полдюжины аппаратов, свидетельствовавшие о величайшей ответственности еще недавно прохлаждавшихся здесь партийных бонз...

Позолоченная фигурка основателя разрушающегося государства с горы осеяла великолепие парка.

Надоленко, работая ракурсом, запечатлел указующий Жорин перст:

— Этого мы, конечно, уберем и поставим там часовню в память жертв.

Надоленко морщился, опять делал перерыв, гулял по аллеям, и, утешаясь, думал, что прибор человеческой удачи выносил на этот высокий берег разных людей. И, наверное, Юсуповы, оглядывая синий оком, благоухающие цветники и благоденствующую местность, ощущали свое исконное право наслаждаться здесь жизнью и в закатный час сидели на знаменитом колонном балконе, обсуждая по-французски семейные дела; а после большевики, попавшие сюда, вначале заставляли себя чувствовать здесь как дома, а потом быстро привыкли и, глядя на колышущиеся ветви эвкалиптов, кусты роз, гребешки волн, думали в основном о взаимоотношениях в аппарате своей потрясающей партии. А вот теперь Жора примеривается, хорохорится, пускает пыль, но заматереет он, судя по всему, быстро, и его ребятки в адидасовских костюмах сменят кадровую охрану, и будет Жора принимать здесь своих американских или индо-бразильских партнеров, летать с ними на вертолете в горы на кабанью или оленью охоту. А потом опять произойдет изменение времен, и кто-то еще ненадолго вступит хозяйской ногой в прохладные просторы юсуповского дворца...

Просмотрел вечером отснятые материалы Надоленко, остался доволен и обратился наконец к Жоре с вопросом, давно его волновавшим:

— Георгий Сергеевич, вот смонтирую я фильм, а кто его смотреть будет?

— Как кто? — не понял Жора.

— Где вы его показывать будете, кому?

— Всем.

— Для этого надо будет его в прокат пустить.

— Ну так и пустим.

— Но фильм-то получается телевизионный.

— Очень хорошо, пустим тогда по телевизору.

— Но там надо, — объяснил Надоленко как старый телевизионщик, — эфирное время иметь...

— Купим это твое эфирное время, — улыбнулся Жора, — и будем его иметь. Ты знаешь, как это сделать?

— Знаю.

— А когда ты думаешь лучше фильм мой запустить — до программы "Вести" или после?

— Думаю, сразу после.

— Ладно, — решил хозяин, — напомним мне об этом сразу же, как вернемся в Москву.

Таким образом, у фильма про Жору было несравненно больше зрителей, чем будет когда-либо читателей у этих записок.

* * *

Получив гонорар и немалые призовые за фильм о Жоре, Надоленко пригласил Края в кабак. Начали шампанским, продолжили шампанским же, но скоро оно кончилось в буфете, и приятели перешли на коньяк. Закусь была хорошая, но у Края на утро была назначена важная встреча, он осторожничал, недоливал, а Надоленко праздновал от души. Последнюю недопитую бутылку взяли с собой, и поскольку пробку официант убрал, ее пришлось допить в скверике. После заключительных глотков парочка самораспалась.

Когда ночью Надоленко неведомо как, но все же добрался и позвонил Зверевой, она, как обычно, не открыла, проклиная его из-за закрытой двери, и он застоялся и сполз на замызганный коврик. Тогда, отперев, Зверева пнула ногой павшего негодяя и хотела опять захлопнуть двери, но обратила внимание на неестественно подвернутую правую руку. Приехавший через полтора часа врач "Скорой помощи" определил перелом. Еще два перелома в костях ступни были обнаружены уже в больнице.

Край навестил друга и из принесенной грелки наливал портвейн в чистую банку из-под майонеза, которую Надоленко держал в левой, здоровой руке. В палате лежали еще двое с переломами, но более серьезными, на растяжках.

Надоленковский фильм уже прошел по второй программе, и режиссер спросил у Края:

— Видел работу?

— Шикарно. Очень крупно. Ты хоть понял во время съемок, о ком ты кино делаешь?

— Как о ком? О меценате, о бизнесмене, о человеке, наконец.

— Я тебе одно скажу — вот ты попал в больницу две недели назад. Тогда этот портвейн можно было купить за пятнашку, сегодня я заплатил полтинник, а когда ты выйдешь — и за сотню его не купишь.

— А при чем здесь Жора?

— Может не сам Жора, а другие Жоры, пока ты тут прохлаждаешься, скупают весь портвейн и вздуют на него цену.

— Весь-то не скупают.

— Именно весь, и не скупают, а купили уже, и не только портвейн, но и водку, и муку, и колбасу...

— Жиды проклятые, — отозвался рядом лежавший в растяжках больной, — даст Бог, встану, я им всем покажу.

— Причем тут жиды, — сказал Надоленко. — Жора русский человек.

— Все они русские, а глянь в телевизор — одни жиновские кривые рожи.

Тут Край встал:

— Слышь, заткнись ты, падаль! А то я смотрю, у тебя только одна нога поломана, а вторая еще цела.

— Вы, пидоры, тут жрете втихаря, — завизжал подвязанный.

— Налей ему, он нервный, — сказал Надоленко, — а то сейчас медсестра прибежит.

— Так ее и дождешься, — сказал третий больной.

— Фиг ему, — сказал Край. — На, спрячь, потом допьешь.

Надоленко сунул грелку под одеяло.

В окне невдалеке был виден блохинвальд — раковый центр.

— Что-то много вас тут, болящих, скопилось на одном пяточке, — сказал Край.

— Радоваться должны, что мы все еще пока тут, а не там, — сказал Надоленко.

— Мы и радуемся, — отозвался третий больной.

— Ну, не буду вам мешать, — начал прощаться Край. — Держитесь. На воле сейчас не слаще, чем тут.

— Хоть ты и уйдешь отсюда, пидор, я тебя все равно достану, — не успокаивался второй больной.

Край в сердцах плюнул себе под ноги, потом махнул рукой Надоленко, сказал: "Пока!" — и ушел.

Надоленко достал грелку из-под одеяла и бросил ее соседу:

— Отхлебни, не кипятись. Он неплохой парень.

— Все они хорошие, — сказал второй больной, отвинчивая пробку...

ПРОФИЛЬ СТЕРВЯТНИКА

* * *

Те дни породили неясную смуту
И канули в лету гудящей баржой.
И мне не купить за крутую валюту
Билета на ливень, что лил на Большой
Полянке,
 где молнии грозный напарник
Корежил во тьме металлический лом
И пахнул густым шоколадом "Ударник"
С кондитерской фабрики за углом.

Веселое время!.. Ордынка... Таганка...
Страна отдыхала, как пьяный шахтер,
И голубь садился на вывеску банка,
И был безмятежен имперский шатер.
И мир, подустав от всемирных пожариц,
Смеялся и розы воскресные стриг,
И вместо привычного слова "товарищ"
Тебя окликали: "Здорово, старик!"
И пух тополиный, не зная причала,
Парил, застревая в пустой кобуре,
И пеньем заморской сирены звучало:
Фиеста... коррида... крупье... кабаре...

А что еще надо для нищей свободы? —
Бутылка вина, разговор до утра...
И помнятся шестидесятые годы —
Железной страны золотая пора.

1992

**Евгений
Блажеевский**

— родился в 1947 г. в Кировабаде (ныне Гянджа, Азербайджан). Окончил Московский полиграфический институт. Автор книги стихов "Тетрадь" (1984 г.).

МОСКОВСКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

В морозный вечер мимо гастронома
Рысцей веселой до пристройки низкой
Затерянного в переулках дома
Спешили мы с подругой по Мясницкой.
Малиново-сиреневые тени
Сгущались и, как помнится теперь,
Вели в пристройку стертые ступени
И старую обшарпанную дверь
Нам открывала странная хозяйка —
Огромная, на тоненьких ногах.
Кипели щи. На кухне сохла байка
Ее рубаш и кофточек, но, ах!..
Как хорошо картошкой печеной
Закусывать и верить, закусив
В компании бухой и обреченной,
Что это только краткий перерыв,
Что не оставит пьяное подполье
В твоей душе тоски и синяков,
Что впереди раскидистое поле
И горы ненаписанных стихов,
Что женщина, которую привел ты,
Минуя долгий темный коридор,
Войдет с тобою в комнату, где желтый
Огонь страстей ворвется в разговор.
И ты — студент, гуляка и бездомник —
Рукой рассеешь дыма пелену
Чтоб трепетные груди, как приемник
Настроить на безумную волну...

О, молодость!.. Давно совсем другие
Жильцы в пристройке каменной, но вот
Кривая тень внезапной ностальгии
Ползет за мной от Кировских ворот...

1991

ПРОГУЛКА

Во мне воспоминаний и утрат
Уже гораздо больше, чем надежд
И радостей,
А потому не буду

На будущее составлять прогнозы,
Но хочется воскликнуть невзначай:
"Как быстро мы состарились, приятель,
От Пушкина спускаясь по Тверскому!
И радости,
Которыми, казалось,
Пропитан воздух,
Поглотил туман.
И женщины,
Которых мы любили,
Уже старухи..."

Дует ровный ветер,
Кленовый лист влетает в подворотню,
И я приподнимаю воротник.
На мне чернильно-синие штаны
И скромное пальто из ГДР —
Страны, не существующей на свете...

1990

ПАМЯТИ Н.П.ЧУМАКОВОЙ

Эта ночь не имеет конца;
Ты засмейся в стекло и аукни
Своему отраженью лица
И неясному контуру кухни.
Эта ночь лишена перспектив
Обернуться румяной зарею.
Я уйду, ничего не простив,
И таланта в сугроб не зарюю.
И туда поспешу наугад,
Где деревья худы, как подростки,
Где во тьме шелестит снегопад
И пространство в накрапах известики,
Где вечернего света пузырь
Темнотою окраин распорот,
И открывшийся разом пустырь
Объясняет, что кончился город,
Что пора прикусить удила
В этом поле и зябком, и жутком,
Где на мусорной свалке зола
Между нами легла промежутком,
За которым земной небосвод

Растворяется в призрачной бездне
И души одинокий исход
Обрывает и мысли, и песни.
И в тебе поселяется он —
Твой последний посредник в юдоли...
Что ему суета похорон
И сквозное январское поле!..
Он... снежинкой уйдет в пустоту,
Не заботясь о брошенном теле,
И заменят портрет в паспорту
На картинку "Грачи прилетели".
Он... вернется в обличье ином,
Что ему погребальная яма
И забрызганный красным вином
Рубаи из Омара Хайяма?!
Он... влетевший в московский подъезд,
Невесомый почти и незримый
Старожил неизведанных мест,
Для которых величие Рима
Было б скопищем жалких камней
В мишуре самодельной рекламы,
И меня посетит, и ко мне
Долетит извещение от мамы,
Что не только она, но и я,
Забывая ненужное знание,
Обрету в темноте бытия,
Как бессмертье, другое сознание...

1987 — 1993

* * *

Кладбища, оснащенные гранитом .
И тишиной, которая густа,
Ни русским, ни армянским, ни ивритом
Уже не осквернят свои уста.
Здесь люди спят, что некогда устали
Любить, плодить, стрелять, и навсегда
Их тени призвала к себе страда
В страну надежды и большой печали,
Где не запоминается вода...
А кто куда причалил и когда
Не скажет сразу грубый команданте.

Вот турбюро Virgiliya, а Данте
Сонетами торгует у пруда...
Не избежать полезного труда
Ни гению, ни птице, ни сатрапу.
Чудовищу я пожимаю лапу
И понимаю: больше никогда
Не насладиться, не опохмелиться,
Не распрощаться — ты попал в загон.
И нечем человеку расплатиться
За эту плоть, за молодость, за кон...

1993

* * *

Больная смерть выходит на дорогу,
Тяжелый воздух лапами когтя.
Мы прожили свое, и слава Богу,
Но каково тебе, рожденное дитя?..

Но каково нечаянно зеленым
Побегам вдоль вокзалов и дорог?..
Давай подышим воздухом казенным,
Поскольку платим за него налог!

Чего стесняться, мы же не в сорочке
Явились в мир кирзового труда,
Где очень поздно набухали почки
И рано подступали холода.

Где долго принимали за святыни
Усатый бюст и бронзовый парад,
Где молодость, как пленку, засветили
И поломали фотоаппарат.

Такие времена...
Но мы пока что дышим,
И пусть в ночи поют не соловьи,
Ты слышишь: кошки пронесли по крышам
Сухое электричество любви?..

1993

От мировой до мировой,
Ломая судьбы и широты,
Несло героев — головой
Вперед — на бункеры и дзоты.

И вот совсем немного лет
Осталось до скончания века,
В котором был один сюжет:
Самоубийство Человека.

Его могил, его руин,
Смертей от пули и от петли
Ни поп, ни пастор, ни раввин
В заупокойной не отпели.

И если образ корабля
Уместен в строчке бесполезной,
То век — корабль, но без руля
И без царя в башке железной.

В кровавой пене пряча киль,
Эсминцем уходя на Запад,
Оставит он на много миль
В пустом пространстве трупный запах.

Но я, смотря ему вослед,
Пойму, как велика утрата,
И дорог страшный силуэт
Стервятника
в дыму заката!..

1990

ЛАСТОЧКА-КАСАТОЧКА

Из цикла "Рязанка"¹

1. У НАС ЛЕЖИТ НА СКЛАДЕ БОМБА

Нас было четверо в той ранней рабочей электричке.

Костя и Васька садились в Люберцах, а Лемарэн подсаживался в Удельной.

Костя был среди нас старший, и к нашему приходу в "ящик" имел уже три года стажа. Сирота, детдомовец, он снимал в Некрасовке, что рядом с Люберцами, койку у дальних каких-то родственников. Характер у Кости смирный, он спокоен, широколиц, немного увальнист и потому ходит вразвалочку — но так ходят на аэродроме все технари. Любит напевать из оперы: "Три карты! Три карты! Три кар-ты!" Незло подшучивает надо мной, самым младшим из нашей компании, — особенно когда выпьет. А выпить он любит. Да и кто на аэродроме на пьет! Спирт, но чаще всякая там гидравлика.

Потом он первый среди нас женится. На милой тихой Тоне, похожей на него характером, тоже сироте и тоже рыжеватой.

Они долго будут бедствовать с жильем, пока Костя не получит крошечную комнатку в коммуналке на станции "Фабричная" — это почти Раменское. У них появятся две маленькие дочки, поэтому Тоня уйдет с работы, и

**Анатолий
Приставкин**

— родился в 1931 г. в г. Люберцы Московской области. Окончил Литературный институт. Автор многих книг прозы, получивших широкую известность.

¹ Журнальный вариант.

Косте придется вкалывать за двоих...

Васька тоже живет в Некрасовке, — у него и мать, и отчим.

Когда-то, в войну, тетя Нюра, Васькина мать, была мобилизована и служила в тыловых частях, охраняла в Люберцах склады, а старшина дядя Петя был ее непосредственный начальник. Потом они поженились, это отчим Васьки, — у них в Некрасовке восемнадцатиметровая комната в домике на четыре семьи, огород и даже корова. Ну, а с коровой, ясное дело, Васька не голодает. Может потому он по сравнению с нами такой рослый и румяный. В свободное время он играет за свою команду в хоккей с мячом (другого хоккея тогда мы не знали), а еще дудит в местном клубе в духовом оркестре; во время всяких торжеств — гимн Советского Союза, во время похорон — марш Шопена. Труба у него огромная, а кнопки всего три, из которых Васька извлекает одну басовую ноту: пум, пум, пум — ну почти как "смерть Изольды" в фильме "Волга-Волга". Но за это ему платят четверть нашей зарплаты в "ящике"!...

На работе мы с Васькой сидим в разных комнатах, я — у инженера Гаврилова (он меня обязан учить), а Васька — у инженера Трушина. Но учат нас на первых порах одинаково — драчевый напильник в руки, и делай из круглой дюралевой болванки плоскую, а затем снова круглую... И снова плоскую... И так без конца.

Мы понимаем, что всем не до нас, потому что и старшие, техники и инженеры, тоже, в общем, не надрываются. Один, воткнув в глаза стеклышко, потихоньку чинит в уголке чужие часы, подрабатывает, другой в приемниках копается или себе, для дома, какую-нибудь схемку паяет, а то БАС-80 (огромная такая батарея) щепит на мелкие батарейки, по три патрона, чтобы приспособить для карманного фонарика.

Когда самолеты падают прямо на аэродроме, нас посылают раздраконивать: отвинчивать на запчасти всякие приборчики, лампы или гаечки и винты, выдирать из нутра цветные жгуты проводов. Мы это с особым удовольствием делаем. Ломать не строить, душа не болит.

Лемарэна мы, понятно, зовем просто Лемка, он, как и Костя, обслуживает большие машины. Но Костя уже механик, а Лемка ученик, его забота — подтащить к

машине стремянку или тележку с кислородом, подать гаечный ключ, отвернуть, завернуть, если доверят, какой-нибудь лючок. Но мы-то с Васькой все-таки чаще сидим в тепле, а Лемка трудится в "полевых" условиях, и руки у него после работы, да и лицо, черны от масла и мороза.

Он не жалуется, но на лекциях частенько спит. А когда я впервые попадаю к нему домой, его мама, Роза Израильевна, маленькая, миловидная, выросшая в одиночку на свою учительскую зарплату двоих сыновей, рассказывает мне, что Лемзик, так она его зовет, сам выбрал себе суровую специальность, ибо не захотел никуда устраиваться по блату. Странное имя его Ле-марэн означает: Ленин-Маркс-Энгельс, чудовищное изобретение тридцатых годов. Лемкины родители были неизлечимые марксисты, однако это не спасло его отца, посольского работника, он погиб в лагерях.

Об этом я узнал позже, а когда мы познакомились с Лемкой, как и с другими ребятами, в отделе кадров, он написал в своей биографии, что отец у него умер от инфаркта.

Отдел кадров был невелик и находился рядом с проходной. Ленивый сонный кадровик, молодой, но уже плешивый, вручил нам по кипе бумаг и велел тщательно заполнить. Вопросов в анкете было до полусотни, на десяти страницах, некоторые ставили нас в тупик, вызывали недоумение или улыбку. Например: "Участвовали ли вы в Гражданской войне, были ли на службе в Белой армии или в войсках интервентов?" О каких войсках интервентов может идти речь, если тебе всего четырнадцать лет?..

Но анкетами все-таки пришлось заняться всерьез, извлекая из наших родителей сведения, которые мы не могли знать: сколько у отца братьев и сестер, чем они занимаются, кто на ком женат, кто воевал, а кто нет, кто (не дай Бог) побывал в плену или оккупации. У нас как раз бабка была в оккупации, она и померла, когда сожгли деревню и она отсиживалась в лесу в наскоро вырытом окопчике. Ее просто залило водой.

Я записывал и бабуку, и деда, и отцовых братьев, и их детей, — оказалось, что один мой двоюродный брат даже олимпийский чемпион по конькам.

Зато мой дядя Викентий был раскулачен, он, как говорят, был примак, то есть от бедности "вышел замуж" за дочку имущего крестьянина на соседнем хуторе, а когда лошадь отобрали, сбежал в Смоленск и проработал тридцать лет чистильщиком паровозных котлов.

Но у дяди Викентия, как у примака, была фамилия жены — Бурмистров, и он в мою анкету не попал.

А вот у Лемарэна несколько раз переспросили национальность и слово "еврей" подчеркнули карандашом. В Васькиной анкете вызвал сомнение прежний отец, которого он не помнил, вроде бы он был под следствием или судом.

Через несколько лет, когда я попал под сокращение, мне даже и в голову не пришло, что виновата тут моя оккупированная бабка, которую я едва помнил.

Недели три, не меньше, день за днем мы наведывались к кадровику, чтобы увидеть его непроницаемый стеклянный взгляд и получить один и тот же ответ: "Ваши документы еще не пришли". Я и до сих пор не знаю, что они так долго делали там с нашими анкетами.

А потом нам дали "допуск". Но — не всем...

О, Господи, вступая на порог этого мира, мы и не догадывались, как давно мы у них на учете! С самого рождения мы были вписаны в анкеты отца или матери по месту работы, также как в наши анкеты будут вписаны, как только появятся, наши дети. А потом дети детей...

Мы встречаемся на краю Люберецкой платформы, в утренних сумерках угадывая друг друга по брезентовым сумкам на плече. Руки покраснели, и носы покраснели от первого с ночи морозца.

Приходит электричка, но она, как обычно, забита до краешка, темная толпа с боя берет тамбур, повисает гроздьями в дверях и между вагонов. Не вошедшие лезут на крышу по железной приваренной лесенке, лезем и мы.

Я помню эти наши первые поездки. Со свистом, разрезая воздух, летит сквозь утро наш поезд, тренькают натянутые провода, высекая с легким треском искры. Ветер пробирает нас насквозь, и мы сидим обнявшись — так теплей! И глядим, аж глаза слезятся от боли, как

наискосок за холодным полем, тронутым первой изморозью, за мелькающими деревьями и крышами поднимается из-за края земли огромное солнце, налитое тяжелой медью. Оно красит в буроватый странный цвет и последнюю уходящую зелень, и мелькающие внизу платформы, и крышу вагона с торчащими грибами вентиляторов, и нас на ней. Мы окрылены этим ранним полетом и своим собственным необычным состоянием. Мы не какая-нибудь шпана, мы не блатяги, не нищие! Мы люди трудящиеся, люди с будущим, мы учимся на техников-механиков по летным испытаниям самолетов, мы вкалываем на аэродроме, мы получаем зарплату. Мы кому-то нужны, кем-то зафиксированы в бумагах, и нам даны допуски на работу в секретный институт. А главное, что всего превыше, — мы нужны друг другу. И это могло случиться только в нашем, открытом всему миру возрасте, — вчера познакомились, а сегодня едем обнявшись, и приникаем друг к другу, как самая близкая родня, и знаем, и верим, что мы уже на всю жизнь вместе, вечные друзья. Никогда мы друг с другом не расстанемся, ни-ког-да, до самой смерти!...

Наша лаборатория четко делилась на две части: на "высших" — инженеров, начальников групп, отделов и лабораторий, они все были со второго этажа, — и "низших", которые вкалывали в рабочих комнатах на первом этаже.

Мы почти не смешивались, начальство и работяги, даже на одних вечерах, и мы хорошо знали, что место наше, прочно для нас утвержденное, — это наша переделанная из какой-то котельной комната, в которой нас сидело человек пятнадцать-двадцать.

У нас, низших, не было желания прорваться на второй этаж, наверх, хотя "высшие" пользовались особыми привилегиями и получали много больше, да и талоны на мясные обеды при карточной системе давали только им. Зато у нас было веселей, и не мы к ним, а они к нам ходили, чтобы развеяться, побалагурить и отдохнуть душой после своего мертвого благополучного царства.

У нас внизу всегда что-нибудь происходило. То шахматшки, какой-нибудь блиц-турнир, то чтение нецен-

зурных стихов, то просто спор о мотоциклах, машинах...

А в тот вечер мы пили спирт и решили поразвлекаться с магнитофоном. Это был, кажется, первый увиденный мной магнитофон — размером с огромный чемодан, он стоял под запором в шкафу, и к нему допускались избранные. Когда на аэродроме случались аварии и нужно было проверить запись из "черного ящика", ленту приносили сюда, комнату запирали и "проводили экспертизу", то есть по несколько раз прослушивали все, что говорилось там, в воздухе, во время аварии.

Разные это были голоса — и уверенные, и не очень, и панические, и проклинающие, и часто с матом. Чего не скажешь вслух, прощаясь с жизнью, тут уж, ясно, слов не выбирают. А однажды, когда во время испытаний у одного из самолетов загорелся мотор, летчик только и успел крикнуть: "Ребята, кранты! Эти суки нас угробили!" Кого он имел в виду? Начальство, поторопившееся поскорей сдать машину и получить свои награды и премии?...

Впрочем, в тот вечер мы не слушали других, мы слушали себя, развлекаясь тем, что кричали в микрофон ругательства, изобретая на ходу непотребные словечки позаковыристей, чтобы оборжаться. А потом кому-то пришло в голову спеть, и тогда мы заорали дружно песню про бомбу.

У нас лежит на складе бомба,

Об этом знает целый мир,

И охраняют склад солдаты,

А вместе с ними командир!

Слова пелись на известный цыганский мотив, кажется, "Мой табор". Прежде пели под него другие смешные слова — про то, как "течет в колхозе речка, над речкой длинный мост, а на мосту стоит овечка, а у овечки длинный хвост..." Но наша песня была посодержательней, и уж мы-то знали, о чем поем.

Придет пора — взорвется бомба,

И уничтожит целый мир,

И расщепятся все солдаты

А вместе с ними командир!

Три куплета, три действия: в первом акте — то, что у нас сейчас, во втором — то, что с нами будет, а в третьем — конечный результат всего:

И вместо нашей-то планеты,

Зажжется новая звезда,

И не узнают марсиане,

Что с нами было и когда...

Что греха таить — ведь и мы, "нижние", участвовали в создании этой бомбы, — ну пусть не прямо ее, так какого-нибудь электронного для нее оборудования, какая разница!..

Получали мы на первых порах 220 рублей — двадцать два рубля на недавние деньги. Но попробовали бы вы сегодня устроить вечер на рубль шестьдесят с яблоками и легким вином!

Потом я стал получать пятьсот пятьдесят, это было невероятное счастье. А когда мне повысили до семисот, я ног под собой не чуял, это был предел моих мечтаний, хотя налоги и обязательный заем на 125% съедали рублей четырнадцать, да плюс взносы, да всяческие побо-ры.

Но остальное — мое, и это давало возможность жить.

И никто из нас никогда не прикидывал, не задумывался о нашей работе в каком-то ином плане.

Мы никак не ощущали своей бедности, потому что знали, что у нас все впереди.

А бомба — так, фантазия, глупость; она есть, но ее и нет, потому что никакой войны не будет.

"Мы за мир, и песню эту понесем, друзья, по свету... не бывать войны пожару, не пылать земному шару, наша воля крепче, чем гранит..."

Мы и это тоже могли петь, и "бомбу" могли, и при-том вовсе не были циниками...

В тот вечер мы дули спирт и хохотали, шалея от выпитого, — голова кружилась, все казалось таким замечательным! А потом мы шли домой, разговаривая и смеясь на всю улицу, было поздно. И один из наших старших технарей, Борис Тахтагаров, предложил мне переночевать у него.

Жил Борис между Быковым и Удельной. А ехали мы на последней электричке, отличной от всех других поездов — и дневных, и вечерних, и даже предпоследних.

Потому что предпоследние предполагают после себя что-то еще и оттого чаще бывают пустыми, полупустыми.

Последняя же пустой не бывает. Она подчищает всех, кто остался, после нее уже ничего до утра нет.

Одна из моих любимых песенок юности — песня Булата Окуджавы про синий троллейбус, который "последний, случайный". Но после последнего троллейбуса мог быть и еще один, тоже последний, ибо они шли без расписания, — потому он и назван "случайным". А последняя электричка вовсе не случайна, она заранее известна, желанна, ожидаема, и в ее приход веришь, даже если стынешь на платформе час и больше: другие поезда — как когда, могут и отмениться, а эта — будет непременно.

Я не помню случая, чтобы объявленная расписанием последняя электричка не пришла.

Бывало, конечно, и опаздывал, не без этого, и тогда приходилось стыть на платформе до первой, утренней электрички, — пауза между ними была обычно часа три.

В летнюю пору проболтаться на пустой темной платформе в соседстве с другими такими же опоздавшими еще не беда. Но зимой, когда ветрами продувается все насквозь и даже заледенелые белые доски платформы потрескивают от мороза и колючим холодом веет от далеких и ненужных звезд, намаешься, напляшешься, пока дождешься поезда, душу выдует, вымотает, и трижды проклянешь тех, кто тебя удерживал до последней роковой минуты! Из-за кого ты опоздал?... Мимо будут лететь скорые дальние поезда со свистом, с летучей метелицей, и уноситься, оставляя тебя в еще большем одиночестве, в космической пустоте, где млечным путем дробится на отдельные кусочки льда двухполосый стальной путь, уходящий в бесконечность, а в него, будто замороженное, намертво впаяно пятно светофора...

Последняя электричка спасала от всего этого: от холода, от пустоты внутри себя, от хулиганья, от одиночества...

Впрочем, хулиганья хватало всегда и везде. И на последней оно тоже бывало, но на последней всегда шумней, многолюдней, а значит все-таки безопасней, чем на иных вечерних.

Кто только ни собирался здесь!...

Наметанному взгляду завсегдатая всегда видно, "кто есть кто" и по какому поводу попал на эту, последнюю: кто со свидания (этих видать!), кто с пьянки (и этих видать!) и уже заездился, толком даже не соображает, куда едет, а кто к утренней смене в Москву, которая, как кровушку отсасывает из пригородов людей во все времена суток, и ей все мало, мало! А кто вообще едет лишь потому, что не может не ехать, потому что и живет прямо тут, в электричке...

В последней и на блядей нагладишься, на проституток разного пошиба. Их тоже сразу видно, они обычно в одиночку, без мужчин, одеты хоть и пестро и почти благополучно, но ведут себя слишком независимо — именно потому, что их сразу угадывают и начинают подсаживаться, липнуть и лапать тут же, в вагоне.

А они свое отработали, устали.

Среди них много потрепанных немолодых баб, и обычно они под хмельком. Эти не так привередливы, они легко соглашаются сойти на какой-нибудь остановке с незнакомым мужиком. Они на себя, на свою жизнь наплевали, им не страшно.

Электричка, особенно последняя, их последний дом. А в доме как в доме, и я сам не раз видывал, как их тут же, в тамбуре, ставили раком... Да что это в сравнении с тем, чего они натерпелись с молодости, с детства, когда пахали за бесплатно в колхозе, таскали рельсы на стройках, выкармливали худосочной грудью нервных, недоношенных ребятишек, исходили кровью на абортах и стояли, стояли, стояли в очередях...

Нищих в электричке тоже было много, но особенно много их было в войну и после войны. Они потоком шли через вагоны, заселяя собою пригородные поезда и дороги. А потём вдруг схлынули и почти сразу исчезли. Говорят, их уничтожили по личному приказу Сталина.

Я их многих помнил в лицо, как и их слезливые душещипательные рассказы, и если были копейки, давал, но чаще не мог подать и тогда отворачивался и делал вид, что читаю книжку — но страдал, даже сердце начинало ныть, и отчего-то просящие угадывали во мне мое страдание и долго, дольше обычного держали перед мной шапку, глядя на меня с укором.

Особенно же меня доставали поющие.

Среди пропитых, старческих, детских, еще не окрепших, пронзительных и неприятных, обычно под гармошку или аккордеон, возникали иногда такие чистые, серебристые, ангельские голоса, что сердце обрывалось: да откуда же такие ангелы берутся и почему они тут, среди нас, грязных, пьяных, темных людишек-работяг, если им место на небесах, среди самых чистых и самых счастливых?!...

Не только я, а весь вагон тогда впадал в какое-то полуобморочное состояние — стихали разговоры, и даже стук колес становился не таким резким...

А потом начинали сыпать и серебро, и рубли, даже червонцы!

Если бы не видел сам, не поверил бы, как щедро отдают люди деньги, когда их разбереженные души оттаивают на миг...

Ходил, помню, одно время со слепым стариком-музыкантом юноша, тоже слепой, его звали Ося. У него был такой пронзительный, такой беззащитный голос, что и сейчас, по памяти, лишь представлю — и начинается дрожь в груди.

Старик играл на аккордеоне, плохо играл, а Ося пел разные песни, в том числе Лещенковскую "Аникушу".

Там были такие слова: "Аникуша, Аникуша, очи черные твои, как угольки...", и я начинал плакать, едва заслышав песню, и когда они проходили с шапкой, я вываливал все, что у меня было, потому что это была моя песня, про мою несложившуюся любовь, про мою пропащую жизнь...

Не всегда поездка в последней электричке заканчивалась мирно, бывали и грабежи, когда входили с разных сторон несколько урков и приказывали: — "Не двигаться". И всех до нитки обирали...

Бывали и драки, поножовщина и пьяные стычки. И от всего от этого никуда было не деться, не уйти, потому что неизвестно еще, лучше ли выскочить из опасной электрички на чужой станции и оставаться на ней в одиночестве до утра. Нет! Нет! Мы держались за свою "последнюю" до последнего, и когда требовали бумажники, отдавали, — да и что там было, кроме просроченной сезонки и пропуска на работу?

А поезд шел да шел, будто сам по себе, без каких-то там машинистов (до них не добарабанишься, они знали,

чем это им грозит) и был похож на обломок чудом сохранившейся кометы, с ревом несущийся сквозь пространство и время, увлекая в неизвестность обломки разных судеб, а что там впереди — никто из нас не знал...

На последней электричке мы доехали с Борисом до Быкова — жил он, если смотреть по ходу поезда, идущего в Москву, на левой стороне, в каком-то многоквартирном бараке.

Открыла дверь нам его жена, молодая, но уже начавшая расплываться женщина в байковом домашнем халате. Тихонько, чтобы не разбудить пятилетнюю дочку, мы прошли на общую кухню и здесь опять выпили.

Борис только что вернулся из отпуска, из родной Башкирии, и привез какую-то особую самогонку, настоящую на меду.

Потом он рассказывал о себе, показывал фотографии, давние, фронтовые — оказалось, что воевал он в Польской армии, был радистом, имел награды.

На одной из карточек он был снят рядом с молоденькой веснушчатой девушкой, такой милой, с улыбочкой, что я невольно спросил: "А это кто?"

Борис виновато оглянулся, не слышит ли жена, и негромко произнес: "ППЖ". Я не понял, что это означает, и он так же тихо пояснил: "Походно-полевая жена. Мы с ней недолго жили".

Я опять посмотрел на эту девушку и вдруг попросил:
— Подари.

— Зачем? — удивился он.

— Не знаю. Нравится.

— Кто нравится? Девочка моя нравится? — и отдал, махнув рукой. — Бери! У тебя возраст такой, что ты еще можешь влюбляться в них по фотографиям! А мне — так живую и помясистей сюда подавай!...

Тут вошла жена Бориса, принесла шипящую на сковороде яичницу, и Борис хлопнул ее по задку: — Какая она у меня? Хороша ведь? А? Хо-ро-ша!

И жена, не ведая, о чем мы говорим, сонно улыбнулась нам и, присев, выпила вместе с нами.

Вот с тех пор и хранится у меня эта странная фотография, где среди поля стоит маленькая веснушчатая

девушка, а рядом, чуть сзади, полуобняв ее, смотрит весело в аппарат молодой солдатик Тахтагаров! У него блестящие черные глаза, а на груди блестят медали...

Помню, в ту ночь мы сидели долго, потребляя крепкую медовую водку и постепенно, от стопки к стопке, балдея.

Сперва разговоры крутились вокруг прошлого, потом мы перешли на лабораторию, и Борис стал грозиться и кричать, что он не даст меня в обиду, что я работающий техник, а насчет всяких там моралей, пусть эти засраные партийцы-комсомольцы свой хрен сосут! Вместо того, чтобы без конца болтать на собраниях, работали бы лучше! Как сачок, так обязательно какая-нибудь выскочка или гнида, и норовит общественной работой прикрыться! А как тащиться на аэродром, так их и не видно! И на фронте тоже по тылам отсиживались!...

Тут он стал рассказывать историю про инженера Жукова из первого комплекса, — как он создал парашют для высотных полетов и выдвинули его на Сталинскую премию. И как к нему добавился начальник института, потом его помощники, начальник комплекса, лаборатории, так что в списке поданных на премию он оказался последним. А когда список наверху стали сокращать, последнего и сократили! И вышло, что премию схватили те, кто о парашюте и слыхом не слыхивал и в глаза ни разу не видел... А Жуков-то возьми и напиши туда — наверх. Пошли склоки, да все против него, и такой он и сякой, довели до того, что вышел он дома на балкон, а жил он на пятом этаже, да и сиганул вниз. Изобрел, называется, парашют... И вот тут Борис повторил вдруг слова, те самые, что крикнул летчик в момент катастрофы на горящем самолете:

— Эти суки нас угробили...

Я был пьян, но все понимал и спросил:

— А кто? Эти ... Ну... Кто угробил?

Борис посмотрел на меня блестящими глазами, оглянулся почему-то на дверь, хотя сидели мы у него дома, и ясно было, что некому нас тут слышать. Но вот оглянулся, привычка, выработанная годами, свирепым шепотом произнес:

— Все! Парень! Все!

— Ты хочешь сказать... Сергей Осипович?

— Выше!

— Турецкий?...

Он захохотал, как псих, отвалившись от стола и прихлопывая ладонью по коленке, что означало высшую степень восторга. Но, отсмеявшись, ничего не стал объяснять, а молча принялся закусывать, понукая и меня:

— Ты ешь, ешь.. И забудь. Все забудь. Это просто треп, а тебе еще жить надо. Это мы конченные люди... Понял? Это нас они угробили, а тебя лишь пробуют на зуб, и не дай тебе бог... — И залпом снова выпил и выматерился.

Тут опять пришла жена и сказала, что постели нам готовы, да и мы уже с трудом лыко вязали. Но Борис все еще продолжал материться, пока нас не развели: меня поместили на диване, его жена увела, раздела и уложила в постель.

А утром мы ехали на работу, и он молчал, уставясь в пространство и на какие-то мои вопросы лишь мотал головой: "Тяжело. Перенедопили, что называется Сейчас бы пивка..."

В "Отдыхе", сойдя, мы выпили пивка, а Борис еще и сто пятьдесят принял и оттаял, и на работе уже ходил веселым, энергичным, как всегда...

2. СЕЛИГЕРСКИЕ МИРАЖИ

Если в Ильинке, как ее называют, пройти по ходу поезда вперед, свернуть направо и отшагать вдоль полотна железной дороги метров двести, покажется длинный забор, а за ним можно разглядеть лесопарк и какие-то строения.

Что там сейчас, не знаю, а прежде находился дом отдыха работников коммунального хозяйства, и работал у них массовиком мой дружок Володька Магерин.

Его имя, думаю, и сейчас еще помнят в Жуковском. Человек он был необычайных способностей. То, что другим людям экономная природа отпускает изредка и в розницу, Володьке она отсыпала полной пригоршней, от души: острый ум, талант музыканта, танцора, художника и даже поэта. И все это при необыкновенно выразительной внешности: он был похож на артиста немого кино Мозжухина.

Сейчас-то я понимаю, что это вовсе не везение — иметь такой букетик. Получив его задарма, Володька ни на чем не смог сосредоточиться — хватался за разное и ничего не доводил до конца. Как, скажем, не довел набросанный у меня в доме мой портрет на куске картона. Начал по вдохновению и не завершил.

— После, — сказал, — успею. В другой раз...

Не успел. Не знал, наверное, что не бывает другого раза.

С детства Володька сам прошибался в жизнь. Закончил ремеслуху с укладом лепщика и работал в художественной артели, расписывавшей тогда новое здание Курского вокзала.

Увлечся хореографией, выступал на сцене, и его заметили, пригласили в ансамбль Игоря Моисеева. Володька пробыл в стажерах ансамбля недолго, сбежал. Играл на гитаре, на баяне, на балалайке, других инструментах, сочинял песенки, стихи, выступал на сцене.

И вот еще — умел весело жить. Я думаю, это и был главный его талант — умение общаться, и пользовались им окружающие даже больше, чем сам Володька. Ибо когда ему удавалось остаться одному, он сосредотачивался на творчестве, а другие без него не могли. Они шли к Володьке с бутылкой, тащили его в компанию, и не было этому празднику конца.

В какие-то моменты, после всяческих попоек, раздражавших нас, его друзей, мы говорили друг другу: "Надо Володьку вытаскивать и спасать. Надо. Володьку. Спасать. Надо..." И тоже шли к нему.

Володька встречал наше появление с радостным изумлением, потому что и это было продолжением его праздника. Он сажал за стол, угощал, если находилось чем угостить; все на его столе было вперемежку: краски, непроявленные пленки, куски огурца и стаканы с недопитым вином.

Тут же всегда торчал пузатый будильник. Володькин будильник всегда показывал время вперед на час, а то и на два. Это Володьку не смущало. Он жил не по часам. Он жил по наитию, стихийно. Хотя любил приговаривать о часах: "То я их подвожу, то они меня подводят..."

Среди застолья, приходя в себя и озираясь с удивленной кроткой улыбкой, он произносил:

— До чего же я, ребята, сегодня в л ю б л е т ы й !.

Был случай, редчайший, единственный даже, когда друзья перетащили Володьку в наш авиационный институт. Его оформили чертежником и дали комнату в общежитии. Стал он жить, как жили все мы, не хуже нас. С полгода потаскался так на работу и с работы, мучаясь от упорядоченной, тихой жизни. И сбежал в свой дом отдыха, где работал массовиком, где буйно и беспокойно, и все меняется, и постоянно что-то надо оформить, написать, составить, сочинить или провести экскурсию, организовать концерт или просто посидеть вечером, подурочить публику своими байками да игрой на гитаре.

Однажды Володька повел меня к своему дружку художнику. Это произошло здесь, в Ильинском. В мастерской в полуподвальном помещении среди всякой рухляди, икон, окладов, покрытых зеленью кувшинов во всю ширину стен стояли портреты наших бывших вождей. Рядами выстроились в затылок десятки Молотовых, Кагановичей, Микоянов, Берий и даже виднелись Щербаковы и Андреевы. Целый угол занимал в сотнях копий и товарищ Сталин, а из-за его спины выглядывал далеко не робкий Вышинский.

Я прошелся тогда перед их сумрачными, чуть деревянными (это предписывалось канонами), но не лишеными грозной величественности ликами и, помню, почувствовал себя растерянным и даже подавленным. Мне к тому времени казалось, что этих-то уже нет и не может быть. Кому нужно старье, когда новые рвут власть друг у друга!

Володька уловил мое настроение и тут же пояснил — хозяин в это время бегал за водкой, — что его коллега-художник — редкий работяга, производство портретов поставил на промышленную основу и оттого зверски зарабатывает: еще бы, любому учреждению он мог когда угодно поставить любое количество Сталиных, Берий и всех прочих.

Но вот, как с небес, грянули громы и молнии, и наш друг оказался с солидным заделом, который теперь не пользуется спросом.

— Так зачем хранить-то? — спросил я, недоумевая.

Тут вошел бородатый, кудлатый, смахивающий на кого-то знакомого, виденного, кажется, где-то на театральной сцене, хозяин. Вопрос он мой услышал. Подставляя — обратной стороной — Микояна вместо стола и нарезая на нем хлеб и огурцы, он произнес:

— А вдруг!

И воспроизвел губами сочный неприличный звук...

— Что вдруг?

Он оторвался от закуски и посмотрел на меня.

— Я говорю: вдруг да понадобятся?

— Кому? Зачем?

Я не играл, я был искренен в своих вопросах. Володька от нечего делать пересчитывал вождей на шути.

— Глуп же ты, браток, — незло сказал хозяин. — Мало жил, это ладно. Но мало думал, что хуже. А я вот клепаю их всю мою трудовую жизнь. А лет мне, может, тысяча, а может, и поболее. Так-то. Я знаю, как в одночасье на стенах дворцов или как их... ныне.. Домов культуры — меняют одних на других... В древнем Риме с памятниками и вовсе не церемонились: Нерон, например, просто у всех туловищ отбил головы и приставил свои... С портретами проще, в одну минуту можно снять и новый повесить... Так я до этого золотого времечка их и подержу. Они, может, в жизни прожорливые, а тут они есть не просят! Зато кормят на совесть!

Тут он разлил водку по стаканам и предложил выпить за весь этот пан... — споткнулся на слове.

— Паноптикум? — вставился Володька.

— Пантеон, дурак! Они весь советский народ, может, за свое правление так не накормили, как они кормят меня с семьей, дай-то бог им здоровьица! И им, и другим, которых я изображу!

И мы выпили.

А художник бросился к ряду Молотовых, отвалил первого из них, поднес к его губам стаканчик и губы помазал.

— Вишь, — произнес радостно, прихихикивая, — хочет, хочет старикашка пожить-то! Да они все хотят! И этот, на котором пьем, — про Микояна, — через спину принохливается... Алкашичек родной... Кровушку

живую пили, оттого так и живучи! Но пусть не там, пусть у меня — тут — поживут!! Мне их вот как жалко! Кормильцы мои, родня! Я среди них мою жизнь тут прожил, как же мне их не любить, дружков моих сердечных! Вот посидим, посидим, и дождемся своего часа!

Я машинально взглянул на часы, нам-то пора было уходить.

— Подари мне этого чучмека, — попросил, уходя, Володька, указывая на Микояна. — Я из него тоже стол сделаю. С ним это... пьется лучше.

— Вот, — сказал, поворачиваясь ко мне, хозяин. — Уже нужен! А еще придет, наступит времечко, когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, а Сталина и Берию с базара понесет!

И захохотал, довольный.

Это случилось как раз накануне Всемирного фестиваля молодежи в Москве.

В тот год мы с Володькой уехали на Селигер.

Это сейчас не странно увидеть негров на улице и слышать незнакомую речь. А тогда-то все было нам в новинку, и группки иностранцев, и пестро одетые женщины, и концерты на площадях, и ночные карнавалы, и танцы... И уж, конечно, песни. Одна легко легла нам на душу, слова у нее были такие:

В Рио-де-Жанейро приехал на карнавал,

Забавнее столицы я в мире не видал!

В Рио-де-Жанейро, чего же там только нет;

Днем нет воды ни капли, а ночью света нет!

— Господи, все как у нас, — говорил Володька.

Запоминались и такие сцены: девчонок, которые попадались с неграми, вылавливали на улицах, выстригали им на голове волосы и отвозили за сотый километр.

Еще по инерции боролись и с зауженными брюками, и с джазовой музыкой, и с пресловутой чечеткой, так что Володька, выступая, неизменно называл свой танец "ритмическим". Иногда оговаривал, что им будет исполняться "пародия на западные танцы". Пародировать не возбранялось.

А по поводу нравов — еще и в шестидесятом году я посреди улицы Горького неосторожно положил руку на

плечо жены, и тут же подскочили ко мне блюстителю и попросили "соблюдать порядок".

Фестиваль принес нам иные, с точки зрения некоторых высоких лиц, — чужие нравы, чужие песни, чужие болезни... Чужое все! И уж как настрополяли нас, как предупреждали быть осторожными, не заводить ненужных знакомств, избегать случайных встреч, а уж если произойдет... То уж быть на страже и не забыть потом все это где надо рассказать!

Ну и, конечно, желательно было бы вообще на время фестиваля убраться из Москвы. Мы и убрались, вдруг всем нам дали с охотой отпуска в середине лета, в лучшие золотые месяцы.

Мы смотали палатки и уехали на Селигер. Кто же мог ведать, что доберется он, фестиваль, и сюда, и даже нас потеснит?... Однажды ночью нашу палатку, как и все другие, окружили осташковская милиция да дружинники, нам приказали собраться в десять минут и погрузиться на ожидавший у берега катер. В Новых Ельцах, оказывается, тоже планировалась часть молодежного фестиваля, некий праздник на воде, а мы, непредусмотренная молодежь, вовсе на этом празднике не были нужны.

Нас сгребли в два счета, погрузили на катер, как и сотню других ничего не соображающих со сна туристов, и вывезли куда-то за пределы плеса, на дальний неудобный берег. С нашими сковородками, с нашими удочками и мокрыми на веревке плавками. Разбирая сваленные впопыхах вещицы, а чего-то недосчитываясь, мы лишь ворчали, да и то негромко. И лишь один из нас — Володька — сказал, что он лично хочет на фестиваль, который будет на острове. Хочет видеть праздник на воде. Хочет, да и все тут. И ничего с собой не может поделать, ибо он сегодня в л ю б л е - т ы й в остров, в Новые Ельцы, и в этот самый фестиваль, от которого мы получили от ворот поворот!

Мы не стали удерживать Володьку, только предупредили, чтобы не заблудился, многие по ночам и в сумерках плутают из-за тех самых знаменитых селигерских миражей.

Миражи, это когда плывешь, а кругом темнеет, дыбится, встает из воды камыш, а ты думаешь почему-то, что это лес. И наоборот — видишь лес, но он смутно

проступает сквозь тускло светящийся, как зеркало в темной комнате, плес, и хочешь достать его веслом, и плывешь, плывешь, решив, что это камыш...

Володька собрал вещички в узел, взял лодку и уплыл в ночное озеро. Доставили его на катере уже на следующий день, лодка болталась на привязи за бортом, как послушная собачонка.

Среди молодежи, которая была специально привезена на остров для общения, Володька не выделялся. Во всяком случае, он, как и полагается в л ю б л е т о м у, познакомился с молодой шведкой, золотоволосой, со вздернутым носиком, и они правда влюбились друг в друга. Они провели вместе всю ночь, произнося лишь: "О, Володья... О, Мария"...

— И все? — спросили мы, когда Володька рассказал нам романтическую историю любви с иностранкой. Тогда это был запредельный вариант. Никто из нас не мог похвастать такой любовью.

— Кому-нибудь для отчета понадобятся и другие слова, — отвечал Володька. — А нам хватало и этих... Она мне говорила: "О, Володья!" А я ей говорил: "О, Мария!" И мы, представляешь, понимали друг друга! А потом меня все-таки выявили. Может, там вся нужная молодежь была на счету, а я оказался сверх счета... У меня спросили, от какой я тут организации, а я ответил, что я от дома отдыха "Ильинский". И тогда меня попросили пройти с ними. А шведка шла рядом и держала меня за руку. Ей объяснили через переводчика, что она вовсе не с тем нашла контакт, что я опасный, что и вообще у меня спешные дела, что я должен срочно уехать, что у меня дома жена, дети плачут, и масса всяческих обязанностей перед обществом, комсомолом, домоуправлением и ДОСААФом. Так, наверное, ей втолковывали — я понял это по ее глазам. Но она все равно шла рядом, держала меня за руку и никому из них не верила. И я это тоже видел по ее глазам. Она верила только мне, хотя я говорил по-русски, которого она не понимала. И когда меня посадили на катер, она стояла на пристани и плакала. И повторяла, повторяла:

— О, Володья... О, Володья... О, Володья...

И так пока меня не увезли. А я ей кричал с катера:

— Мария! — кричал — ты им не верь, я никакой не бандюга, я очень честный советский человек!...

Так он рассказывал, но был смирен, и мы думали, что он скоро успокоится. Но в следующую ночь Володька решил снова плыть на фестиваль. Тут уж мы его удержали. Мы-то понимали, чем это ему грозит. Разок простят, а на другой запрячут так, что сам себя не найдет! Такие тут миражи.

Мы отобрали у него вещи и дали стакан водки, чтобы размягчить ему сердце. А он пил и плакал.

Потом ходил вдоль берега и опять плакал и звал свою Марию.

А потом фестиваль закончился, и Володька забыл о своей Марии.

А потом он погиб от руки бандита...

Праздновали Новый Год у одного из наших общих приятелей по Селигеру. Часам к двум ночи вся компания и хозяин отправились в клуб выступать на концерте, а Володьку, к тому времени прилично выпившего, оставили дома одного.

Рассказывают, что к хозяину дома, где происходила пьянка, приехал в гости его дальний родственник, туповатый жлобина. Можно лишь догадываться, что там произошло. Вроде бы жлобина стал помогать у Володьки, с какой он стати тут появился и чего в чужом доме делает. Володька ему отвечал. А как мог отвечать Володька — с подначкой да с юмором — мы знали. Хотя Володькин юмор никогда никого не оскорблял, не было такого. Но жлобине Володькин ответ, видно, не понравился, и он ударил его бутылкой по голове...

3. ДЕВУШКА ИЗ ХИМОК

За пределами Рязанки и ее платформ возникают в моей памяти некие Химки, случившиеся в моей жизни. Я туда ездил дважды, но, убей меня Бог, до сих пор не знаю, с какого вокзала и по какой дороге, и как далеки они от столицы. То есть, теперь-то я знаю, что это пригород Москвы, а тогда они врезались в мою биографию странным углом, совсем не географическим, и в памяти стерлось все, кроме самого факта пребывания там...

Из этих самых Химок однажды приехали к нам в лабораторию одиннадцать девушек-шифровальщиц.

Но, помнится, еще раньше начальник лаборатории Сергей Осипович позвал меня наверх, в свой кабинет на втором этаже, и, как обычно, взглядывая исподлобья холодноватыми голубыми глазами, сказал, что мне поручается опекать группу командированных из Химок, помочь организовать их работу.

Тут же он поправился, что организовывать-то найдется кому, у них будет старший, а вот помочь им освоиться, привыкнуть тут, показать буфет и места отдыха — это моя задача. Сделать, словом, так, чтобы они чувствовали себя как дома.

Сергей Осипович был человек немногословный, даже суровый. Поговаривали, что за какие-то грехи его опустили довольно круто из высоких институтских сфер до уровня начальника лаборатории. И верно: в его манере приказывать, в его деловой хватке чувствовалось умение, свойственное людям, привыкшим руководить с размахом.

Делом же, которое поручили осуществлять Сергею Осиповичу, была многоканальная телеметрия — ее наша лаборатория мучила который уже год. На доводку первой телеметрической станции и поставили Сергея Осиповича, сделав его одновременно одним из заместителей начальника комплекса. И это, последнее, тоже доказывало, какое значение придавало начальство нашей теперешней работе.

С приходом Сергея Осиповича события и правда закрутились быстрее: пришли из института новые молодые инженеры, стали появляться всяческие представители других фирм, а в начальственных кабинетах, в коридорах, посверкивая золотом погон, замелькали военные.

Уже дошло и до полетов, сотни датчиков передавали на землю измерения, которые снимались с осциллографных трубок на киноплентку, и каждый кадр расшифровывался у нас в лаборатории.

Расшифровка в ту пору осуществлялась вручную по каким-то трафаретам, нарисованным в виде сетки на дощечках из целлофана, нам помогали в соседних лабораториях и тоже не успевали, а от этого задерживались следующие испытания, которые планировалось в середине лета перенести в Ахтубу — там находился наш полигон для пуска ракет.

Такая ситуация сложилась в лаборатории, когда Сергей Осипович вызвал меня по поводу девушек-шифровальщиц. Никогда прежде, да и позже, он меня к себе не вызывал. Не велика птица, лабораторный техник, он и с инженерами, и с руководителями групп обычно разговаривал накоротке: резко, быстро, почти на ходу, так он лишь один умел.

С легкой душой, перепрыгивая через три ступеньки, я спускался в нашу комнату, в ушах еще звучали последние наставления: "Там будут, в общем, девушки, так что покультурней!"

И хоть вовсе не было мне в новинку крутиться среди девчат, их было много и у нас в кружке, и в техникуме, и здесь в конструкторском отделе, но эти, что появились у нас, показались другими, не похожими на тех, которых я прежде знал: бойчее, раскованнее, шумней, какими, наверное, и бывают заводские девчата, привыкшие к самостоятельности. А среди них оказались и замужние.

В первый же день, помогая им передвигать столы, налаживать настольные лампы, я по их незлобным шуточкам в мой адрес почувствовал, каковы они на язычок, эти новые командированные; вот, говорили они, дал им Бог молоденького начальника, — и если уж ему положено за ними ухаживать, так чтобы он ухаживал и не сачковал, не отлынивал от своих прямых обязанностей, а то они станут жаловаться на невнимание. И еще что-нибудь в том же духе, под общий, разумеется, смех.

А кто-то уже пел: "Толя, Толя спит на воле, пойду Толю разбужу, все что мне наговорили, пойду Толе расскажу!"

Я краснел и оттого разговаривал с ними натянуто, скованно. Это ведь только в письмах к Лемарэну я прикидывался, подражая своим друзьям, этаким бой-парнем, — на самом деле мои отношения с девушками дальше каких-то незначительных ухаживаний до сих пор не доходили..

В группе шифровальщиц бойчей других была Аня Шибанова, которую все, это было видно, любили за веселость. Да и работала на расшифровке Аня быстро, быстрее многих других.

Была она темноволоса, темноброва, кареглаза. Глаза чуть раскосые, проникающие во внутрь, так мне тогда казалось.

Да, впрочем, и не в одной красоте тут было дело.

Я лишь взглянул впервые на Аню, и сразу мне стало ясно — так бывает в редкие моменты откровения, небесного, что ли, прозрения — что я ее знал, знал всю жизнь, и она единственная из всех, которая мне нужна и без которой дальше существовать невозможно.

Все прошлое отпало, как забытые игрушки — и Лиза из драмкружка, которая мне нравилась, и сокурсница Риточка Лукьянова, о которой я тайно вздыхал...

У меня сохранилась фотография Ани. Давно я не доставал, а теперь вот извлек из-под старых бумаг, посмотрел — и сердце екнуло.

В темненьком платице, молоденькая, — Господи, наверное и двадцати нет — лежит она среди одуванчиков, кругом нее сотни, тысячи этих белых шариков, четко видны обломанные стебельки и оголенные облетелые наконечники, а к ее рукаву прилип пух!...

Смотрит Аня своими сведенными в точку зрачками куда-то за пределы фотоаппарата и меня, а может, она уже никуда не смотрит, а лишь задумалась, потому что странно все у нас с ней произошло, и было ей, как потом выяснилось, о чем подумать...

Да, ничто, как оказалось, не изменилось в моих вкусах, и опять закружилась голова и под сердцем похолодело, когда вгляделся я в девушку моей юности, первую настоящую девушку, о которой я точно знал, что ее люблю...

Я вижу себя в те годы нескладным парнем, стеснительным, неумелым, но может, именно таким я ей и нравился? Теперь-то не у кого спросить. А если я сейчас так растревожился, то что же я должен был тогда-то переживать, если и глаз на нее не смел поднять!?

Но вот что поразительно — она сама меня заметила и сама подошла ко мне, заговорив, будто бы смешком, что вот, де, в перерыв неплохо бы погулять, а то им скучно сидеть в помещении, а парка около лаборатории нет, и они не знают и не ведают, куда же тут можно пойти...

Я провел их по нашему леску, тому, что начинался за лабораторией. Девчонки стали веселиться сами: бегали, играли в салочки, в мяч, а потом расселись под кустиком на поляне отдыхать. Тут я и прилег, чуть в стороне, чтобы им не мешать.

На Аню я старался не смотреть, хотя смотреть на нее хотелось все время.

И она угадала. И вдруг подсев ко мне и засмеявшись, спросила, отчего же я такой молчаливый, не влюбился ли ненароком в кого? И мягкой ладонью она прикоснулась к моей макушке и потрепала так, как треплют ребенка. Я вскочил и удрал в лес, слыша, как вслед громко хохочут девчонки.

А потом, вот странность, в перерыве Аня снова подошла и легко, будто мы знали друг друга тысячу лет, спросила:

— А не хочешь приехать к нам? В Химки? Мы бы тебя встретили... У нас хорошо...

Сердце мое забилося, я мог только кивнуть, даже слов не нашлось, чтобы что-то спросить. Но Аня тут же назвала электричку, часы, и, не поверив, что я запомню, написала на бумажке.

Повторю, что я не запомнил дорогу в Химки, потому что думал об Ане. И она меня встретила. Пришла она со своими подружками, с Клавой, скромненькой такой невзрачной блондиночкой, остренькое лисье личико и веснушки до ушей, и с Зоей, нескладной, большеротой, длинной, больше о ней сказать нечего.

Случилась эта поездка — до сих пор помню! — в воскресенье, десятого июня пятьдесят первого года. Значит, было мне тогда девятнадцать с половиной лет.

Летний, зеленый, солнечный день.

Запомнил я еще, что гуляли мы по парку, а потом у реки, где и сфотографировались на одуванчиковом поле.

Пили фруктовую воду, а может даже вино. Да, конечно, мы пили вино, и Клава сослалась на больные почки и пить не стала, и Аня пить не стала, хотя не объяснила, почему. Чокнулись мы с Зоей, а остальные лишь пригубили. А потом Анины подружки как-то сами собой слиняли, и мы остались вдвоем.

... Она смотрела мне в глаза, она гладила мои волосы, мои руки, и эти прикосновения вновь поднимали во мне то необъяснимое волнующее чувство близости, о

существовании которого я, оказывается, до сих пор и не подозревал, не догадывался. Я даже думаю, что в этот момент я считал ее как бы своей женой, веря, что мы будем теперь вместе, а все, что случилось, будет теперь соединять нас всю жизнь.

Ну, понятно, я и не собирался уезжать, но Аня убедил, что ехать мне надо, что дома будут беспокоиться, хотя я тут же запротестовал, почти закричал:

— Нет! Нет! У меня никого нет, кроме тебя!"

Она ладошкой прикрыла мои губы и, тихо смеясь и ласкаясь, объяснила, что ведь и она должна вернуться домой, а завтра, всего через восемь часов, мы снова встретимся, всю ночь она будет думать обо мне!

Всю ночь! Обо мне! Боже мой!

Она проводила меня на последний поезд и поцеловала уже в тот момент, когда я садился в электричку.

Я попытался прыгнуть, вернуться к ней, но она руками оттолкнула меня и ушла, я еще видел из открытых дверей, как она уходила, и закричал на всю вселенную:

— Аня! Анечка! А-н-е-ч-к-а!

Она не обернулась.

Но я знал, я помнил, что она моя, что она всю ночь будет думать обо мне, так же, как я о ней, и в мыслях мы все равно неразъединимы! Да мы и не разъединились никогда!

На следующее утро девушки приехали, и подружки Анины приехали, Клава и Зоя — все, кроме нее самой. Передали, что она заболела.

А потом я вторично, почти что без приглашения приехал в Химки, и меня встретила Клава, тихонькая, молчаливая, грустная.

— Мы с Зоей давно хотели Вам сказать... но не знали, как... О том, что Аня... что она замужем...

И так как я молчал, пришибленный ее словами и очевидной их неправдой, она вздохнула и добавила:

— Вы можете спросить у Зои... У других тоже... У нее муж — водитель троллейбуса, и она даже в положении... Она, помните, и вина не стала пить, потому что она в положении...

О, эти лучшие подружки! Я тогда еще не знал, что именно они всегда на страже морали!

Не прощаясь, я вскочил и побежал искать мою Аню, но только по пути вспомнил, что не знаю, где она живет.

Тогда я бросился в поле, на канал, где мы были вместе, чтобы удостовериться, что это правда, и существует еще место, где она лежала среди одуванчиков, где она гладила меня и шептала свои слова.

А потом случилась наша встреча.

Аня вышла на работу такой же веселой, легкой, внимательной. Но я уже продумал, я знал, что хочу сделать.

Я дождался перерыва, когда девушки ушли в буфет и попросил Аню остаться. Ни о чем не подозревая, она спокойно послушалась меня. А когда все вышли, я запер дверь и положил ключ в карман. Прodelав все это, потребовал сказать мне правду, только всю, всю!

Я и сейчас во всех деталях помню эту расшифровочную комнату и столик Ани, у окошка, она осталась там сидеть, а еще я помню, что я стоял у дверей, все время притрагиваясь к ключу в кармане, ощущая холодную тяжесть через ткань брюк, словно удостовераясь, что он на месте. Я угрожал, молил и падал перед Аней на колени... Вот тогда я узнал, что такое ползать у ног женщины!

Но она, женщина, была много опытней меня.

Наверное, она увлеклась: все-таки чистый, нецелованный мальчик, а потом опомнилась, дома муж, а скоро будет и ребенок, и уж тут не до шуток, какие там шутки, если дверь на запор!

Она молчала, сжавшись на диванчике, в углу, глядя на пол. Я услышал, как вдалеке, словно и не сюда, барабанят в дверь девчонки, были слышны их голоса и неожиданно громкие удары: кто-то пытался сломать дверь снаружи. Наконец, люди оказались в комнате, Аню в истерике увели, а мне что-то кричали, будто и угрожали, но я не мог ничего понять.

Шифровальщицы уехали в Ахтубу, где наша телеметрия уже испытывалась в ракетах, но Аня не поехала, наверное, она была и вправду беременна.

Еще до их отъезда я опять встретил ее на тропинке, когда возвращался из отдела найма и увольнения, в ту пору решался мой вопрос с работой и переводом после того, что произошло. Я первый, кажется, заметил ее на

тропинке, и некуда уже было свернуть. Ноги стали как ватные, они двигались как бы сами по себе навстречу моей беде.

Заметив меня, она замедлила шаг, но, подумав, решительно шагнула мне навстречу, глядя с надеждой мне в лицо. И так же, как при первом свидании, вдруг почувствовал я такую нежность, такое безумное желание пережить еще раз ее прикосновение, что закружилась голова и стало мне дурно...

Больше я не видел ни Аню, ни тех девушек. Да и работал я уже в другом подразделении, в отделе прибористов на аэродроме.

А Сергея Осиповича через много лет я повстречал неожиданно на турбазе "Селигер" в Новых Ельцах. Мы туда заехали с женой на одну ночь, когда путешествуя по озеру, поставили палаточку неподалеку от турбазы и пошли смотреть полуостров.

Вечерело, были теплые сиреневые сумерки, радиола играла на танцевальной веранде "Мишку", шлягер того времени. "Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня, самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня".

Неподалеку от перилец этой самой веранды мы и встретились с Сергеем Осиповичем. Был он под хмельком и оттого казался добрым, общительным.

Я представил ему свою жену, назвал ее по имени. Мы постояли, поговорили, уж не помню о чем. Жена стояла рядом, без интереса пережидая наш разговор. Сергей Осипович, весело взглянув на нее, вспомнил вдруг группу шифровальщиков из Химок — как они там?.. Он специально назвал их в мужском роде, понимая, очевидно, что я-то его пойму. А я, потупившись, лишь промычал, и больше он не возобновлял своих вопросов... Да и не вопрос это был, а напоминание об Ане, которую он засек острым глазом, а возможно, и заметил, нельзя было не заметить такую в лаборатории красавицу...

4. ЛАСТОЧКА-КАСАТОЧКА

Мое имя из-за Ани Шибановой начали трепать на всех отдельных, на всех лабораторных и прочих сборищах. Прежде других, хоть и других было немало,

выскакивала меня обличать наш комсорг Рита Терехина, рыхлая девица с одутловатым лицом, лупоглазая, глаза были у нее белого цвета.

Она долдонила одно и то же, что не может молчать о безнравственном поведении комсомольца, который пытался что-то сделать в рабочей комнате для расшифровки, заперевшись на ключ с командированной к нам девушкой, это ли не позор!

— А что он хотел с ней сделать? — спрашивали ее.

— Сами знаете что, — огрызалась Терехина.

— Ну, откуда же нам знать?

— А откуда я знаю?

— А откуда ты знаешь?

Тут Терехина спохватывалась, сообразив, что над ней, кажется, издеваются.

— Вам не смеяться, вам плакать надо, — восклицала она, глядя уже не на меня, а на говорящего и на остальных тоже. — Всем вам надо подумать о вашем моральном облике, чтобы не произошло того же... Сегодня смешочки да хихоньки, а завтра танцульки... А послезавтра прогулки со стилигами, так, между прочим, происходит моральное разложение! Враг наш не дремлет, между прочим. А кто на вечере самодеятельности пел развратную песню под названием "Африка"? А кто на воскреснике тайком водку распивал? А кто на политзанятии устроил шахматный турнир? А кто?..

Тут все потупились, потому что оказывалось, что все в чем-то виноваты перед Терехиной, а значит, перед Комсомолом и Партией... И не надо называть фамилий, все собрание было у нее в заложниках, попробуй, отмолчись! Тебе же и припомнят! И тут, хоть не сразу, но каждый или почти каждый стал меня обличать тоже, произнося заученным тоном слова о тлетворном воздухе Запада, которого я нахватался, решив подражать, как видно, некоторым отщепенцам и стилигам в Москве и теперь он, то есть я, решил, что все ему возможно... Даже разврат на работе!

По сценарию собрания, наверное, полагалось подняться мне и объяснить присутствующим, что же я там в закрытой комнате делал и почему... Ну и, понятно, чтобы я дал этому общественную оценку и покался в своем грехе. А они бы меня пожурили и, может быть, с

каким-то там выговором отпустили на свободу... То бишь, на работу.

Но я не стал ничего рассказывать и вины своей не признал. Ну, а уж тут меня скопом окричали, осудили и единогласно вынесли резолюцию в том духе, что воспитательная работа происходит на недостаточном уровне, и лаборатория ходатайствует перед комитетом комсомола, чтобы меня гнали из комсомола и из лаборатории в шею. Тем более, что мне желали добра, а я ничего не понял и веду себя со своими товарищами вызывающе.

Вскоре в отдел зашел от имени комитета комсомола один инженер, я его прежде видел на комплексном вечере, он читал стихи о Советском паспорте. Вызвал меня в коридор и стал расспрашивать обо всей этой истории, зачем, мол, закрылся, что хотел сделать, не пытался ли эту девушку насиловать, ну и прочее в том же роде. Расспрашивал он спокойно, без эмоций и вроде все понимал, что я говорил. Мне показалось, что он и сам не верит в свои вопросы, но обязан их задавать, поскольку ему поручили со мной переговорить.

В конце разговора он вдруг спросил:

— А что это за антисоветские стишки, которые ты там сочинял?

— Какие стихи? — не понял я.

— Ну эта... поэма... про Онегина, что ли...

Я пояснил, что поэма не моя, но я ее знаю наизусть так же, как ее знают, по-моему, все на аэродроме. Я прочитал начало:

Нет, я не Пушкин, я другой,
Еще неведомый избраннык,
По штатской должности механик,
Но с поэтической душой...

Тут молодой инженер засмеялся и попросил читать дальше. Особенно ему понравилась строфа про техника:

Мой техник самых честных правил,
Когда готовился в полет,
Он за семь дней меня заставил
Готовить, чистить самолет.
Его пример — другим наука,

Но боже мой, какая скука
Найти во что бы то ни стало
Дефект, чтоб стрелка не дрожала...

Ну и далее про ефрейтора Ларину Татьяну, про Онегина-моториста, который ей всех милей... А потом Онегин стреляется с Ленским у ангара из ракетниц: "Они достали пистолеты, и ярко-красные ракеты, пронзив заоблачную высь, со страшным шумом понеслись! Онегин знал, что по роману он в этой схватке победит и если в книгах нет обмана, то моторист его — убит..." Ну и так далее.

Инженер, кажется, поверил, что стихи не мои, но на всякий случай переписал их, а мне посоветовал сходить к Кокорину, все вроде бы зависело от него. Кокорин был наш главный комсомольский вождь.

— Поезжай к нему лучше домой, — сказал сочувственно инженер. — Он на работе все заседает и вряд ли что-нибудь толком поймет... А в общем, хоть наверху, но парень он свойский, когда-то здесь в лаборатории начинал, разговаривать не разучился... Но слабости есть, любит, чтобы его попросили, и не любит твердолобых, которые стоят на своем! Скажи, мол, черт попутал, виноват, ну и все прочее, — наставлял инженер.

День или два я не шел, колебался, пока не стали мне исподволь напоминать. То один, по пути на работу, то другой, в перерыве. И все одинаковыми словами — сходи, не упрямясь, хуже тебе от этого не будет, а раз человек советовал, он знал, чего делает. Может, они там ждут и удивляются, но потом уж разозлятся, пеняй на себя!

Вот это они говорили правду. И я понимал, что дальше мне жить не дадут, и никто уже не поможет.

Да я уж и так отчаялся, поняв, что меня загнали в угол. Я уже их всех, даже своих дружков начинал тихо ненавидеть, раз они не хотят и вправду понять, что не делал я там за дверью ничего дурного и не в чем мне каяться... Ну, отчего эти люди, отчего вся страна нас всех, таких, как я, ненавидит, будто мы не ее, а чьи-то чужие?! За что она хуже мачехи мордует? Что я ей плохого сделал в жизни?..

И я пошел.

Я нашел эту дачу в зарослях густой, еще не пожухлой зелени — я и не подозревал, что в Малаховке могут быть такие тихие уголки.

От веранды, в глубине сада, раздавалась музыка, и когда я постучался, на пороге встал сам Сергей Кокорин, наш комсомольский вождь: он был в белой сорочке, при галстукe, и, кажется, очень удивился, что я появился тут, в его тайном местечке.

Дача-то, как оказалось, была родительской.

За спиной Кокорина какие-то девочки танцевали, а на столе возвышались бутылки с вином.

Запомнилось еще, что заводили непрерывно одну и ту же пластинку с Утесовым, с только что вышедшим шлягером "Ласточкой-касаточкой".

Наш солдат бывал в огне и броде,

Шел в атаку, не робел,

Ранен был и стал в реке тонуть,

Тонул, тонул, не утонул!

Эх ты, ласточка-касатка сизокрылая...

Хозяин пригласил меня на террасу, поставил стул и попросил убрать на время Утесова. Он был немножко навеселе. Так близко своего идейного вожака я видел впервые.

— Ну? — спросил он, рассматривая меня в упор. — Что ты там натворил? Рассказывают прямо-таки жуткие вещи. А?

— Какие? Какие жуткие? — заверещали девушки и подсели за стол ко мне поближе. А какой-то парень подошел и встал у меня за спиной.

Кокорин оглянулся на своего дружка и, обращаясь к нему, сказал:

— Да вот, говорят, хотел изнасиловать там одну... Командированную... — И уже ко мне. — Это правда?

Я молчал.

— А может, изнасиловал-таки? — спросил он опять.

Я хотел встать и уйти, но он уловил мой жест и почти дружески удержал меня рукой, положив на плечо.

— Ладно... Поэт... Со всеми бывает... Да, а он поэт! Он сочиняет стихи!

— Прочтите! Прочтите! — в один голос попросили девушки, а приятель Кокорина за моей спиной произнес:

— А лично мне хотелось бы послушать, как следует обращаться с командированными девицами. Ну, пусть поделится опытом! А мы поучимся!

Девушки захохотали, а Кокорин снисходительно улыбнувшись произнес:

— Васька пьян! Ты на него не сердись! Хотя... Хотя, если ты даже поймел эту... Как ее... Подумаешь, беда какая! Ну, захотелось во время работы, правда?

Я и на это смолчал.

Сергей усмехнулся, подмигнул своему Василию и налил в стакан вина:

— Хочешь? Нет? А то выпей! За любовь! А?

Я помотал головой. Он выпил сам и оглянувшись на девушек добавил, что лично у него бывает так, что эротика ему мешает жить, и он готов понять комсомольца, у которого тоже горячая кровь. Ну, а какая еще кровь должна быть у наших комсомольцев? Рыбья, что ли!

Девушки захихикали, а одна пухленькая блондиночка встала, посмотрела на меня из-за спины Кокорина.

— А он ничего, — протянула она, — он милашка... Я бы его страстям пошла навстречу... Меня и в комнате запирать не надо! Я сама с таким закроюсь!

— Диана! Перестань! — оборвал ее Кокорин. — У тебя одни мысли о хрене, а парня с костями съели!

— Это — где?

— Да в лаборатории. Я на днях посмотрел: такое дело шьют, что за него надо гнать по этапу! А ему двадцати нет!

— Ох! — сказала Диана. — Свежачок ты мой! — И попыталась ко мне прикоснуться, но я уклонился.

— Ладно, — сказал Кокорин. — Посмотрим!

— Сережа, посмотри! Нельзя же гробить человека!

— Посмотрим, — повторил Кокорин. — А сейчас прочитай нам стихи. Про любовь! Диана, я посвящаю стихи тебе!

Я не понял, как это можно посвящать мои, не известные им стихи, этой Диане, но вдруг почувствовал, что я не могу, не буду им здесь читать ничего.

Кокорин понял это и долго, в упор, минуту или две смотрел мне в лицо. Я увидел, как голубые его глаза становятся белыми от злости.

Он медленно поднялся и будто бы лениво указал на дверь, но слова его прозвучали угрожающе:

— Бывай, парень! — сказал он. — У нас тут несговорчивых не любят! Да их нигде, кстати, не любят!

Уходя, я видел, как блондинка бросилась что-то хозяину выговаривать, но другая, ее подруга, уже включила на полную мощность Утесова. Сразу же забыв про меня, затопали, застучали ногами, подпевая залихватской песенке: "ох ты, ласточка моя, си-зо-кры-лая!"

Я вышел, аккуратно закрыл за собой дверь и не оглядываясь пошел по дорожке. И пока я шел среди кустов, и даже когда там, за забором, обреченно топал к Малаховской платформе, все меня мучила, вдогонку изводила навязчивая бойкая песенка.

Через год, когда я работал уже в приборном отделе летной части — так меня "наказали", — Сергея Кокорина накрыли на растрате членских взносов — какой-то умопомрачительной по тем временам суммы в десятки тысяч рублей. Судили и, кажется, дали срок.

Нам зачитали на собраниях детали этого суда, про пьянки, про разврат и прочее, но я, хоть и знал что-то, видел сам, а все-таки не верил до конца в это состряпанное на него дело. Не потому не верил, что его не могло быть, а просто не верил, да и все. Я уже знал, как делают, чтобы невинный вдруг становился кругом виноватым...

Круглые стационарные часы почему-то не ходили, а на платформе, хотя только начало темнеть, не было ни одного человека, чтобы спросить время. Казалось, никто никуда не едет, а расписание существует само по себе, ибо если нет времени, то все его цифры ничего не значат. Странное расписание. Странная платформа. Станные часы...

Я отправился бродить по незнакомым улицам, было тепло.

Я шел медленно, не затрудненный никакими обязанностями или желаниями. Мне хотелось только, чтобы какая-нибудь девушка отметила меня встречным взглядом. Но девушки не смотрели на меня, они обходили

меня не глядя. Они были заняты чем-то своим, как и остальные прохожие. Да и весь городок был занят собой, и эта ночь, и зелень, и окна, и магазины, и манекены в них — все было словно само по себе...

Но я не чувствовал жалости к своей забытой персоне. Я тоже как бы ушел в себя, вглядываясь в свои мысли и состояние и узнавая о себе всякое-разное, подчас даже любопытное.

Я узнал, что хожу, оказывается, вперевалочку, как ходит, говорят, теперь мой сын, а руки мои — в карманах. В одном кармане лежала коробочка валидола, и мои пальцы придерживали ее, то завинчивая, то отвинчивая крышечку.

Еще я узнал, что думаю о том, что мне никто не нужен. Разве только чтобы какая-нибудь девушка посмотрела на меня чуть дольше, чем на неодушевленный предмет. Ну, почему я не могу привлечь ее внимание — хотя бы очками, скажем, или своей походкой, или вот вагадочностью.

Но я знал, что никого не интересую сейчас, и все будет как вчера и позавчера, когда так же гулял после работы по улицам...

Я шел и шел, и только на секунду меня привлекло освещенное окно, за которым на стене, как я понял, скользнув равнодушным взглядом, висело много каких-то одинаково круглых предметов. И я, кажется, подумал, что стена похожа на сплошные иллюминаторы или приборный щиток какого-то корабля.

Я уже прошел несколько метров, опять погрузившись в странное состояние саморазглядывания, как вдруг узнал о себе, что я видел нечто странное. Особенное. Необычное. Непривычное, что ли. Может быть, даже я никогда и не видел еще такого и не увижу.

Тогда я остановился и стал думать, — не стоит ли вернуться? Но действительно ли я видел нечто чрезвычайное? Не плод ли это моего воображения или моей слепоты?

В общем я повернул назад, дошел до окна и устоял в него. И сразу же увидел ту же стену, те же круглые предметы. Но ничего сразу не понял от неожиданности.

На стене висели часы.

Но просто часы я бы сразу узнал, уж будьте спокойны. А эти часы, которые я сейчас видел, были не обыкновенные часы, а электрические. Ну, знаете, те самые, что висят на всех вокзалах, на платформах, у проходных на фабриках и на площади Пушкина в Москве. И вот скажите правду, — видывали ли вы, чтобы таких часов было сразу даже не десяток, а сто штук? — Десять рядов по десять часов в каждом ряду!

Я привстал на цыпочки, чтобы сосчитать их все.

Но самое поразительное было другое, и, поняв это, я замер от неожиданности. Все часы, которые я видел, показывали одинаковое время: двенадцать часов!

Вообще-то ничего уж такого особенного и необычного нет, когда часы показывают одинаковое время. Я тоже так мог бы подумать, уверяю вас. Но в том-то и дело, стоило увидеть эти десять одинаковых рядов на высокой стене, а в каждом ряду десять одинаковых часов и одинаковое на них время, как это сразу сбивало с толку, даже пугало. На первых часах, на вторых, на сороковых, на сотых... И все одинаково!

К тому же, кажется, часы и не ходили. Да и как они могли ходить, если к ним не шли никакие провода?..

Нет, комната никак не походила на обыкновенную часовую мастерскую, где обыкновенные часы на все манеры тикают, ходят, звучат, обозначая каждый раз свое время. Несуразно-разное.

"Несуразно-разное", повторил я про себя, но сейчас игра слов меня не увлекла, я продолжал глазеть на странную стену, на часы, замершие на ней, как солдаты в строю. А стрелки их были как острия штыков...

Смутное беспокойство брезжило во мне.

Я посмотрел в себя — о чем я думаю? Мысли мои были ни к черту.

Ну, посудите сами: ага, часы, сотня мертвых часов, — думал я. — Может, их кто-то специально собирает по городу и точным профессиональным движением останавливает время? Потом, мефистофельски усмехаясь, ставит в ряд свою ужасную коллекцию, глядя, как она, эта навсегда послушная гвардия, демонстрирует свое мертвое время? И, усмехнувшись еще раз и окинув довольным взглядом, отправляется в город за следующей жертвой, за живыми часами?..

Я вздрогнул. Мне показалось, что легкая тень скользнула сверху вниз по стене соседнего дома и будто прошла сквозь стекло над моей головой, пошевелив мои волосы ледяным ветром.

Но что не покажется, когда работает воображение, а кругом мрак и ночь? Все это чертовщина, мистика и глупость, — подумал я о своих страхах. Но понял, что испуг мой не прошел и вообще я никак не могу объяснить себе ясно, чего, собственно, я боюсь...

Я говорил себе: ты видишь, дружок, электромастерскую, где чинят электрочасы.

Ведь чинят же обыкновенные часы, отчего же не чинить электрические?

Им, этим часам, из одного узла, из одного центра задают сигналы, импульс, а они двигают свои стрелки, и тут все понятно.

Но вот обнаруживается, что одни двигают стрелки слишком быстро, другие слишком медленно, а третьи вообще не желают ходить. Конечно, это становится похожим на наш живой мир, который не желает быть одинаковым, — он не может быть таким, это было бы противоестественно. Но часы?..

Ну вот, мы и разобрались. Часы, которые не ходят или ходят не так, как им положено, несут сюда, чтобы внушить им точность.

Но я понял, что так я хочу думать. Но так не думаю. А вот какие мысли рождались на самом деле — наперекор мне самому. Здесь кто-то убивает время, — думал я. — Кто-то собирает часы и, убив в них душу, делает их одинаково мертвыми. А когда здесь соберут все, что есть вокруг и в городе, и повсюду, мир станет таким же, как эти часы и стрелки...

И я почувствовал, как это было бы страшно, если бы кому-то удалось придумать, как это сделать. Я похолодел, и ужас родился у меня в животе.

Но дрожа и пугаясь, я приподнялся на носках, чтобы увидеть все. И я увидел. Среди пустой, выхоленной будто нарочно комнаты, за маленькой конторкой сидел черный человек, согнутый в три погибели, как гусеница. Так что нельзя было понять, где у него верх, а где низ. Может, у него их и не было. Ведь не было же на часах времени...

Я смотрел, вытягиваясь и чувствуя, как дрожат от напряжения коленки.

Но человек не шевелился, он что-то делал, для чего вовсе не требовалось двигаться. И я понял вдруг, что он убивает очередные часы...

Тогда я стукнул ладонью по стеклу. Он не сдвинулся, не шелохнулся даже. Теперь я знал, что он мертв, и мертвый сам делает все вокруг мертвым. Для этого вовсе не надо движения.

И тогда я стал стучать по стеклу, бессмысленно и глупо. Я сам не знаю, зачем я стучал. Наверное, все-таки хотел, чтобы я ошибся, иначе мне страшно было бы жить дальше. Не только этим вечером и завтра утром, но и следующим вечером, и так день за днем, всю мою жизнь. И я барабанил по стеклу так, как будто кругом все горело, и только от меня одного зависело всеобщее спасение.

Как я не разбил стекло?!

И вот тут темный труп шевельнулся, появилась лысеющая голова, за розовыми ушами блеснули дужки от очков.

Человек повернулся и воззрился на меня холодными без выражения глазами. И мне показалось, я узнал его. Он неуловимо напоминал Сергея Кокорина. Но и еще кого-то, очень близкого, — почти родного...

Наверное, меня он не видел, потому что глядел со света в темноту. Да и вообще это длилось мгновение, не больше. Зрачки и зрачки. Потом он поднял руку, и черная штора скрыла все. Я отпрянул и почти побежал, боясь оглянуться...

Станный звук, от которого болели уши, оказался дробным ударом колес — видно, я все-таки задремал, как дремлют в поезде.

Я стал смотреть за окно, потому что опять заснуть было боязно — мгновенно вернулась ко мне только что пережитая ночь и пустынная станция, на которой я искал то ужасное окно.

Но стоило ли так барабанить в него, кричать и звать людей на помощь, когда и окна-то, и дома-то этого, может быть, не было, и улица, и станция та тоже неизвестно где?..

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

Из жизни Беляева. Рассказ

Знакомая спина мелькнула впереди в толпе булочной. Узкие опущенные плечи, длинная шея...

Беляев не мог ошибиться. Это был он.

Сколько же Беляев не видел его? Пять, восемь лет? Как он жил все это время?..

Ратиновое потертое пальто болталось на сутулой спине, как на вешалке, из выдавшей виды кроличьей шапки торчали клочья. Беляев забежал сбоку и с расстояния двух метров увидел изможденное, за эти годы совсем постаревшее пьяненькое лицо. Лицо было обращено к мужчине в пыжиковой шапке с портфелем, губы шевелились, и Беляев расслышал:

— В дурацкой ситуации... Поймите правильно... Три рубля... На билет... В командировке из Орла... Три рубля не хватает...

Мужчина с портфелем сделал грозную мину и отчеканил:

— Не подаю!

Проситель сложил посиневшие губы в трубочку, присвистнул и проводил презренным взглядом пыжиковую шапку. Пьяненькие глаза принялись высматривать в толпе кого-нибудь поговорчивее. Но у булочной, видимо, таковых не обнаружилось, и он очень быстрым, нервным шагом направился на противоположную сторону, пропуская автомобили, к книжному магазину. Бе-

**Юрий
Кувалдин**

— родился в 1946 г. в Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт. Автор книг "Улица Мандельштама" (1989), "Философия печали" (1990).

ляев, замирая, бросился следом, но не приближался, а держал дистанцию.

У витрины книжного магазина, рассматривая книги, стояла хорошо одетая стройная женщина. Время от времени она бросала взгляд на свои маленькие наручные часы, озираясь по сторонам. Он с увлеченностью последовал примеру женщины и впился в витрину, возникая то с одной стороны от женщины, то с другой, причем — с быстротой необычайной. На длинных ногах у него были надеты какие-то тряпичные летние полуботинки, стоптанные, один шнурок развязался и болтался мокрым червячком.

— Извините милостиво... — наконец он решился. — Даже неудобно обращаться... Только что у булочной потерял кошелек... — покашлял: — Кхи-кхи... А там — билет... Трех рублей не хватает... Из Орла я командировочный...

Женщина безглаголиво окинула взглядом спросившего, открыла сумочку и — лишь бы отвязаться — протянула просившему зелененькую бумажку. Улыбка пробежала по его лицу. Рука выхватила из-за пазухи мятый блокнотик.

— Разрешите адрес... Я вышлю!

— Что вы... бывает... Я сама однажды из Сочи не могла вылететь... Хорошо, знакомую встретила... Украли кошелек тогда.

— Премного благодарен! — он скривился, приложил костлявую руку к своей груди и поклонился.

Беляев в сильном волнении наблюдал эту сцену от соседней витрины. Когда побирושка склонился и попятился, он на всякий случай отвернулся, чтобы остаться незамеченным, но успел увидеть, как тот энергичным шагом двинулся к бульварам. Забыв о хлебе, за который он, собственно, и вышел, Беляев двинулся следом.

Надо же, подумал он, и встретились-то на Сретенке, на месте торжественной встречи иконы Богоматери, принесенной когда-то из Владимира, когда Москве угрожал Тимур...

Тем временем тот перемахнул улицу и устремился к центру по улице Дзержинского. У рыбного магазина он остановился и закурил, рассматривая прохожих. Беляев встал у телефонной будки с видом человека, которому нужно позвонить. Курающийся несколько раз поглядывал в

его сторону, но Беляев быстро отворачивался. Да и расстояние было надежное. Наконец, тот бросил окурок и резко подошел к военному, полковнику. Беляев приблизился ровно настолько, чтобы был слышен разговор:

— Капитан в отставке Морозов. Разрешите, товарищ полковник, обратиться? — И прищелкнул стоптанными башмаками.

— Слушаю, — разрешил полковник.

— Случилась незадача... Я сам из Питера третьего дня приехал... На сварочном производстве... Все как положено, сегодня отбываю назад... Дал сейчас одному десятку, чтобы выпить взял... А он, — тут капитан в отставке соорудил такую физиономию, что полковник сочувственно закивал, — слинял... А у меня паровоз через сорок минут... Трояка на билет не хватает...

Полковник откинул полу шинели и полез в карман за бумажником. Три заветных рубля перекочевали в карман просившего. И опять — блокнотик, даже карандашик нашелся, мол, адресок, верну как приеду... Но полковник похлопал изможденного по плечу и сказал:

— Меньше доверяйте людям, капитан, среди них много проходимцев!

И пошел.

А добытчик трешек переменял диспозицию: вернулся к бульвару, затем свернул направо. Беляев шел сзади шагах в десяти-пятнадцати и через несколько минут нырнул вслед за ним в здание почтамта на Кировской. На втором этаже в зале телеграмм попрошайка схватил бланк, сел к столу и принялся писать. Из дальнего угла Беляев, у которого место волнения уже заступило холодное любопытство, наблюдал за происходящим.

Нацарапав текст на бланке, тот с независимым видом встал в очередь. Дожидаясь, стоял спокойно, даже пьяньенького теперь ничего в нем не осталось. Когда телеграмма была передана в окошко, оглянулся на стоящих позади себя — как бы невзначай. Но Беляев понял, что все стоявшие сзади оценены моментально и выбрана женщина в дорогой шубе.

Из окошка попросили деньги. Он не спеша полез в карман, лицо сосредоточилось, полез в другой — огорчилось, в третий — смутилось, в четвертый — приняло вид ограбленного. И тут началось. То он кричал: "Кошелек!", то падал на колени и ползал под столами,

то опять вставал и кидался к окошку.

— С вас всего-то пятьдесят семь копеек.

— Да у меня и мелочь, и крупные в кошельке были!

— чуть не плача, кричал он.

Женщина в шубе важно подала ему рубль.

— От, спасибо, от, премного благодарен!

Расплатившись и получив сорок три копейки сдачи, он пересек зал и остановился при выходе. Когда и обладательница шубы отбила телеграмму, они вместе пошли к лестнице. Беляев на опасном расстоянии устремился за ними и услышал:

— Вот незадача... Дал телеграмму — встречайте... А тут кошелек посеял... или того... украли... Хотел уже на вокзал бежать за билетом... поезд через час... с Ленинградского... Ох, ты, Господи!

Женщина вновь с важным видом покопалась в сумочке и протянула красную бумажку. Появился блокнотик, карандашик, затем — рука к груди, поклон, отступление.

Беляеву уже все было ясно, но ему хотелось измерить всю степень падения этого человека, увидеть все его приемы, все повадки, все маски, все его лицедейство, весь арсенал его бесовского таланта.

От почтамта тот бодро направился к магазину "Инструменты". Здесь он подошел к солидному гражданину в кожанке.

— Громада бедствий и буря испытаний, — начал печально собиратель трешек. — Только что в магазине, — он кивнул на витрину, — вытащили кошелек... А меня главный инженер послал купить внутренний замок и квитанцию принести. Всего-то три рубля...

Он хотел еще продолжать, но солидный небрежно бросил:

— Не допил?

И вдруг толкнул его так, что тот чуть не упал.

— Отвали!

Беляев стоял почти что за его спиной. А он, сунув блокнот за пазуху, и проговорив: "Брабантские деньги конфисковали, заграничное имущество описано!", закурил и вновь пошел к Сретенке. Беляев не отставал.

На Трубной мужичок приклеился к еще одному военному, на военных ему везло. Блокнотик, карандашик, поклон. Затем, постояв просто так, это было заметно,

что просто так, потому что курил не спеша, с чувством, и был совершенно трезв, глаза смотрели ясно, швырнул окурок в сугроб, направился по Цветному в винный, отстоял небольшую очередь и купил шесть бутылок вина по рубль тридцать семь, сложил эти бутылки в откуда-то явившуюся матерчатую сумку, а из винного перешел в булочную.

Прямо в булочной Беляев и дернул мужика за рукав. И, подавляя отвращение, сказал:

— Здравствуй, папа.

Отец сначала судорожно вздрогнул, но затем, узнав сына, взял себя в руки и, кивая на сумку с бутылками и хлебом, проговорил:

— А у меня, вот, аванс сегодня... В книжной палате получил... за переводы... Приятель устроил, с испанского...

И уже заготовленная Беляевым мстительная речь словно испарилась. Он покраснел и сказал:

— А я за хлебом вышел...

Покинув булочную, они некоторое время постояли на Цветном.

Вдруг отец схватился за сердце и сдавленным голосом сказал:

— Что-то плохо мне... Отведи к скамейке.

Скамейки были засыпаны снегом, и сидеть можно было только на спинках. Отец поспешно достал из пальто складной стаканчик, затем перочинный ножичек со штопором, откупорил бутылку.

— Николай, извини, но мне необходимо выпить.

Беляев взгляделся в желтоватое, тощее, морщинистое лицо и, ни слова не говоря, кивнул. Он сидел рядом с отцом и смотрел в одну точку, в белый снег, различая в нем хрусталики голубого и красного свечения. В душе был сильный беспорядок.

Отец выпил тихо, беззвучно и так же беззвучно сидел несколько минут. Затем отломил кусочек от батона и пожевал. Через некоторое время налил еще стаканчик, выпил тише прежнего, медленно, очень медленно, боясь расплескать каплю.

После этого глаза отца повеселели, он закурил и сказал:

— Спасибо, Коля. Не забыл отца, подошел. Хороший ты малый и не сердись на меня. Я тебя люблю,

но что значит моя воздушная любовь? Здоровья нет, и ты не сердчай на меня, дорогой. Жизнь такая штука, что сердчать на нее бесполезно. Она и умного, и глупого равняет могильной землей. Так что ты меня не брани, я тебе ничего плохого не сделал. Я ведь и к матери, сам знаешь, ни-ни, не пристаю, не звоню. Кончено, так кончено.

Он помолчал, затем опять оживился и вдруг попросил:

— Выпей со мной, Коля. Не бросай. Поддержи. А то я сейчас к Филимонову пойду, а там — до утра пьянка. А я хочу домой попасть. Три дня не ночевал. А Федосьева выгонит из дому, хотя и не прописана у меня, а все ж хозяйка. Выпей, Коля, поддержи отца. Ну, Коля, поддержи!

Беляев не понимал себя. Ведь этот тип, что сидел рядом, никакого отношения к нему, в сущности, не имел. Разумеется, Беляев мог сделать ему снисхождение за то, что когда-то тот сидел в лагере, страдал, истощался нравственно и физически. Но только причем здесь Беляев? Благодарить отца за зачатие? Нет уж, родила мать — и довольно.

Но от вымученной бравады отца и его жалкой просьбы Беляеву самому стало вдруг так тошно, что он покорно согласился выпить.

Отец налил стаканчик доверху, передал сыну и сказал:

— Выпей за всех убиенных лагерем, выпей, сынок! Господь не обидит, не покинет тебя.

Беляев затравленно взглянул на отца и выпил, ощутив всю мерзость дешевой "бормотухи".

— Дай и я пригублю еще, — сказал отец.

Потом он сложил стаканчик, сунул его в карман, а заткнутую бутылку, в которой оставалась еще половина, — в сумку. Подумав, встал и попросил:

— Проводи меня до дому... Как бы опять не зашало сердечко!

И не глядя, пойдет ли сын за ним, отравился по аллее к Самотеке. Беляев покорно двинулся следом. Отец все более приходил в себя и через минуту шел уже легким упругим шагом, будто возвращался домой после великих дел и спешил навстречу еще более великим.

Тень начинала уже перемешиваться со светом, на-

ступали сумерки.

В конце аллеи отец резко остановился, достал бутылку, вытащил зубами пробку и одним махом допил оставшееся. Бутылку бросил в сугроб.

— Что говорил Заратустра?! — вдруг повернулся он к сыну.

Беляев вздрогнул от неожиданности. Изможденное лицо отца приняло возвышенное выражение, тощая рука в ратиновом пальто была вскинута вверх. Беляев поспешно потянул отца к переходу.

— Я повторяю вопрос: что говорил Заратустра?!

Отец вдруг вызывающе повысил голос:

— Так! Он говорил — т а к!

Прохожие с испугом и недоумением поглядывали на него.

— Помолчи, пап, — попросил Беляев, ускоряя шаг на переходе.

Миновав площадь, они свернули в переулок. Отец вырывал руку, ему хотелось жестикулировать.

— Как философствуют молотом? — кричал он. — Как? — Он вырвал руку и резко вытянул ее перед собой и вверх: — Хайль Сталин, хайль Гитлер! Государство? Что это такое? Я вас спрашиваю! Встать, смирно, руки по швам! Государство — самое липкое, самое мерзкое из всех холодных чудовищ! Холодно лжет оно: я — народ! Государство лжет на всех языках о добре, и что оно говорит — оно лжет, и что есть у него — оно украло! Хайль Сталин! Хайль Хрущев! Виват, Гай Юлий Цезарь и Фиделька Кастров в придачу!

Визгливый крик отца разносился по темнеющему переулку.

— Кто в силах меня отогреть, кто меня еще любит?! — взвыл он сильнее прежнего и вдруг остановился, как бы поникая. — Коля, — прошептал он. — Заведи меня домой, а то я убегу куда-нибудь. Заведи меня в квартиру. Анна Федосьевна тебя постесняется. Увидишь. При людях она не кричит и руками не машет. Заведи...

Беляев начинал тихо себя ненавидеть за то, что послушался отца, выпил вина и повел провожать. Это же были обычные его уловки, как он мог забыть? Нет, тогда, восемь лет назад, он правильно сделал, что решил вычеркнуть этого Заратустру из своей жизни — пусть живет как хочет. Да и виделся-то он с ним до

этого всего-ничего. Кто его отец? Никто, без роду и племени, хотя и род, и племя были когда-то... Но тогда по прихоти правительства его зашвырнули на другой конец света и забыли, а он выкарабкался, вернулся, живет в Москве и занимается мелким мошенничеством.

До этого Беляев с отцом виделся несколько раз. После лагеря отец зашел показаться сыну, потом зачастил, но все для того, чтобы опять три рубля занять. А Беляев жил с матерью и только и мечтал, чтобы освободиться и от нее. Он хотел жить отдельно — мечтал найти подходящую жену, расплодиться и занять всю шестикомнатную коммунальную квартиру, в которой пока им с матерью принадлежали две комнаты. Прежде была одна, но Беляев выбил вторую, как только та освободилась...

Отец стоял у подъезда своего двухэтажного барака, громким шепотом взывал:

— Заведи меня домой, Филимонов...

— Я не Филимонов, — сказал, придвигаясь ближе, Беляев.

— А, это ты, Коля... сын. Пошли наверх! Я угощаю...

В дверь долго звонили, но никто не открывал. Отец нащупал в карманах ключи и несколько раз попытался попасть ими в замочную скважину. Наконец, попал. Квартирка была небольшая — перегороденная комната, кухня и уборная. Ванной не было. Анны Федосьевны дома не оказалось, и отец вспомнил, что она работает во вторую смену. В квартирке было очень чисто. Отец сразу же сбросил с себя ботинки, снял пальто и шапку. Редкие волосы были примяты на бочок.

— Жалко, конечно, убиенных, — вдруг сказал отец, проходя на кухню, — но что делать? Все там будем. В лагере каждый день кого-нибудь хоронили. И очень часто самому хотелось подохнуть. Умом понимал, что вот подохну и все муки побоку! А сердцем чувствую, что жить нужно... Для чего жить? Неизвестно. Но хочется жить...

Беляев молча слушал. После выпитого отец стал спокоен и разговорчив, и Беляев, все так же ненавидя себя за безволие, понял, что придется дать ему выговориться...

— Мое место в жизни давно мне было определено, —

сказал отец, усаживаясь на табуретку и подвигая к Беляеву другую. — И я не обижаюсь. Так Господь распорядился: посиди в тюрьме, да попей водки. Эх! Многого о себе не скажу, но я ископал вдоль и поперек свою душу. И чем больше ее копаю, тем меньше понимаю. Всякие идеалы пересмотрены мною, и остались какие-то отребья истин. Я тебе скажу так, что истины вообще нет. Ну, в том понимании, что она, мол, где-то сидит и ждет, пока ты ее найдешь. А она нигде не сидит и не ждет. Человек — род фантома. Он есть и его нет. Это факт... Закурить бы, — вдруг мечтательно проговорил отец и вдруг встал. — С похмелья совсем забыл... Ты, Коля, можешь себе представить, что со вчерашнего вечера просыхаю и подыхаю. Сука Филимонов обобрал всего. Звонит: мол, приезжай, Саша, есть бутылка. Ну, я и поехал к нему неделю назад... Есть же у меня зачка! — Он минуту, поблескивая глазами, сосредоточенно стоял, затем резко приподнялся на цыпочки и вытащил из дымоходного люка пачку "Примы".

С необычайной бережностью открыл пачку, достал сигарету и осторожно, двумя пальцами, оттопырив при этом мизинец, сунул сигарету в рот, предварительно облизнув губы. Затянулся несколько раз, выпуская дым через ноздри, и воскликнул:

— Ну, я даю! Сам махнул, а сыну не налил!

Он достал стаканы, бутылку. Выпили. Беляев начал немного пьянеть.

— Я — человек праздничный, — заговорил вновь отец. — Каждый пьющий человек — праздничный человек. Мы ожидаем праздника, готовимся к нему, а он в минуту проскакивает и начинаются угрюмые будни. А я хочу продлить праздник. Празднуешь и знаешь, что горечь наступит. Вот в чем дело. Плохо.

Беляев тоскливо следил за отцом и ждал, когда тот опять воскликнет про Заратустру, но отец словно забыл про него. Тогда сам Беляев напомнил:

— Что там говорил Заратустра?

Но отец этого не принял.

— Заратустра у меня идет на подъеме... А в конце я меланхолично размышляю на более спокойные темы...

— А потом?

— А потом тоже можно Заратустру... В общем, на подъеме... А на спуске... У меня иногда подъем в неде-

лю бывает, а спуск — в месяц! На подъеме — радости, на спуске — печали. И печально думаю, что нас здорово дурачат разные Грозные, Сталины, Христы...

Беляев удивленно вздрогнул и спросил:

— А Христос тут при чем?

Отец сверкнул глазами, приставил ладошку козырьком к губам и шепнул:

— При том... Его не было никогда! Вот какая истина мною свержена! Не истина он. Он — литературный герой. Ох, в лагере я насмотрелся на людей и понял, что дураят нас на полную катушку. Ну, вот смотри, давай разберемся... У нас что ни писатель, то кто? Правильно! Еврей. Во-первых, мало того, что Иисус литературный герой, он еще и еврей!

— Да при чем здесь это! — вскричал Беляев. — Он же без национальности...

— Брось ты эти поповские штучки! — перебил его отец. — Я тебе говорю, что путем двенадцатилетней дедукции я вывел, что Христос литературный герой... Написан для того, чтобы нами, дураками, управлять... В лагере я с евреями дружил... С ними не так тоскливо. Они все в душе литераторы... Засирают мозги очень умело. Только их бывает трудно вызвать на откровение. Но я вызывал: делился пайкой, самогон доставал, деньги... В общем, много лет я дедуцировал и с одним Финкельштейном согласовывал...

Беляев следил за глазами отца, зрачки их все больше и больше расширялись, в них появилось что-то сумасшедшее.

— ... с одним Финкельштейном согласовывал... Он противник нашей веры, у них своя... Особая! Понимаешь? Сами для себя особую веру имеют, так сказать, для избранных, для кабинета министров земного шара, а нам Иисуса подкинули, но тоже своего... Не написали же, что грек там какой-нибудь проповедовал смирение, или итальянец, а именно написали, что еврей! Ты понял? Все колена перечисляют, от кого пошел, от Моисеев да Авраамов, доходят до Иосифа, мужа Марии, и тут у них забуксовало... Как же, должен ведь Богом быть, и придумали, что Мария забеременела от Духа Святого. Значит, от Бога-отца Бог-дух слетел и зачал еврейского заместителя божественного на земле — Иисуса! Лихо обделано. На самом деле сидел писатель и

заказную рукопись готовил: не ешь, не пей, не спи с женщиной и так далее. Карающая рукопись. На вымирание других народов рассчитана... Финкельштейну вопрос задаю: был такой замысел? Отвечает: был! Христианство постепенно оскопляет, уничтожает все народы: мужчины — в монастырь, женщины — в монастырь, детей, приплода, — нет... И торжествуют еврейские люди! Одни они. Программу рассчитали на тысячу лет! Но у них не получилось. Христианство, как видишь, земной шар не завоевало окончательно. А по чьей вине?

— Атеистов?

— Точно! По вине тех, кто сомневался в единоучении... В этом причина. И слава много религиозности! Слава Будде, Слава Аллаху, Слава Заратустре!

— У тебя примитивный взгляд, — сказал Беляев.

— Ты слушай, не перебивай откровения святого Александра! — Отец был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блеснули, он нервно размахивал руками, подергивал плечами и изредка подмигивал. — Для меня не подлежит сомнению, что евреи открыли закон всеобщего гипнотизма слова. Стадо человеческое тупо и слепо! Этому стаду нужен поводырь, но к каждому человеку поводыря не приставишь... И вот Слово стало поводырем. И первое слово каждого еврейского писателя — не подчиняйтесь властям земным! Все пророки и проповедники кричали на всех углах — не подчиняйтесь власти земной, подчиняйтесь небесной! Понял? А для чего? О, тут великая мысль заложена!

Отец вскочил из-за стола и заходил по кухне.

— Рим развалить им нужно было! Вот ответ! Простой, как похмелка! Для нас нацарапали, что все равны, а у себя — по углам шепчутся — они избранные Божии, а мы тля, рвань, жлобы, гои! Ты понял? Какой коммунистический интернационал-манифест к нам с Христом заслали! Они, как черти на сковородке, от нетерпения довести до каждого уха свое слово пляшут. Пока я пьянствую, сидя у Филимонова, какой-нибудь Мордыхай уже тысячу своих друзей obeжал и слово нужное прошептал: развалим, развалим и эту империю! Опыт тысячелетий за плечами! Блаженны нищие духом, говорят! Да не блаженны! А мудаки, что безголовы живут и в рясы облачаются, не понимая, что тво-

рят. Поверили слову провокационному: будьте как птицы, не заботьтесь, что вам есть и пить, ни для тела вашего — во что, значит, одеться, а наши дураки и поверили, и на печку залезли, и Обломовку себе завели: зачем трудиться? Христос не велел. Нельзя зарабатывать, это на Маммону работать! А они будут под журчание талмуда золото складывать в сейфы...

— Да, ты уж очень много трудишься, — усмехнулся Беляев.

— Тржусь! — воскликнул отец. — Над устным словом работаю. Все мои тексты — магические. Слово нужно написать или сказать так, чтобы тебе, ни минуты не сомневаясь, поверили! Взяли на веру! Это особое искусство...

Беляев усмехнулся и сказал:

— Это я знаю... Наблюдал.

— Что наблюдал?

— Ну, как нужно пользоваться словом, чтобы тебе поверили.

— Хорошо. Правильно. Наблюдай. Это психологическая вещь. Все в мире на этой психологической вещи построено. Человек — радиоприемник. Что ему передашь, то он и воспроизведет! Понял? Нужно только на волну этого приемника выйти!

— Я думаю, у тебя какая-то болезненная неприязнь к евреям, — сказал Беляев. Тема почему-то зацепила его. Он выпил еще стопку и закусил. — Мне кажется, на вещи нужно смотреть просто: по результатам деятельности. Болтовня, содрогание воздуха результата не дают. Ты вот праздничный человек. А чтобы вести такой образ жизни, нужен приличный доход...

— Ерунда! — перебил отец.

Он закурил и вновь нервно заходил по кухне. Видно было, что ему самому хочется говорить, а не выслушивать сына.

— Ерунда! — повторил отец и продолжил: — Истины нет. Истину ищут! Понял?.. Само слово "истина" — означает "искание". Искание, движение, сомнение, убежание, мелькание... Никакой остановки. Я это уяснил и нахожусь в вечном движении. Ни за что не цепляюсь. Цепление — смерть! Смерть мысли, смерть чувства, смерть тела...

Отец остановился и заплакал. Слезы потекли по

дряблым щекам. Бутылка была пуста, и он потянулся за другой, но тут Беляев поднялся, наконец, из-за стола:

— Мне пора домой. Ты сейчас ложись. Отдохни. И сегодня не пей больше.

— Что пить? Это? — отец кивнул на бутылку. — Посиди еще. Не бросай меня, а то я с ума сойду.

Но безудержные его монологи уже только раздражали Беляева.

— Что говорил Заратустра?! — вновь закричал отец.

— На подъем пошел?

Отец качнулся к сыну, обхватил его костлявыми руками и поцеловал, затем всхлипнул и зарыдал на его груди. На душе у Беляева стало совсем скверно. Ему захотелось вдруг вступить и за Христа, и за евреев, и за русских обломовцев, и за всех людей, хотя какое ему было до них дело? Но все они казались сейчас Беляеву хорошими, не то что это отребье. Ему было ясно, что какие бы умные мысли ни высказывал пьяница, все они будут пьяными истинами, которым грош цена. Отец неисправим, он тяжело болен, и это еще сильнее угнетало, потому что Беляев боялся: отец теперь не отстанет от него и превратится в обузу, в крест, который нужно будет тащить.

Вдруг отец отстранился, посерьезнел и, положив руку на сердце, сел к столу.

— Недобор, — сказал он совершенно трезвым голосом. — Мне сто пятьдесят не хватает до нормы.

— Пей! — вскричал Беляев.

— Вот это сын!

Отец сам разлил портвейн, звякая бутылкой о стаканы.

— Будем здоровы! — сказал он.

— Будем здоровы, — мрачно сказал Беляев, но выпил даже с удовольствием. Шел девятый час вечера.

Отец неподвижно и долго смотрел в пустоту. Потом сказал:

— Продолжим о вечном.

Беляев даже рассмеялся.

— Ты посмотри, как это они хитро все придумали! А? Сами ведь знали тайну. Потянули на саму церковь: по крестам — кувалдой, колокола — оземь, попов — в зону... А в те храмы, что остались, — своих поставили,

чекистов. Почему? Да потому что знали, как разваливать Рим, но знали ведь и как Рим созидать!

Теперь было видно, что отец пребывал на вершине блаженства. Хотя спуск с этой вершины был неминуем.

— ... пустили свой гипноз: коммунизм, равенство... Это они четко знали, что нужно пускать гипноз словесный. Партия передового отряда пролетариата... И стадо пошло! Двинулось, затопало копытами, затоптало по пути и честь, и совесть, и частный капитал... Так что Христа написали для своей власти. Заметь, не уничтожили совсем церкви, оставили, потому что смотрели далеко за горизонт. Мол, оставим на всякий случай нашего раскольника, может быть, еще пригодится! Умно, ничего не скажешь.

Беляев, изредка заглядывая в бледно-голубые глаза отца, вдруг сообразил, что глаза у них с отцом разные. У отца — голубые, у Беляева — карие.

— Интересно, — сказал Беляев, чтобы хоть что-нибудь сказать и остановить отца, — почему я родился не с голубыми, как у тебя, глазами?

— Что? — как бы выходя из задумчивости, переспросил отец.

— Я говорю, у тебя голубые глаза, а у меня карие. Почему?

— А, да... материнские у тебя глаза, — сказал отец.

— Видно, и манера жить у тебя материнская, — добавил он.

— Что значит "манера"?

Отец каким-то пронзительным, новым взглядом, взглянул на сына и, чуть помедлив, сказал:

— Еврейская манера!

Беляев усмехнулся, как бы давая понять этой ухмылкой, что он давно избавился от предрассудков и стоит в своем интеллектуальном развитии выше национальных проблем. Но отец, не обратив внимания на эту ухмылку, продолжил:

— Между прочим: некоторые факты биографии твоей матери... Ты, короче, должен знать, что твоя мать — е в р е й к а !

Беляев продолжал бы по инерции усмехаться, но против воли по телу его пробежал холодок. Овладев собой, он сказал:

— Расскажи, пожалуйста...

— Что тут рассказывать! Она не Семеновна, а Самуиловна, и девичья фамилия ее — Фидлер! А папаша ее — Самуил Израилевич — работник НКВД! Так-то...

Наступило молчание.

Беляев смотрел в пол, усмешка его застыла на губах.

— Что-то я не совсем понимаю, — растерянно сказал он.

— Тут и понимать нечего! — вскричал отец, но тут же преобразился, вскочил из-за стола, обнял голову сына и прижал ее к своей груди.

Прошла, наверно, минута.

— Старый дурак! — сказал с чувством отец. — Зачем я тебе это рассказал! Черт с ней, с дурой, ушла, скатертью дорожка!

Беляев высвободил голову из объятий и тихо сказал:

— Национальность — это условное, то есть, собственно, вымышленное понятие. Его эффект заключается в поддельном почтении или ненависти... Правильно, что рассекретил. Правильно. Я какими-то новыми глазами увидел мать... И себя.

— Что ж делать! — вздохнул отец. — Узнал, так узнал, ну, и Бог с ней. Ты-то мой сын. Беляев Николай Александрович. Русский. В паспорте русский. Лицо — русское. А что глаза... Так у русских любые глаза бывают, как и у евреев. Я даже допускаю, что евреев можно считать людьми.

Беляев опять усмехнулся.

— Почему же она мне не сказала об этом?

— Зачем? — пожал плечами отец. — Она штука та еще!

— Для тебя она "штука". А для меня же — мать!

— Она как мать тебя и оберегала.

— Ты думаешь?

— Тут и думать нечего. Удивительной хитрости, ловкости и дальновидности женщина! Впрочем, дело прошлое, а ты — плюнь и разотри! Я не говорил, ты — не слышал. Вот и вся песня. Самое главное в человеке — это умение держать в себе. У каждого свои тайны, которые он никогда, ни при каких обстоятельствах не откроет другому, такие тайны, которые даже в исповедь не помещаются, поэтому исповедь и невозможна, и этот Руссо — просто идиот! Так что живи спокойно и ни о чем не думай. Но я, конечно, старый дурак. Не следо

вало бы мне об этом говорить...

За окном был январский вечер, на стеклах — морозные узоры. Беляев уже не слушал отца. Он вдруг совсем успокоился, ему стало скучно и захотелось домой, в свою комнату, где на широкой поверхности письменного стола, застланного белой бумагой, он любил раскладывать и пересчитывать деньги.

Ведь делать деньги можно было поумнее, чем их делал отец. И Беляев их делал на всем. Например, на поступлении в институт, в котором был членом партбюро. Дань собиралась солидная — особенно с посланцев Кавказа, которым почему-то необходимо было учиться именно в этом институте. Беляев сколотил даже целую бригаду заинтересованных в доходе лиц... Вполне успешно занимался он и реализацией стройматериалов, ибо институт был строительный и выход на всякие СМУ был прямой. А время от времени перепродавал автомобили через своих людей в таксопарке...

Беляев раскладывал купюры по кучкам. Самой ходовой купюрой были двадцатипятирублевки, "лиловенькие", как он их называл. И уже составились четыре стопки из этих лиловеньких, по сто бумажек в каждой. Беляев аккуратно перехватывал их аптечными резинками, вставляя под эти резинки бумажки с надписью: "2500". Многие лиловенькие шелестели, как металлическая фольга. Они были новые, руки людей не так часто касались их, и Беляев с волнением вдыхал в себя их запах. Это был особый запах. В нем соединялись запахи высокосортной гознаковской бумаги, запахи превосходных красок и едва уловимые запахи типографского оборудования. Это был великолепный, изумительный букет, сравнимый разве с запахом роз...

Сортировка лиловеньких занимала у Беляева много времени. Сначала он сортировал их по степени износа. Были купюры совсем старушки, тысячи людей касались их. Какая-нибудь деревенская женщина складывала такую бумажку в шестую долю и засовывала в лифчик; какой-нибудь аккуратный служащий, получив ее в зарплату, разглаживал и прятал на черный день в паспорт; какой-нибудь пьяница мят ее в комок, созал в карман брюк, чтобы через полчаса таким же комком бросить на прилавок винного отдела; какая-нибудь продавщица га-

стронома шла с этой работающей бумажкой на рынок и обменивала ее на мандарины; какой-нибудь азербайджанец вез эту бумажку в Агдам, оттуда она перелетала в Бухару... Рядом стояла пластмассовая розеточка с влажной губкой. Беляев смачивал пальцы и после этого вел молниеносный пересчет подготовленной к обвязке пачки. Попадались и совсем изношенные бумажки, склеенные папиросной бумажкой — эти он со злостью откладывал в сторону...

— Ну я пойду, — решительно сказал Беляев, встал и пошел из кухни.

— Э, нет! Подожди!..

За перегородкой над письменным столом были прибиты книжные полки, на столе лежала стопка словарей, неоконченная рукопись и книга с крупно набранным словом "Madrid".

— Ты действительно переводишь? — не поверил Беляев.

— Перевожу и получаю деньги! — отчетливо произнес отец. Потом взвизгнул:

— Что говорил Заратустра?!

Беляев только махнул рукой и сказал:

— Ложись спать.

— Я повторяю вопрос, — еще громче закричал отец, — что говорил Заратустра?!

— Так! — злобно выкрикнул и Беляев.

Отец вскинул руку, вытянул пальцы и торжествующе подтвердил:

— Т а к ! Так — говорил Заратустра!

НОВОБРАНЦЫ

Из цикла "Голоса"

Я не знаю, сколько времени мы уже торчим в этом пустом и мертвом поселке, название которого мне неизвестно, потому что я не смог его прочесть на железнодорожной станции. Его там просто не было, иначе бы я его увидел и прочел, я с детства люблю читать слова, особенно такие крупные, как вывески, заголовки и названия станций. Оно упало со стены и рассыпалось на отдельные буквы, их я видел, там же валялись и стрелки, облетевшие с вокзальных часов, как листья, уже ржавые. А что сказать про время, если на циферблате остались одни цифры, и то облезлые? Я не знаю, как его считать, когда нет ни стрелок на часах, ни радио, ни газет, ни режима военной службы, ни календаря на стене. Конечно, можно делать еще зарубки на чем-нибудь деревянном, на столбе, на дверном косяке, если разрешат, а лучше всего на самом дереве. Оно ведь тоже деревянное. Можно еще нарисовать собственный календарь. Или построить часы с тенью от солнца. Я знаю. Но я этого не умею, ни рисовать, ни строить часы, тем более, что солнца здесь нет, светло, тепло, как в парнике, а самого солнца нет и, значит, тени тоже. И зарубки мне делать нечем, нам не успели выдать ни режущего, ни рубящего оружия, вообще никакого. Потом я подумал, что можно бы просто делать черточки, например карандашом — карандаш у меня есть, чтобы писать письмо воспитательнице Аделаиде Макаровне.

**Марк
Харитонов**

— родился в 1937 году в Житомире (Украина). Окончил историко-филологический факультет Московского Государственного педагогического института. Автор книги "День в феврале" (1988). Лауреат Буковской премии 1992 года.

Но это я догадался не сразу и уже не знал, с какого числа начать. Даже с какого месяца. Честно сказать, я и в год уже не очень уверен. А раз не знаешь, то какой смысл начинать, ведь правильно? Все равно получится ошибка. И зачем? Пока я прохожу службу, время должны считать за меня.

Наш вагон загнали в этот тупик, видимо, по ошибке, если я правильно понял из разговоров. Отцепили, бросили и, наверно, забыли. Паровоз ушел, станционное здание было пусто. Лейтенант, если я правильно запомнил чины, несколько раз поматерился в телефонную трубку, но трубка ничего не ответила, как не отвечали и мы, когда он матерился на нас или в пространство. Так ведь и пространство молчало. Что нам было отвечать? Мы провели еще ночь в своем вагоне на тупиковом пути, потом лейтенант ушел пешком по шпалам кого-то искать или что-то выяснять, а с ним и сержант. То есть я не заметил, одновременно они ушли или сначала лейтенант, а потом сержант, или наоборот. Но что не вернулись до сих пор оба, в этом вряд ли можно сомневаться, и сколько времени мы их дожидаемся, я лично сказать не могу. Нечем мерить. Может, у кого-то и есть чем, но я этого не знаю. И лучше не спрашивать.

Мы просто ждем, наше дело ждать, ведь мы успели получить... или дать... забыл, как надо правильно... в общем, мы уже сказали присягу. Это было рано утром на другой железнодорожной станции, тоже в тупике, но там на крыше была вывеска с названием и на часах стрелки. Они показывали восемь, а станция называлась «618 км». Три цифры и две буквы, легко запомнить. Было еще холодно, меня знобило, потому что одежда на мне еще не совсем просохла после стирки, вместе со словами изо рта шел пар, но я видел, что у некоторых пар шел так просто, без слов, с одним голосом, они просто дышали звучным хором, не повторяя слова. Может, они их даже не могли повторить, потому что плохо понимали наш язык, а может и не хотели. Меня они называли странным словом "чмо", а еще "тело", и когда им от меня было что-нибудь нужно, просто подзывали пальцем: "Эй, чмо!" Тут много слов было не нужно. Не знаю, как считать; может, по-настоящему они и не да-

ли... не получили... в общем, не сказали присягу, но я все слова повторил правильно, голос мой дрожал от озноба и от волнения, я ведь знал, что такое присяга, мне еще Аделаида Макаровна объяснила, бывшая моя воспитательница, единственная, кто со мной прощался. От знамени, когда я его целовал, пахло так же, как от меня, и этот запах меня тоже волновал. Формы военной нам, правда, выдать не успели, оружия тоже, каждый ходил в своем или в том, что успел отобрать у других. Но у меня отбирать уже никто не стал, в этом смысле мне повезло, потому что за день до присяги, на другой станции, меня успели запихнуть в очко, то есть в уборную, под деревянное сиденье. Я про это сейчас не хочу говорить. Потом долго мылся под краном и все выстирал даже с мылом, только высушить до конца было негде и некогда, поэтому долго ходил в мокром. Про это говорить не буду. Просто хочу сказать, что меня после этого никто не трогал и ничего больше не отнимал, только нарочно зажимали пальцами носы, хотя от меня уже почти не пахло, даже не подзывали, наоборот, отталкивали ногой, чтобы не подходил близко. В этом смысле мне повезло. И когда потом все стали уходить со станции в поселок, потому что хотелось есть, а паек кончился и даже в бывшем буфете не удалось найти ничего съедобного — так вот, когда все стали разбредаться по поселку, я вовсе не прятался. Я просто пошел позади других, на расстоянии, понемногу отставал все больше, потому что на мне были слишком большие ботинки, подарок Аделаиды Макаровны, других на ее складе не нашлось, они немного спадали, пустые носки загибались вверх, я надеялся, что нам заменят их на военные сапоги, но и сапог выдать нам не успели. И так постепенно, можно сказать — нечаянно, я потерялся. Думаю, никто меня даже не искал, наоборот, я потом искал других, но это уже потом, а в дезертирстве, как это называется, меня обвинить никто не может. Я не убегал и не прятался.

В этом поселке дома, если отойдешь подальше от станции, были, как в деревне, одноэтажные, с огородами, колодцами, и в этих огородах оказалось полно овощей и ягод, причем огурцы были размером с кабачок, а помидоры с маленькую дыню и такие же жел-

тые. Честное слово, никогда таких не видел. Только успевай на двор бегать, до того сразу наелся. Двери и окна кое-где были заколочены досками, но проникнуть внутрь не составляло никакого труда; я в своем доме даже не стал отдирать от дверей доски, лазил через окно, а потом закрывал, чтобы незаметно было, есть тут кто или нет. Там внутри оставалась мебель, даже с мягким диваном, и кой-какая посуда, на кухне спички и свечи, только электричества не было. Куда и почему исчезли хозяева и насовсем ли, я сам не знал и некому было пока объяснить. Другие ушли куда-то подальше, я вначале не искал их, я был рад, что мной тоже никто не интересуется. Но никто не мог бы сказать, что я прячусь или дезертирую. Несколько раз в день я ходил на станцию посмотреть, не вернулись ли командиры и стоит ли на путях наш вагон. Вагон стоял, рельсы под ним уже начинали ржаветь. Я очищал кирпичом до блеска небольшой кусок, прикладывал к нему ухо и вслушивался. Было тихо, не шумели даже отдаленные колеса, лишь слабо дрожали, как в струне, отзвуки других непонятных стихий. Белое небо отражалось в чистом участке металла, спасенного от разложения — что-то для службы все-таки было сделано. Я шел к зданию станции и там у стены разбирал, переставлял, раскладывал так-сяк буквы названия, чтобы все-таки узнать его. Буквы были большие, но легкие, из гнутой крашеной жести, а где не было краски, тоже расходилась ржавчина. Там были два "О", два "Р", "К", два "С" и еще семь других; названия каждый раз составлялись разные, на некоторые букв не хватало, в некоторых оказывались лишние. Удивительно, думал я, почему из рассыпанных букв совершенно исчезает смысл, куда он девается? А если присягу рассыпать на отдельные буквы и перемешать? И в каком виде она продолжает существовать, выйдя из меня вместе с облачками пара в холодный утренний воздух, смешавшись с ним? Ведь продолжает же она существовать, не может быть, чтобы смысл ее рассыпался так же, как название станции. Еще я попытался вернуть на часы стрелки, но циферблат был слишком высоко, и я не знал, как забраться на стену. Да если б и забрался: на какие цифры надо было их поставить, на какой час, минуту и год? Если я не знал этого раньше, то тем бо-

лее не знал теперь. Но если где-то кто-то считал время нашей службы, пусть видит, когда придет за нами, что я нес ее как умел. Хотя бы небольшой кусок рельсов перед нашим вагоном был чист и пригоден для дальнейшего пути, а может, когда-нибудь и название станции сложится.

Однажды, когда я выполнял службу под окном станционного здания, изнутри послышался стучащий механический звук. Окно было забрано наружной решеткой, я побежал к дверям и там сначала потерял звук, а потом снова нашел его в одном из внутренних помещений. Стучал сам собой электрический аппарат, из его щели ползла белая бумажная лента, но на ней не было никаких знаков, ни букв, ни тире, ни точек. Я слушал в тревоге, пытаюсь понять послание, а когда стук остановился, сам стал стучать указательным пальцем по рычажку с пластмассовой клавишей. Служба выполняется, передавал я, жалоб нет, ждем командира, передайте привет Аделаиде Макаровне. Я не был уверен, правильно ли передаю свой сигнал, действуя лишь по внутреннему чувству, в надежде, что люди поумней меня сумеют у другого аппарата расставить все буквы в нужном порядке. Может, нам передали, что скоро придут за нами и увезут? И теперь начнется какая-то другая служба? Я бы не хотел другой. Мне все-таки удивительно повезло. Я даже не думал, что так бывает. Теперь можно признаться, что я побаивался, когда меня призвали. Я знал, что не отличаюсь физической силой, и побаивался. Но только думал, что когда получу в руки оружие, сразу почувствую себя иначе. Врачихи-женщины трогали мне голую кожу и стриженую голову холодными пальцами, переговаривались между собой.

— У него же дырка в черепе, — говорила одна, — куда его такого?

— Нужники чистить тоже кому-то нужно, — отвечала другая, постарше, с белыми химическими кудряшками. — Много ли теперь других найдешь? Если дырка меньше трехкопеечной монеты, по инструкции можно брать.

— Так у него не меньше.

— Меньше.

— Померь, если хочешь.

И они чего-то мерили у меня на голове, переговаривались и зевали, а я стоял голый, и мне было щекотно и стыдно от их холодных пальцев... А вдруг другой службы вовсе не будет? — подумал я. Может, два года уже прошли незаметно... да, ведь без часов трудно сказать, и скоро придет паровоз, и окажется, что мы свое задание выполнили. Мы ведь не дезертировали, мы сохраняли присягу в трудных условиях, даже не спрашивая, в чем наша задача, служили, как понимали сами. Мы новобранцы, от слова новые, нас послали нести службу, даже не объяснив ее, в непонятном брошенном поселке, с рассыпавшимся на буквы названием — наши командиры покинули нас, оставили самих догадываться о смысле задачи — испытание ли это? проверка ли?.. А, может, это вовсе и не должно кончаться?.. может, время без часов так никуда и не сдвинулось, и нам когда-нибудь придется начать все сначала? Это было бы несправедливо.

Несколько раз мне попадались в огурцах семечки, — крупные, как у тыквы, с тонким коричневым узором в виде буквы, и все буквы были разные. Я их собирал в бумажный пакетик, чтобы потом разобраться. А в помидорной мякоти мне как-то попался белесый комочек, напоминавший жеваную или просто серую бумагу. С большой осторожностью я сумел его развернуть, не повредив, и увидел не просто буквы, а два слова, как на газетном обрывке: "битва за". Мне стало не по себе. Откуда это взялось? За что битва? Может, где-то шла война, пока мы отсиживались тут, на своей непонятной службе?.. В ту ночь я долго не мог уснуть; снаружи доносились не слышанные раньше звуки: шаги, топот, хрюканье, кудахтанье. А еще какое-то потрескивание возникало на самой коже лица, мелкий точечный скрип, но только дотронувшись рукой до подбородка, я понял, что это росли волосы бороды. Никогда раньше у меня их не было, я еще не брился, даже прибора не имел. Едва рассвело, я побежал на станцию, но не увидел там ничего нового, только рельсы заржавели уже так, что местами стали крошиться, даже мой кусок, очищенный накануне, уже не блестел. Вместо того, чтобы приняться за работу снова, я прошел дальше по единственной колее, по которой ушли командиры. И

чем дальше, тем больше разрушенными становились ржавые рельсы. Я понял, что где-то там они распались совсем, и командиры наверное просто не могут теперь найти к нам дорогу.

Мне захотелось найти остальных, чтобы не думать обо всем одному. Впервые я углубился в поселок. Стали попадаться дома двухэтажные и больше, как в настоящем городе. Некоторые двери и окна были заколочены досками, но в большинстве стекла были разбиты. Посреди улицы возникали брошенные предметы домашней жизни: гнутый стул, ножная швейная машинка, женский манекен на подставке, засохший фикус в горшке. Валялись останки мертвых механизмов, грузовой кузов без колес. Ветер переносил от одного мусорного предмета к другому обрывки бумажек, уже лишенных букв. Буквы я нашел лишь на красной стрелке "Агитпункт", она тоже валялась на земле, но все же я пошел по указанному ей направлению и оказался на площади, перед ступенчатым сооружением из фанеры.

Если я правильно догадался, это была трибуна для местных демонстраций, точь в точь Мавзолей, только без букв. Буквы валялись внизу, как на вокзале, и я подумал, что их-то мог бы привести в порядок. Только пространство вокруг было слишком загажено человеческими кучками; количество и размеры их были удивительны, хотя я понимал, каково питаться в таком изобилии овощами, да еще не отделяя комков с газетными буквами, которые присутствовали тут же, непереваренные. То тут, то там поднимались грибы со шляпками ярко-красного цвета. Еще внимание мое привлек флаг, торчащий прямо из земли; цвет полотнища уже невозможно было определить. Я попробовал его выдернуть, потому что флаг, даже неопределенного цвета, требовал другого места, но оказалось, что он чем-то держался за землю — может быть, пустил корни. Я огляделся по сторонам, чтобы поискать себе в помощь инструмент — и увидел картину, которая меня по-настоящему испугала. Я увидел труп собаки, который клевала огромных размеров курица. Она цепляла клювом гниющие волокна мяса и выдергивала их из тела. Из провалившихся глаз собаки и ощеренной пасти вылетали потревоженные синие мухи, вились в воздухе

тучкой. Курица как будто почувствовала мой взгляд, остановила свою работу и уставилась на меня неподвижным страшным взглядом. Потом вдруг сорвалась с места и побежала от меня бегом, как страус, время от времени помогая себе взмахом крыльев. Я не сразу вспомнил способность двигаться и пустился прочь. Неуклюжие штиблеты мешали бежать, один соскальзывал с ноги, пока не свалился совсем, другой я для равновесия скинул сам, и лишь когда воздух совсем перестал перемещаться в груди, оглянулся. Страшной птицы позади не было.

Я опять оказался у края жилых домов, только, наверное, уже у другого. Вместо асфальтовой дороги здесь была щебенка, чуть дальше она сменилась утоптанной землей, вернее, глиной. Окрестность здесь начиналась голая, холмистая, выжженная, с трещинами в почве среди пучков неживой травы. Я пошел по твердой глине между холмов и не заметил, как оказался за склоном земли, а когда оглянулся, уже не увидел позади домов. Дорога, теплая и ровная под босыми пятками, все больше теряла утоптанную определенность и как будто растворялась, исчезала среди бывших дождевых ложбин, в сухих трещинах. Я все-таки попробовал пройти дальше, по прямой линии, никуда не сворачивая, чтобы не потерять то место, где остались мои башмаки, и дошел до длинной колючей ограды в человеческий рост. Поднимаясь и опускаясь по холмам, она тянулась вправо и влево до видимого края земли, обойти ее было невозможно. Тогда я повернулся спиной к ней и пошел опять строго по прямой линии, но наверное с самого начала неточно направился, потому что попал не к дороге, а к неизвестно откуда возникшей новой колючке — как будто она специально выросла, пока я шел, чтобы преградить возвращение в поселок. В двух нижних ее рядах уже оказалась прореха, и я осторожно, по земле, прополз через нее, немного уточнил направление — и совершенно перестал что-либо понимать, когда спустя некоторое количество шагов снова уткнулся в колючку. Откуда она бралась со всех сторон? Мне стало страшно, что я теперь не смогу возвратиться, так и буду бродить между колючими рядами, и они будут все гуще. Почти готовый заплакать, я все-таки, раня ноги,

поднялся на каменное возвышение — и по ту сторону его, совсем близко увидел дома своего поселка. Я уже подумал про него, как про свой, хотя он и был без названия. Воздух становился темней, но небо с одной стороны — очевидно, западной — светилось розоватым светом, чем ниже, тем ярче и гуще. Со стороны заката навстречу мне бежал человек в майке, сатиновых трусах и тяжелых негнущихся сапогах. Когда он приблизился и перестал быть тенью, я узнал его: это был один из наших новобранцев, который умел сдавливать шею каким-то особым захватом, так что темнело в глазах: "Не плачь, козявка, только сок выжму". Тонкие, с выпуклыми коленками ноги его над сапогами были в пятнах зеленки, глаза, как закат, красные и невидящие. Он пробежал мимо, не оглянувшись. — "Эй, — крикнул я вдогонку, — ты куда?" Он не обернулся, но мне, как отзвук, послышалось: — "Не знаю!" — "А откуда?" — спохватился я спросить и даже пробежал немного вдогонку, чтобы не упустить ответ; но босым, уже израненным пяткам было больно, он удалялся спиной к закату, замедленным, высоко подпрыгивающим, зависающим в воздухе шагом, и ответа я не услышал.

Закат отражался, дробясь, в окнах, которые оставались целыми и не заколоченными; наконец в одном из них, повернутом в тень, я увидел слабый внутренний свет, тоже багровый, как глаз животного; другие, рядом, были слепы. Дом был одноэтажный, длинный, вроде барака. Из трубы на крыше шел небольшой белый дым. Поколебавшись, я вошел внутрь. Хотя я и боялся своих товарищей, мне уже просто надо было кого-нибудь видеть; может, они знают больше меня, вообще уже все поняли и мне расскажут. Конечно, была опасность, что им опять захочется меня мучить, поэтому я постарался войти тихо. Темный коридор едва освещался из маленького оконца в торце. На стенах проступала оголившаяся дранка. Я почувствовал себя в брюхе выпрямившегося удава. Ближняя дверь была приоткрыта, из нее тянуло сладковатым, приторным, тягучим запахом. Я осторожно потянул на себя ручку, так, чтобы замедленный скрип казался естественным звуком. За маленьким предварительным помещением была комната, там топилась печь, огонь из открытой дверцы освещал

нагромождение хлама, отодвинутый к стене стол с грудой неразборчивых предметов. На плите, в большом чугушке без крышки что-то булькало среди тишины, белый пар поднимался над варевом, тягуче и сладко расплзался по воздуху. На полу у стены полусидели, полулежали несколько человек, точно сосчитать в этом свете я не мог, потому что из общего темного скопления выявлялась вдруг от игры печного огня то в одном, то в другом месте голова или иная часть тела, которой здесь нельзя было даже предположить, потом исчезала, сливаясь с сумраком. Нижняя часть скопления неразлично переходила в кучу тряпья, а может, одеял или подушек, из которых лезла длинная волокнистая вата, и не просто лезла, а разрасталась, тянулась вверх, обволакивала тела. Время от времени кто-нибудь затягивался куревом, тогда освещалось лицо, заросшее дикой щетиной, но мне не удавалось различить глаза, уловить хотя бы в тени их влажный блеск — может, они были закрыты? Я понимал, что они должны быть мне знакомы, но чувствовал, что не узнаю никого и не помню по имени, как будто они явились из другой жизни. На мое появление тоже никто не откликнулся — словно не заметили и не осознали, что кто-то вошел. Я остановился у дверей. Сквозняк тянул белый пар или дым в мою сторону, приторный запах вызывал во рту густую слюну, он ощущался вначале как что-то чужеродное, тягучее, набившееся внутрь, а потом вдруг растворился, на его месте оказалась легкость и пустота, голова закружилась, ее потянуло вверх, как шар с воздушным газом внутри, и очень хорошо, потому что ослабевшая шея не смогла бы ее удержать; ноги тоже расслабились, точно жеваная резинка, я прислонился всем телом к дощатой стене, чтобы устоять, и тут в затылок мне, как клювом изнутри яйца, стал толкаться стук, и я услышал громкий, непонятно знакомый шепот.

То есть мне, конечно, лишь показалось, что он знаком, мне просто сразу вспомнился голос воспитательницы Аделаиды Макаровны, хотя она никогда не говорила мне шепотом, да еще на чужом, как будто иностранном языке, слова были совершенно непонятны, хотя звучали отчетливо, даже усиленно, как все в этой комнате, точно в пустоте гулкой бочки, и в то же время

внутри моего собственного затылка. Просто это был женский шепот, и потому я подумал про Аделаиду Макаровну. Мне даже показалось, что не зная слов этого языка, я понимаю их смысл, как будто он тут же в затылке у меня и рождался. Стук и шепот повторился еще громче, я вздрогнул от мысли, что и эти в комнате его слышат. Нет, там не прибавилось ни шевеления. Я с усилием отлепился от стены, держась за нее, повернулся к месту, где был мой затылок. Шепот, отделившись от затылка, позвучал теперь изнутри стены. Я действительно понимал его, не переводя: он просил выпустить. Стена была из узких, тесно подогнанных вертикальных дощечек, в одном месте вдоль шла такая же вертикальная щель. Взгляд, тяжелея, опустился по ней — и уперся в поперечную щеколду, она закреплялась металлическим штырем и закрывала дверь в застенный чулан. Я попробовал шевельнуть штырь, но тут хриплое восклицание угрозы донеслось до меня из помещения. Язык тоже был незнаком мне, но совершенно понятен. Я стал поворачиваться теперь на этот звук, но голос из-за стены вмешался опять, уже не заботясь о шепоте.

— Не слушай их, — сказал этот голос. — Не бойся. Они уже ничего не могут.

Я все еще поворачивался, восхищенный новой способностью проникать в смысл впервые слышанного языка. В комнате как будто стало светлей. Ватные волокна еще выше расползлись по телам у стены; в красноглазых пещерных отсветах они сами казались багровыми. Из поверхности стола в углу выросла длинная, как щупалец, рука, пальцы, сжатые в кулак, разжались, точно распутившийся цветок — на запрокинутой вверх ладони, как в вазе, открылось круглое яблоко.

— Эй, — торопил меня запертый голос, — выпусти скорей, пока сам держишься.

Новый поворот дался мне с большим трудом. Ноги закручивались одна за другую, руки были как из ненадежной мягкой резины, они пытались тянуть штырь из моего живота, но вместо этого сами растягивались, утончались, так, что я уже боялся, не порвутся ли, тем более что плечи удавалось поднимать все выше и выше, почти к потолку, пока не лопнуло, не оторвалось что-то — к счастью, это были не руки. Стена передо мной от-

крылась; внутри, в черном чреве, высветилось в багровых отблесках тело женщины без одежды, неожиданное, невыносимое. Стены оплывали, красные зрачки многоголового и многоглазого существа перемигивались с разных сторон. Чья-то рука потянулась, как хобот, за яблоком и взяла его из глубины. Загрохотал и раскатился обвал мужских голосов, меня потащило спиной вперед, сквозь стену, и еще одну, выволокло в темноту чистого живительного воздуха.

Боль в босых пятках вернула меня к себе. Я обнаружил, что ноги мои сами идут, не спрашивая куда, и кто-то сильно поддерживает меня снизу за предплечье. Я не сразу решился посмотреть в ту сторону. Тело женщины было теперь укрыто чем-то накинутым на плечи, может быть, одеялом, которое она придерживала у горла свободной рукой. Мне показалось, ее трясет, потом я понял, что она смеется. Смех, как дрожь, передался через руку мне, я тоже засмеялся, а она вдруг перестала.

— Ты чего? — спросила она.

— Не знаю, — сказал я. — А ты чего?

— Тоже не знаю. — Ее затрясло снова. — Не помню. Забыла. Ничего не могу вспомнить.

— А чего вспоминать? — сказал я. — Ничего не надо. Вот ты говоришь, а я понимаю твой язык. Никогда не знал, а просто понимаю. Откуда это вошло в меня? Теперь не нужно больше угадывать никаких слов. Я сам могу все называть. Вот это дом. Я его тоже знаю. В него можно войти. Можно зажечь свечу... А что это тикает?

— Где?

— Вот тут, у меня в руке?

— У тебя в руке яблоко.

Я посмотрел: верно. Яблоко было теплое, как пальцы, и словно пульсировало вместе с жилкой на моей собственной ладони. Так бывает, знаете? — когда не понимаешь, где бьется жилка, на твоей коже или на предмете, к которому она прикасается.

— Что ты опять смеешься? — спросила она.

— Так. Я думал: кто его взял? Думал, это мне привиделось. А оказывается, нет. Я сам его взял. Его можно съесть. Хочешь?

— Не надо.

— Почему?

— Не помню. Но не надо. Кажется, от этого могут быть дети.

— У меня?

— Нет, тебе можно.

— Я только попробую.

— Попробуй.

Она смотрела, как я откусываю большой кусок — и вдруг, вскрикнув, показала пальцем: из серединки яблока поднимал верхнюю часть туловища крупный белый червяк. Я быстро стряхнул его.

— Ты чего испугалась?

— Не знаю... А ты можешь сказать, кто ты?

— Могу. Я новый человек. Я новобранец. Меня взяли служить, хотя у меня дырка в голове.

— Где?

— Вот тут, потрогай.

Она протянула пальцы к моему темени, одеяло соскользнуло с плеча, от голой кожи дохнуло теплом, от прикосновения руки я как будто снова ослаб. Она поскорей отняла пальцы.

— Ничего у тебя нет.

— Значит, заросло... Я новый. Мы оба новые, да? — Я не мог понять собственного волнения и восторга: может, так чувствуют себя пьяные. Вдруг я увидел червя. Он стал гораздо больше, чем казался, пока был в яблоке, и переползал теперь с ее одеяла ко мне на рубашку. Она сначала не поняла, куда я смотрю. Потом увидела и отпрянула. Червь был теперь у меня на спине, я не мог его видеть, но не хотел, чтоб она боялась. Поэтому я снял рубашку вместе с червем и отбросил в сторону.

Женщина вдруг быстро наклонилась к свече и сдула с фитиля большой, в полкомнаты, свет.

— Не хочу смотреть... не хочу, чтоб смотрели, — услышал я из темноты ее дрожащий шепот. — Пусть будет темно. Что молчишь? А? Где ты? Иди сюда... Где ты?

Тикало откуда-то время, начавшее новый ход без всяких часов, шуршало, скользя по половицам, растущее на ходу чешуйчатое тело, голос женщины искал меня из темноты:

— Где же ты? Хоть подай голос. Будет не так страшно... ну, наконец... ну, вот... только этого не надо... не надо, чтоб были дети... нельзя, чтоб что-то дальше... пусть все на нас кончится... ну, зачем же ты так? ну зачем?.. нельзя же, чтоб все сначала...

1990

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Пою высокий тещин огород,
Где овощи, посаженные густо,
Берут балтийский воздух в оборот,
Накачивая мускулы до хруста,
Где на глазах дорodneет капуста
И клубень разложившийся цветет,
Где горькая Ахматова растет
В глухой тени.

Вне века и искусства.

* * *

Как древний грек, я по уши в судьбе,
Как иудей, я в кулаке Иеговы,
Но грех отчаянья несу к Тебе,
В лицо Твое вживаясь при ходьбе,
Прости мне, Господи, мои оковы,
Когда небесный лабух седобровый
Финал Твоей поэмы оркестровой
Отчаянно исполнит на трубе.

* * *

Когда зима, и крошки на столе,
И сын выпиливает звук на скрипке
И на руках его созрели цыпки
И время, как лимонное желе
Подрагивает в битой пиале,
И у предметов очертанья зыбки —

**Леонид
Раскин**

— родился в 1955 году в Москве. Окончил Московский институт культуры. Публикуется впервые.

Тогда я чувствую тепло Твоей улыбки,
Свершившейся, возможно, на земле.

ЗЕМНАЯ ПЕСЕНКА АДАМА

И холодно и глупо, как в аду,
И дождь дудит в осеннюю дуду,
То думу выдувая, то беду,
 Со слухом не в ладу.

А я тебе в две рифмы напою
Июльскую мелодию мою,
Что мыслью и любовью напою,
 Как яблоню в раю.

Борис Братусь

ЗАКАТ «ИМПЕРИИ ЗЛА» ГЛАЗАМИ ПСИХОЛОГА

Будучи как и многие беспартийные не то что невыездным, но — по крайней мере — полувыездным, в капиталистический мир я попал впервые лишь сорокапятилетним — весной 1990 года. Это была недельная поездка на конгресс в Финляндию, в Лахти. Помню, как ранним утром бродил по просыпающемуся городку, его ухоженным улицам, смотрел в чистые окна домов, разглядывал ладно одетых людей, изобильные витрины и с горечью думал о том, что это ведь некогда отсталая окраина Российской империи и как намного ушла она теперь вперед в образе и качестве своей жизни.

Горечь советского (тогда еще советского) человека за границей вполне понятна и давно описана. Здесь возможны даже депрессивные состояния и психические отклонения. Еще бы — после ежедневной жизни-борьбы, жизни-унижения, жизни-добывания самого необходимого, жизни-невозможности свершения задуманного попадаешь в жизнь, где все как бы к твоим услугам, где ценится и охраняется личность и твое профессиональное слово, где не надо стоять часами за элементарными продуктами, где наукой управляют ученые, а не чиновники. Впрочем, каждый "ломается" за границей на своем — домохозяйки вдруг начинают истерически рыдать а продовольственных магазинах, кого-то трогает повсеместная

**Борис
Братусь**

— родился в 1945 г. в Москве. Окончил психологический факультет МГУ. Доктор психологических наук, профессор МГУ, заведующий лабораторией Психологического института Российской Академии образования. Действительный член Академии естественных наук Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования. Автор десяти книг по психологии.

вежливость и уважение, кто-то сдается при виде того, как специальным шампунем со щетками моется тротуар.

Конференция, на которой я был, также имела отличия от советских. Все было строго регламентировано, начиналось и кончалось по минутам вовремя, делались специальные паузы на кофе, которые могли прервать ход дискуссии на любом месте. Ничто вообще в этой конференции не выходило за грань, всё было расписано заранее. Особо поразило то, что перед пленарным заседанием обычно всем раздавался текст доклада, затем выходил докладчик и слово в слово зачитывал свой текст вслух, а сидящие в зале тоже читали этот же текст (или следили за тем, правильно ли его читает докладчик?), и проносился дружный шелест по всему залу в момент, когда докладчик заканчивал прочтение очередной страницы и переводил ее, приступая к следующей, что синхронно повторялось присутствующими. Профессор З. из нашей делегации, чей доклад также был поставлен в программу пленарного заседания, принципиально отказался от такого способа — "Отродясь не читал докладов по бумажке", — и начал говорить в свободной, импровизированной манере. Публика стала откровенно покидать зал.

Через год, весной 1991 года я снова оказался на Западе, на этот раз в Германии, и пробыл там уже не мимоходом, а полгода. Изменилась с 1990 года внешняя ситуация. Перестройка достигла апогея (или агонии?), интерес к России стал повсеместным, но одновременно росло и недоумение, непонимание происходящего, подспудное, порой тщательно маскируемое разочарование и раздражение. По западногерманскому телевидению показывали оставленные советской армией казармы в Германии — грязь, свалка посреди двора, искореженные трубы, побитые унитазы; показывали очереди в Москве, в других городах, спекуляцию, пустые витрины магазинов, опустившихся людей, валяющихся на улице пьяных. Все картины привычные, обычные для нашей жизни, но для их глаз и восприятия — нечто дикое, ужасающее, труднопонимаемое. Вместо таинственной и романтической России открывалось совсем иное. 70 лет назад Россия сокрылась во мгле, если использовать образ Уэллса, и теперь появилась из мглы совершенно другой, нежели привыкли ее представлять и думать о ней это время.

Если говорить о стадиях восприятия перестроечных перемен, то их было несколько. Вначале — удивление, даже, точнее, ошеломление от происходящего. Помню первые телемосты, жадное рассматривание людей "оттуда", субъективное открытие всеми, что по ту сторону такие же люди, у них две ноги, две руки и одно сердце. Это сердце открывалось, оттаивало после лет вражды, и, наконец, миром овладела эйфория,

когда всем казалось, что появились невиданные и радостные перспективы совместной жизни в объединенной Европе. "Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной". Затем эта эйфория рассеялась и начала сменяться ощущением тревоги, нарастающими опасениями и даже страхом. Я и застал в Германии зарождение этой последней стадии. На глазах изумленного мира огромная империя, сверхдержава стала распадаться; разваливаться, терять управление и возможности контроля над происходящим, миллиардные валютные вливания и помощь Запада проваливались, как в черную дыру, мир не стал безопасней, напротив, появились новые очаги войн, в самой стране стало неуклонно падать производство и расти цены, падать авторитет власти и расти преступность, коммунизм, казалось бы освященный, побежденный и изгнанный, вновь начал бродить по державе — и отнюдь не бесплотной тенью, а вполне конкретными толпами людей под красными знаменами... Некоторые на Западе уже стали подумывать, а не легче ли было иметь дело пусть с агрессивным и кичливым, но все же единым Советским Союзом, чем с этой массой амбициозных и конфронтующих друг с другом стран, легко меняющих свои решения и не имеющих практически никаких гарантий надежности и стабильности развития. "Верхняя Вольта с ракетами", — так некогда определяли западные злословы Советский Союз. Теперь на месте одной — несколько, еще более нищих и диких "Верхних Вольт с ракетами", готовыми быть направленными (и уже направленными в ряде мест) друг против друга, а то и мира внешнего.

Не мудрено, что политики и экономисты пытаются сейчас понять, осмыслить суть происшедшего, найти хоть какую-то почву для возможных прогнозов. Разумеется, эти попытки необыкновенно важны и значимы. Однако становится все более ясным, что выходы из кризиса и наше будущее развитие зависят не только от экономики и политики, и даже не столько от этого, сколько от того — какого рода люди будут строить это будущее, что они смогут дать друг другу в человеческом и духовных планах. Проблема, таким образом, имеет несомненный индивидуально-психологический аспект, без рассмотрения которого она просто не может быть понята во всей целостности.

* * *

Первое, с чего надо начать знакомство с психологическими причинами происходящего — это различие психологии двух последовательных эпох, двух культур — русской и сменившей ее советской.

Насколько, однако, правомерна такая постановка и может ли психолог со своим скромным арсеналом претендовать на анализ столь сложного и многомерного понятия, как культура?

Думаю, что такой ход возможен, ведь в конце концов народы и общества можно уподобить нравственным личностям, о чем говорил еще П.Я.Чаадаев¹. А коли так, то психолог может попытаться проанализировать отдельную личность — личность как нравственное образование.

В этом плане мы и возьмем две последовательные эпохи. — русскую, дореволюционную и советскую, чтобы понять — какие типы нравственного сознания им соответствовали. Сразу и настоятельно подчеркнем, что речь пойдет не о всем многообразии вариантов нравственного сознания, могущих наличествовать в том или ином виде культуры, а о типе доминирующем, эталонном — том, к которому стремилась (быть может и не всегда успешно) культура, о котором она мечтала, в котором хотела опредметиться, олицетвориться, запечатлеться.

Начнем, как и в каждом психологическом анализе, с некоторой феноменологии, описания внешних проявлений.

Если обратиться к классической русской литературе и другим памятникам и источникам культуры, то станет достаточно очевидным, что в качестве существенных черт русского типа подразумевались тонкая душевная организация, ранимость, лиризм. Обратившись же к источникам советской культуры, так же с достаточной очевидностью можно увидеть в советском типе огрубленность, отсутствие тонкости и лиризма. Для русского типа почиталось ценным понятие жалости, милосердия, сострадания к униженным и оскорбленным. Достаточно напомнить, что на памятнике Пушкину выбиты слова, как бы подытоживающие его основную ценность для России: "И долго буду тем любезен я народу, // Что чувства добрые я лирой пробуждал, // Что в мой жестокий век восславил я свободу // И милость к падшим призывал". Иное прославлялось и формировалось в качестве идеала и устремления у советского типа. Интересно сравнить в этом плане даже внешние облики двух московских памятников-соседей: Пушкину — величайшему русскому национальному поэту и памятник Маяковскому, по вердикту Сталина — величайшему поэту советской эпохи. Задумчивый, как бы ушедший в себя Пушкин и развернутый к бою, грудь вперед, "агитатор, горлан, главарь" Маяковский. И даже не важно, что современник

¹ "Народы в такой мере нравственные существа, как отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы". (П.Я.Чаадаев. *Статьи и письма*. М., 1989, с. 44).

и знакомый Маяковского Илья Эренбург писал в начале шестидесятых, что проезжая ежедневно (он жил неподалеку) мимо памятника Маяковскому, он видит на постаменте человека, которого никогда не знал таким в жизни. Может быть и Пушкин был редок в той позе и манере, в какой его поставил Опекушин напротив Страстного монастыря. Дело в данном случае в самом Образе Поэта, выразителя и водителя дум, как он виделся, символизировался в двух культурах. И если Пушкин звал к милости, то Маяковский к расправе, передавая в качестве аргумента последнее слово "товарищу маузеру". Сопоставление будет неполным, если особо не отметить, что для русской культуры был характерен возвышенный идеализм и религиозность. Для советской — материализм и воинствующий атеизм.

Во избежание недоразумений подчеркнем еще раз, что речь идет не обо всех, конечно, людях, живших в России или Советском Союзе, а лишь о типе русского человека и о типе советского человека, т.е. о том, к чему стремились и куда призывали русскую душу ее духовная история, идеология и жизнь. И о том, к чему стремилась и что насаждала вся советская история, идеология и жизнь. Иными словами, речь идет о направленностях, типах культуры, кристаллизуемых в определенных нравственных образах личности.

До сих пор речь шла о внешних, феноменологических различиях, но за ними должны лежать, очевидно, и какие-то вполне определенные внутренние, структурные. Попробуем рассмотреть их, сформулировав для этого некоторые исходные психологические основания.

Важнейшим для характеристики личности является типичный, преобладающий для нее способ отношения к другому человеку, другим людям и — соответственно — к самому себе. Из этого исходили многие авторы, но применительно к психологии наиболее проникновенно запечатлен этот принцип, пожалуй, у С.Л.Рубинштейна: "...Первейшее из первых условий жизни человека — это другой человек. Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. "Сердце" человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего он стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому человеку он способен устанавливать. Психологический анализ человеческой жизни, направленный на раскрытие отношений человека к другим людям, составляет ядро подлинной психологии. Здесь вместе с тем область "стыка" психологии с этикой"².

² Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957, с. 262 — 263.

Исходя из доминирующего способа отношения к себе и другому, можно наметить несколько принципиальных уровней в структуре личности³.

Первый уровень — *эгоцентрический*. Он определяется преимущественным стремлением лишь к собственному удобству, выгоде, престижу. Отношение к себе здесь — как к единице, самооценности, а отношение к другим сугубо потребительское — лишь в зависимости от того, помогает ли другой личному успеху или нет. Если помогает, то он оценивается положительно, если не помогает, препятствует, затрудняет, то отрицательно — как "плохой", "враг".

Следующий, качественно иной уровень — *группоцентрический*. Человек, тяготеющий к этому уровню, идентифицирует себя с какой-либо группой и отношение его к другим людям тесно зависит от того, входят ли эти другие в его группу или нет. Группа при этом может быть самой разнообразной, не только маленькой, узкой как семья, например, но достаточно большой — например, целая нация, народ, класс. Если другой входит в такую группу, то он обладает свойством самооценности (вернее "группоценности", ибо ценен не сам по себе, а своей принадлежностью, родством группе), достоин жалости, сострадания, уважения, снисхождения, прощения, любви. Если же этот "другой" в "нашу" группу не входит, то эти чувства могут на него не распространяться.

Следующий уровень мы назовем *просоциальным* или *гуманистическим*. Для человека, который достигает этого уровня, отношение к другому уже не определяется тем лишь, принадлежит он к определенной группе или нет. За каждым человеком, пусть даже далеким, не входящим в мою группу, подразумевается самооценность и равенство его в отношении прав, свобод и обязанностей. В отличие от предыдущего уровня, где смысловая, личностная направленность ограничена пользой, благосостоянием, укреплением позиций относительно замкнутой группы, подлинно просоциальный уровень, в особенности его высшие ступени, характеризуются внутренней смысловой устремленностью человека на создание таких результатов (продуктов труда, деятельности, общения, познания), которые принесут равное благо другим, даже лично ему незнакомым, "чужим", "дальним" людям, обществу, человечеству в целом.

Если на первом описанном выше уровне другой человек выступает как вещь, как подножие эгоцентрических желаний, если на втором — другие делятся на круг "своих", обладающих самооценностью, и "чужих", ее лишенных, то на третьем

³ См. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности. М., 1986; его же — Аномалии личности. М., 1988.

уровне принцип самооценности человека становится всеобщим. По сути, только с этого уровня можно говорить о нравственности, только здесь начинается выполняться старое "золотое правило" этики — поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой, — правило, определившее и знаменитый категорический императив Канта, согласно которому максима, правило твоего поведения должно быть равнопригодно для всего человечества. На стадиях предыдущих речи о нравственности, в сущности, еще нет, хотя, можно, разумеется, говорить о морали — эгоцентрической или групповой, корпоративной.

Просоциальная, гуманистическая ступень — казалось бы высшая из возможных для развития личности. Однако над этой замечательной и высокой ступенью есть еще одна. Ее можно назвать *духовной* или *эсхатологической*. На этой ступени человек начинает осознавать и смотреть на себя и другого не как на конечные и смертные существа, но как на существа особого рода, связанные, подобные, соотносимые с духовным миром. Как на существа, жизнь которых не кончается вместе с концом жизни земной. Иными словами — это уровень, в рамках которого решаются субъективные отношения человека с Богом, устанавливается личная формула связи с Ним. Если говорить о христианской традиции, то субъект приходит здесь к пониманию человека как образа и подобия Божия, поэтому другой человек приобретает в его глазах не только гуманистическую, разумную, общечеловеческую, но и особую сакральную, божественную ценность.

Понятно, что на каждой ступени меняется представление человека о благе и счастье. На первой ступени (эгоцентрической) это личное благо и счастье вне существенной зависимости от того — счастливы или несчастны другие. (Лучше даже, если они несчастны, — на их фоне ярче сияет твое счастье).

На второй ступени благо и счастье связаны с процветанием той группы, с которой идентифицирует себя человек. Он не может быть счастлив, если терпит несчастье его группа. В то же время, если терпят ущерб и несчастье люди, не входящие в его группу — это мало влияет на ощущение его счастья.

На третьей ступени счастье и благополучие подразумевает их распространение на всех людей, все человечество. Наконец, на четвертой ступени к этому прибавляется ощущение связи с Богом и представление о счастье как служении Богу и соединении с Ним.

Чтобы приблизиться к пониманию реальной сложности проблемы, необходимо также добавить, что помимо намеченной вертикали души, ее подъемных уровней, существует как бы некая шкала степеней *присвоенности* тех или иных

смысловых содержаний и мотивационных устремлений, принадлежащих к разным уровням. Так, можно говорить о неустойчивых, *ситуативных* смысловых содержаниях, характеризующихся эпизодичностью, зависимостью от внешних обстоятельств; далее — об *устойчивых* смысловых содержаниях, вошедших, вплетенных в общую структуру смысловой сферы и, наконец, о *личностных ценностях*, определяемых как осознанные и принятые человеком наиболее общие, генерализованные смыслы его жизни⁴.

Если уровни смысловой сферы составляют вертикаль, своего рода ординату сетки смысловых отношений, то намеченные степени присвоенности их личностью (ситуативная, устойчивая, личностно-ценностная) можно представить в виде горизонтали, абсциссы этой сетки. Поэтому одно и то же внутреннее смысловое побуждение или его внешнее проявление, деяние, поступок могут иметь разное внутреннее обоснование и душевный резонанс в зависимости от того, являются ли они сугубо ситуационно обусловленными или есть следствие выстраданных и сознательно исповедуемых личностью ценностей. Это обстоятельство весьма осложняет характеристику душевной жизни, делая ее ареной внутренней борьбы разных тенденций, уровней и направлений, с той или иной степенью интенсивности заявляющих о себе. Вспомним афоризм: "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо". Если каждого строго "разобрать" на составляющие его желания, помыслы, потребности и печали, то отдельные детали этой конструкции под названием "душа человеческая" окажутся, во-первых, во многом сходными, а во-вторых, их набор, наименование — во многом одинаковыми. Важны не выхваченные из контекста отдельные части, а их неповторимое соотношение, сочетание, общая устремленность, противоборство, которые и составляют захватывающую картину человеческого духа, его восхождение или нисхождение, подвижничество или прозябание, подвиг или падение.

Поэтому я весьма далек от мысли, что людей можно расклассифицировать, расставить каждого на определенной ступени. Все четыре уровня так или иначе присутствуют, сожительства в каждом из нас, и в какие-то моменты, хотя бы на время, ситуативно побеждает один уровень, а в какие-то — другой. Однако вполне можно говорить и о некотором типичном для данного человека профиле, типичном устремлении. Так, хотя выраженного эгоцентриста могут вполне посещать и группоцентрические, и гуманистические, и даже духовные порывы, однако они, как правило, проигрывают, тер-

⁴ Наилучшая, пожалуй, формула личностных ценностей — это знаменитые слова Лютера: "Я на том стою и не могу иначе".

пят поражение, отступают в реальной жизни перед мотивами эгоцентрическими, успешными приобрести в его душе статус личностных ценностей.

Можно использовать здесь для иллюстрации и церковный образ "прозрачности" человека. Эгоцентрист по большей части прозрачен, открыт именно для эгоцентрических побуждений, тогда как в отношении вышележащих уровней он замутнен, неверен, случаен, видит их как бы в дымке, искажении, дурном преломлении. Подъем по ступеням развития личности — это все большая открытость, прозрачность человека ко все более высоким смыслообразующим уровням. Духовная, эсхатологическая ступень делает человека открытым, прозрачным самому Богу. Это может произойти ситуативно, на время и далее замутиться надолго, а может стать и относительно постоянным состоянием. Вот тогда-то мы видим и говорим, что человек светится весь, излучает добро и свет, став прозрачным для самого Бога.

Надо ли добавлять, что человек просоциального или духовного склада отнюдь не пребывает в некой идеальной башне из слоновой кости, но ведет тяжкую и постоянную борьбу с нижележащими уровнями души. Это действительно восхождение со всеми его опасностями. И потому эгоцентрист при определенных условиях, подвиге и дерзании души может возвыситься, а духовный, религиозный человек — пасть, низвергнуться в одночасье в бездну.

Теперь, после этого психологического отступления, вернемся к проблеме внутреннего нравственного различия человека русской культуры и человека советского. Добавим к этому для сравнения и человека западного, точнее, центрально- и западно-европейского. Напомним, что речь идет, конечно, о некой абстракции, о том, к чему стремилась соответствующая культура — русская, советская и западная — в качестве своего образца, цели, упования.

Русская культура — в ее магистральном русле — стремилась (при всех издержках) к образованию и реализации в человеке духовного, эсхатологического уровня как главного, определяющего его нравственный облик. Любое дело, чтобы быть признанным, благим, нужным, должно было быть оправдано, соотнесено с христианским намерением, со Христом. Все остальные деяния, пусть и приносящие внешнюю материальную пользу, рассматривались как зло⁵.

⁵ Францию называли прекрасной, а Россию святой вовсе не потому, что в первой все так хороши собой, а во второй все святы, но потому, что во Франции, как нигде, поклонялись красоте и ценили красоту, в России — святость.

Советская культура всей мощью тоталитарной системы формировала (можно сказать грубее и точнее — формовала, прессовала) иной тип личности — группоцентрический. Главными были класс, партия, коммунистическое общество, а все, что вокруг — враги, против которых возможны любые средства борьбы. Все было направлено именно к такой, по сути дела — донравственной позиции.

Западная культура выносила в себе просоциальную, гуманистическую ориентацию. Стремление в идеале нести благо всем людям, человечеству в целом.

Этим ориентациям способствовали и одновременно их отражали весьма многие обстоятельства и условия.

Возьмем, например, западный вариант. Западная государственность формировалась в направлении к торжеству права — такого порядка, при котором каждый член общества был бы в равной степени защищен законом и ответственен перед ним. Поэтому здесь и стали центральными понятия чести, справедливости, закона. Отсюда же — глубокая разработка, реальное правовое, юридическое обеспечение гуманистических ценностей.

Русская история закона почти не знала, она вся пропитана произволом царей, губернатора, любого начальника, любого, как писал Достоевский, дьячка в церкви. Народ, человек по сути всегда чувствовали себя совершенно бесправными. Если человек и мог к чему-то апеллировать, то не к закону, а к совести, состраданию, христианскому милосердию другого. То есть он как бы миновал инстанцию гуманистическую, правовую и апеллировал сразу к духовному уровню. Поэтому в профиле русской души существует как бы своего рода провал, ущерб правового сознания — но именно он вместе с тем способствовал, подталкивал к жизни духовной. Царь мог милловать, а мог казнить. И это зависело не от закона, а от того, внимлет ли он мольбе, просьбе, простит ли он "Христа ради", а не ради такого-то параграфа закона. Ключевым, опорным здесь является, таким образом, слово "совесть".

Что касается советской морали, то она, как сказано, была выражено группоцентрической и ключевым здесь является понятие "классового сознания". То есть для снисхождения или оправдания надо было апеллировать не к закону и чести, не к совести и Богу, но к классовой пользе. (Известно, что некоторые участники показательных процессов 30-х годов брали на себя несуществующую вину только потому, что считали — так будет лучше для коммунистической партии и пролетариата).

Попробуем теперь перейти к тому типу личности — или, точнее, к тому типу культуры с соответствующим, формируемым им, типом личности, который мы находим сейчас в нашей державе в качестве определяющего.

Первый, самый общий ответ — мы живем в обществе пост-тоталитарном, а именно — посткоммунистическом. Второй (тоже, видимо, совершенно очевидной) характеристикой является то, что возникший при этом тип личности, тип культуры является достаточно временным, переходным. И, наконец, третий, во многом слагающийся из двух первых, — это общество, находящееся одновременно в агонии старого и муках рождения нового, это общество краха, слома одной идеологии и культуры и еще несформированности культуры другой.

Если обратиться к психологическому понятийному аппарату, то применительно к личности, ее деятельности аналогичное состояние может быть обозначено как *переходное потребностно-мотивационное состояние*⁶.

Его отличие от периода стабильного бытия в следующем. Потребность необходимо имеет достаточно очерченный предмет, имя: она *поименована*, она всегда потребность *в чем-то* (пище, познании и т.п.). Человек в этом плане — существо разъятое, нужное ему находится вне его, отстоит, отделено пространством, препятствиями, временем, обстоятельствами.

В Древней Греции близкие друзья, расставаясь, разламывали вещь, дощечку с надписью или рисунком и после иногда долгих лет разлуки и странствий, встречаясь вновь, соединяли обе части, ожидавшие одна другую, и вместе, в таком собранном, соединенном состоянии, образовав некое целое, они назывались символом.

Как бы ни была проста или сложна потребность, для осуществления деятельности по ее удовлетворению необходимо построить образ потребного и знать цель, предмет стремления, овладение, соединение с которым становится символом, знаком этой деятельности.

Иное в *переходном* потребностно-мотивационном состоянии. В нем есть желание, стремление, но нет устойчивого, определенного предмета, ему отвечающего. Это стремление как бы говорит — пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Да побыстрее, мне не терпится именно там и это получить.

⁶ Братусь Б.С., Лишин О.В. Закономерности развития деятельности и проблемы психолого-педагогического воздействия на личность. Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология, 1982, № 1.

Человек в подобном состоянии может еще сказать о том, чего он *не* хочет, но не о том, что именно ему действительно нужно. У него нет образа целого, нет образа отъятной половины, стремление к соединению, овладению которой должно стать основой, знаком, символом его осмысленной деятельности. Вот и мечется он в этом состоянии, часто капризничает, дурит, когда мучительно и страстно, а когда лениво и вяло перебирая возможные предметы, как бы прилаживая то одну, то другую половину разбросанных, зашифрованных в бытии символов.

Состояние это весьма опасно. Во-первых, своей тягостностью, возможным отчаянием, а во-вторых, вероятностью обмана, выбора ложного предмета, не отвечающего на деле сути личностного запроса, являющегося ложным символом, символом встречи с врагом, а не с другом. Причем надо отчетливо понимать, что выбор предмета есть на деле выбор пути, ибо нахождение предмета означает конец переходного потребностного состояния и формирование качественно *нового* психологического образования — потребности (т.е. нужды, *знающей* свой предмет), которая в свою очередь побуждает к деятельности по ее удовлетворению. Эта деятельность может длиться годами, прежде чем обнаружится, что предмет был ложным и опасным. Поэтому в кризисе переходных состояний мы на деле выбираем путь, судьбу. Как говорили раньше в словах брачного предложения предмету своей страсти: "Вы можете составить счастье целой жизни". А можете, — добавим мы, — составить и несчастье целой жизни.

* * *

Итак, нынешнее состояние с точки зрения психологии может быть определено как переходное потребностно-мотивационное состояние, которое не знает своего конкретного предмета-пути, не знает себя, но пытается узнать, опредметиться, исходя из наличного, видимого, узнаваемого круга возможных предметов. Идет перебор, увлечение то одним, то другим, но не один из выборов не окончателен, напротив, они меняются с необычной быстротой, и пока все возможно и все крайне неустойчиво. Одно увлечение сменяется другим, и то, что вчера восхвалялось, сегодня — низвергается и подвергается хуле. Налицо все признаки переходной культуры, культуры без культа, без очерченного доминирующего стремления.

Но положение такое не вечно, на то оно и обозначено как переходное. Доминирующие направления, устойчивый предмет будут выбраны, эпоха (как в жизни личности, так и в жизни общества) обретет новый символ, новую судьбу и знак — новый путь. Понятно, что выбор этот при всей его внешней

хаотичности не может быть случаен. Он будет определен как моментами духовного, провидческого плана, о которых пока повременим говорить, так и наличными, реально существующими сегодня в обществе внутриспсихологическими установками.

Что же наиболее характерно для этих установок?

Мы видели, что советская эпоха сформировала группоцентрическую ориентацию общества и личности — и, соответственно, группоцентрические внутренние, часто не осознаваемые установки. Теперь, в нынешних условиях, многие предметы и символы, венчающие эти установки, оказались дискредитированными, потерявшими прежнюю привлекательность. Предметы ушли или поблекли, но установки остаются, ибо они обладают обычно большой инерцией, тяжестью и не меняются в одночасье из-за внешних причин.

И действительно — сейчас мы наблюдаем, казалось бы, резкую, кардинальную перемену символов и увлечений, однако по внутренней своей сути, по смыслу личностных установок, их породивших, они остаются прежними — или, по крайней мере, подобными прежним. В известном плане группоцентризм сейчас не только не преодолен, но, напротив, расцвел, обрел новые формы и воплощения — сепаратизм, национализм, всевозможные формы группования, кучкования и противостояния.

В истории двадцатого века было два чудовищных апофеоза группоцентрической ориентации — коммунизм и фашизм. В основе коммунизма лежит центризм классовой идеи. В основе фашизма — центризм нации. То и другое произрастает из одного психологического корня, из одного соблазна — люциферовой идеи отъединения от общего и гордости за частное. Наша современность только подтверждает эту общность: ныне две эти ветви, первоначально как бы враждебные, соединились — на сцену вышли красно-коричневые. Фашисты и коммунисты сошлись в одном ряду.

Но даже там, где, к счастью, этого не происходит, группоцентризм все равно выдвигается на первое место, пусть в других, более мягких формах. Причем характерно, что группоцентрические, сепаратистские тенденции возглавляют те же коммунистические лидеры, но обычно не первого, явно дискредитировавшего себя, а второго, третьего эшелона власти. Буквально — вторые, третьи секретари ЦК компартий республик, секретари по идеологии и т.п. Причем ратуя ныне за национальную самостоятельность в противовес своим прежним разговорам об интернационализме и единстве Союза, они не очень и кривят душой, ибо с психологической, внутренней стороны продолжают служить все тому же — группоцентрической идее. Сбылось в этом плане пророчество одного

из польских диссидентов: "Национализм — последняя стадия коммунизма".

Злую шутку сыграл группоцентризм и с российским демократическим движением — этой первой посттоталитарной любовью многих. Демократия возможна только на прочной основе правовой государственности, которая в свою очередь порождает и зиждется на просоциальном типе личности как образце, уповании общества. Не имея этой подпоры, демократическое движение с необыкновенной быстротой сползло в тот же группоцентризм, породило новые номенклатурные ряды, привилегии, "демобюрократов" и т.п. (Эти даже хуже прежних, — жалуются предприниматели, — те понахватали свое, а у этих неутоленный аппетит). Сама же "демократичность" свелась к повсеместному ослаблению, атрофии государственной власти и контроля, что обернулось полной незащищенностью людей и отсутствием каких-либо единых правил, гарантий и пределов (недаром в журналистский и житейский обиход вошло ныне слово "беспредел", означающее игнорирование всех правил и отбрасывание всех норм).

На этом фоне романтически окрашенная национальная идея начинает приобретать все больший вес, а демократия подвергается все большей критике. Не берется во внимание при этом, что это явления сугубо разнопорядковые. Демократия — способ правления, а не идея государства, поэтому и национальная идея не только не противоречит демократии, но, напротив, может быть наиболее полно осуществлена именно демократическим путем.

Но группоцентризму (что у той, что у другой стороны) не до этих тонкостей — важно поскорей разделить на ваших и наших, а то, что в одном случае речь идет о колесах экипажа, а в другом о том, куда ему ехать, не различается спорящими. Одни спешат сесть в экипаж без колес, а другие так увлеклись испытанием и прилаживанием колес, что и думать не хотят о целях и значении путешествия. Последние при этом, если продолжить аналогию, вместо круглых колес пока упорно экспериментируют с квадратными или вдруг пускают шаткую, на живую нитку слепленную повозку под горку, не соорудив тормоза. И все неудобства и опасности (прямо скажем, смертельные) такой езды люди связывают с именем, присвоенным экспериментаторами этой повозке — с демократией, которая имеет на деле мало общего с этим диким сооружением и которая прошла проверку веками не только на путях и пространствах западных и заморских стран, но и нашей собственной историей (принцип общинности, соборность, вечевая республика Новгорода).

Можно ли, однако, сказать, что национализм и сепаратизм — это и есть то предметное содержание, что, скорее всего, разрешит кризис переходного состояния, станет культом новой культуры, сформирует устойчивую потребность и устойчивое стремление к деятельности по ее удовлетворению?

Весьма на то похоже, однако надо отдавать себе полный отчет, что эта установка, будучи до конца и последовательно осуществленной, таит в себе чрезвычайные опасности. Как этап, как важная, но промежуточная ступень возрождения, она по сути дела, неизбежна, но застывание, стагнация на этом уровне ведет к тупику, к двум отмеченным формам последовательного группоцентризма — к коммунизму и фашизму или к их смешениям. Искать какую-либо новую, благую форму группоцентризма, возведенного в ранг государственности — занятие сомнительное. Хватит с нас того, что мы три четверти двадцатого века служили полигоном коммунизма. Путь же фашизма — от самых ранних, внешне невинных форм до катастрофы — продемонстрировала Германия, оказавшаяся, правда, по сравнению с нами в лучшем положении — там эта чума свирепствовала только 12 лет.⁷

Положение и перспективы будущего представлялись бы крайне удручающими (а именно так они видятся сейчас большинству), если бы не еще одна линия поиска предметов разрешения кризиса — линия духовных исканий. Правда, и здесь царит пока полный хаос и смешение. В московских метро и на бортах троллейбусов висят красочные плакаты, прославляющие Бхагават-гиту и Кришну, на книжных лотках пособия по черной магии соседствуют с сочинениями отцов православной церкви, в Кремлевском дворце проповедуют заезжие американские протестанты, поклонники корейца Муна закупают роскошные помещения для своих миссий, открываются бесчисленные академии, университеты йоги, гипноза, самоизлечения, духовной культуры и т.д. Все это движется,

⁷ Однако невосполнимый ущерб для той же Германии чувствуется до сих пор. Лишь небольшой штрих. До войны все резюме в научных журналах печатались на немецком языке. Несомненен был приоритет германской науки во многих ведущих областях, в том числе в психологии. Америка была, по сути, во многом культурной и научной провинцией. С приходом фашизма (т.е. крайнего и последовательного национализма) многие ведущие ученые Германии эмигрировали в Америку, и лишь тогда она стала обретать статус первой научной державы. Побывав в Германии теперь, я обнаружил у многих академических психологов почти рабское преклонение перед Америкой. Поддержку получает часто лишь то, что принято, модно сейчас "там" — в Америке. Признаться, мне было просто обидно за самосознание некогда славной германской психологии.

перепутано, популярность направлений то поднимается, то резко падает. Словом, и здесь — типичное переходное потребностно-мотивационное состояние без устоявшихся пока линий и приоритетов.

Прежде чем попытаться разобраться в этом хаосе, зададимся следующим существенным вопросом — какая из двух намеченных групп устремлений нашего переходного состояния главная, ведущая — политико-социальная или духовная? Что должно вести сейчас нашу жизнь — сфера политико-экономическая (а духовная — лишь сопровождать, оттенять, ограждать от крайностей, окультурировать ее) или устремления духовные (а политика и экономика — лишь реализовывать, подчиняться, определяться ею)?

Вопрос в нынешней ситуации кажется излишним, а сама постановка либо наивной, либо прекраснодушной, маниловской. Страна на грани (или уже за гранью) краха, — до проблем ли приоритета духовности сейчас? Конечно, почему бы не поговорить, почему бы не уделить внимание, не поинтересоваться этим в меру, но ведь главное — людей надо обути и накормить, поля засеять и убрать, машины заправить бензином, преступность обуздать, медицине дать лекарства, просвещению средства и т.д. и т.п.⁸...

При этом, конечно, смотрят на Запад — с его чистой, ухоженной, приличной жизнью. Нам бы хоть приблизиться к этому, передохнуть от грязи, хамства, бескормицы и беспорядка, тогда уже и духовность подтянем, а пока что не до привлекательных иллюзий.

Однако в этом очевидном, единственно, казалось бы, реалистическом сейчас ответе кроется на деле роковой изъян и роковая иллюзия. Роковая, по сути, для всего человечества. Вспомним первое искушение Христа в пустыне. После сорокодневного поста Иисус как писано в Евангелии, был очень голоден, и дьявол подступил к Нему: "Преврати эти камни в хлеба". На что Спаситель ответил: "Не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих".

Мы ли сейчас не голодны на все — на вещи, продукты, порядок, благополучие, уважение, нам ли не стремиться к превращению камней в хлеба? Так сделаем же сейчас все, чтобы утолить хоть на толику сей голод...

Однако вспомним, кто искушает и Кто отвергает искушение. Искушает враг человека, многократно и всегда со времен Адама ведущий к гибели, ведущий через очевидные, реаль-

⁸ Вот типичный пассаж, наугад взятый из последнего номера популярного журнала: "Нужно *вначале* (подчеркнуто в тексте — Б.Б.) сделать страну богатой, а потом уже думать о величии" (речь идет о величии культуры России).

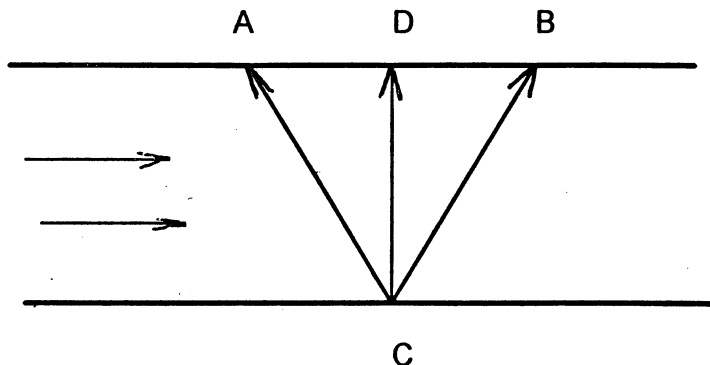
ные и понятные потребности и видимость правды. Отвергает Спаситель, многократно и всегда во веки веков ведущий к истинной жизни, указующий пример и путь ("Я есмь путь"). Какое же направление избрать нам, что предпочтем, зная конечные пункты движения — смерть или Жизнь?

Но есть-то все же хочется, — возразят, — и одеться, и благами цивилизации попользоваться! Что ж — вместо подъема экономики молитвы читать, да поклоны перед образами класть?

Возражение, конечно, серьезное. При одном, однако, условии. Если рассматривать духовность как нечто отделенное от повседневной жизни, забот, трудов, созидательной деятельности. Но обратимся еще раз к психологии и постараемся с ее помощью рассмотреть эту коллизию.

Воспользуемся для наглядности следующим образом. При обсуждении картины Николая Рериха "Гонец" Л.Н.Толстой не столько, видимо, о самой картине, сколько в жизненное напутствие еще молодому тогда художнику сказал: "Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так в области нравственных требований надо рулить всегда выше — жизнь все несет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет"⁹.

Представим сказанное в виде простой схемы:



Река бытия, жизни с ее сильным течением, сносящим к низшему; субъект (C) и цель, которую он хочет достичь (D). Парадокс состоит в том, что добросовестно устремляясь к этой цели, субъект достичь ее не сможет, но окажется ниже (например, в точке B), подчас — много ниже того, к чему

⁹ Рерих Н.К. Из литературного наследия. М., 1974. С. 109.

стремился. И чтобы достичь в конце концов намеченного, он должен ставить себе иные, куда более высокие, превосходящие цели (А).

Эта модель может быть распространена как на отдельные нравственные судьбы, так и на целые исторические эпохи, в том числе и на роковую для нас эпоху материализма.

Действительно, победившая линия материализма имела же некоторое начало реализации, некоторую точку опоры, слово, идею, которая стала знаменем, символом, первым толчком к пути, приведшим спустя десятилетия к нынешнему краху. Этим началом можно условно считать сформулированную Фейербахом и развитую Марксом и Энгельсом мысль о том, что не следует заниматься более отвлеченными, завышенными, заоблачными представлениями о человеке, его религии, нравственных идеалах, а надо думать о человеке реальном, как он есть. Подчеркивая приоритет именно Фейербаха в этой идее, в этом повороте, Маркс и Энгельс пишут в своем совместном произведении ("Святое семейство, или Критика критической критики" — 1844 г.): "Кто поставил на место старой рухляди, в том числе и на место "бесконечного самосознания" — не "значение человека" (как будто человек имеет еще какое-то другое значение, чем то, что он человек!), а самого "человека"? Фейербах и только Фейербах". Отсюда и началась философская, идейная, а затем и вдохновленная ею политическая борьба за тот, словами К.Маркса, "строй общественного жизненного процесса", который "сбросит с себя мистическое туманное покрывало, ...станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находится под их сознательным планомерным контролем".

Казалось бы, что же тут плохого, о каком начале трагедии можно вести речь? Напротив — это начало подлинной заботы о человеке и реального гуманизма, планомерно осуществляемого на благо людей.

Но посмотрим на нашу схему. Это же было не что иное, как направление в некую точку "Д", в точку разумного, приличного, благополучного, справедливого, соответствующего природе человека бытия, которое в свою очередь определит его достойное и гармоническое сознание. Конечно же — и это надо сказать со всей определенностью — ни Фейербах, ни Маркс с Энгельсом и помыслить не могли о концлагерях, депортациях целых народов, массовых расстрелах и т.п. Однако в основе всех этих ужасов лежит то смещение мысли, смещение направления общественного движения, у начала которого они стояли, за которое так активно, напористо и талантливо ратовали.

Вряд ли надо добавлять при этом, что дело не в их персональной вине — мало ли кто какие мысли высказывает? — а

в том, что общество приняло, подхватило эти мысли, направило свои усилия к их реализации. Говорю об этом лишь потому, что у нас в стране сейчас в определенных кругах очень в ходу идея чуждого влияния, тайных и могущественных сил, совращающих народ. Идея типично группоцентрическая, группоцентрической семантики сознания — все происходит от того, что есть кто-то, некий управляющий, нами простецами манипулирующий. Вот и сейчас слои с группоцентрическим психологическим наследием (а таких у нас достаточно) упорно ищут (а раз ищут, то и находят, как при любом усиленном, переходящем в паранойю внимании) тайные причины¹⁰.

Разумеется, есть сонм врагов у всякого — видимых и невидимых, как и обилие вирусов вокруг и внутри организма; но ведь несмотря на это обилие кто-то заболевает, а кто-то нет. И в духовной сфере — народа ли, человека ли — то же. У Преподобного Пимена Великого читаем: "Доколе котел разогрет горящим под ним огнем, дотоле не дерзает прикасаться к нему ни муха, никакое другое пресмыкающееся. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. Так и инок: доколе пребывает в духовном делании, дотоле враги не находят возможным победить его"¹¹. Так что всякие инородности и смещения возникают при остывшем, тепло-хладном котле веры, иссякании должного духовного восприятия и горения. Но это особая тема (ее мы коснемся чуть позже), почему остыл котел идеализма и духовности так, что мир поддался материализму и тому реализму, который при всей его внешней объективности (механической объективности) оказался иллюзией, обманом, большой ложью, замешанной, однако, — как и всякая большая ложь — на доле, отсвете правды, вернее — на ее поначалу чуть заметном смещении, искажении. Между тем полная, действительная, не отклоненная правда такова, что цель "реальное счастье реального человека" впрямую не достигается, если ставить ее как таковую, а затем как угодно сознательно и планомерно следовать к ней. Она неизбежно исчезает в ходе этого движения, становится болотным огнем, и мы вдруг оказываемся вместо райских кущ в ином месте — страшном, кровавом, на каждом ша-

¹⁰ Есть старая китайская притча, прекрасно иллюстрирующая процесс рождения такой, из области психопатологии обыденной жизни параной. У одного человека пропал топор. Стал он подозревать в пропаже соседа и начал внимательно подглядывать за ним. И видит, что сосед ходит точно, как укравший топор, и присаживается точь в точь, как укравший топор, да и смеяться стал, как укравший топор. Но вот вдруг нашлась пропажа — завалился, оказывается, топор под крыльцо. Глянул тогда человек на соседа и видит — нет, ходит он не как укравший топор, да и смеется тоже не как укравший топор.

¹¹ Христианская жизнь по Добротолюбию. Харбин, 1930. С. 196.

гу унижающем и попирающем человека. И получаем в результате не "человека реального", сознательно, планомерно формируемого, а человека в нашем случае "советского"¹².

Общий вывод, таким образом, состоит в том, что поставленная обществом (человеком) в качестве конечной сознательная цель общественного (личного) бытия по сути невыполнима. Или чуть по иному — видимые социально-политические (социально-психологические) воплощения есть на деле следствия определенного рода смещений, возникающих в результате движения к часто скрытой, трудноформулируемой, но (по неизбежной природе) теоретической, идейно, духовно, идеологически выработанной цели. Направление этих смещений очевидно: от высшего к низшему. Цель тем самым не должна совпадать с целью, не должна быть равна самой себе, но для достижения реального и возможного надобно стремиться к идеальному и невозможному.

Через такое понимание может быть уяснена коренная ошибка (иллюзия) современных постсоветских конструкторов социально-экономической политики. Последние, да и мы, страдавшие, хотим жизни, "как на Западе" — действительно чистой, приличной, социально-защищенной и стремимся, направляемся к этой цели, не осознавая (и это роковое заблуждение), что цель эта принципиально *не* достигается через стремление к ней как таковой. Ведь ее достижение Западом — результат соотнесения со вполне определенными культурными принципами, идеологией, религией, которые и были ориентирующими, ведущими, тянувшими весь процесс, тогда как видимая нынешняя реальность есть всего лишь результат происшедшего смещения, воплощения этих устремлений. Как заметил один из публицистов, французская революция провозгласила свободу, равенство и братство, а в результате вышли растиньяки. Мы же сознательно и прямым ходом правим к растиньякам. Что же получим в результате?

* * *

¹² Надо ли говорить, что речь идет об общих закономерностях, а не о частном выверте или неудаче, имевшей место лишь на территории Советского Союза? "Советский человек" — явление интернациональное, его родовые черты без труда узнавались на Кубе и в Анголе, во Вьетнаме и Польше, Румынии и Германии (ГДР). Именно изначальная разность этих "экспериментальных площадок", разность религий, рас, народов, показывает, насколько объективны, серьезны, принудительны законы формирования Homo soveticus, насколько это законы перекрывают, перемалывают исходные межкультуральные несовпадения людей, имевших соблазн или несчастье вступить на этот путь.

Попробуем теперь чуть глубже понять суть и назначение тех устремлений, которые должны превосходить желаемые нами цели. Для этого вновь обратимся к психологии, к категории нами уже упомянутой, — категории *смысла*. Но рассмотрим ее подробнее и под иным углом.

Глядя на конкретную деятельность человека и ее результаты, не так сложно описать и объяснить, *что* человек производит, делает, из каких действий, операций состоит его наличное бытие. Значительно труднее понять, *для чего*, для достижения каких мотивов и задач он осуществляет свою деятельность. И совсем трудно понять, *ради чего* он делает нечто и стремится к достижению данных мотивов, *в чем смысл* видимых нами операций и действий. Чтобы уяснить, извлечь смысл, надо, как правило, соотнести данную наличную ситуацию, данное действие с более широким и общим контекстом, превышающим данную ситуацию и действие.

Поясним это совсем простым примером. Скажем, смысл прослушивания и конспектирования отдельной лекции в институте не может быть понят из самой по себе ситуации слушания и конспектирования. Он становится определенным лишь при соотнесении этой ситуации с более широкой — сдача экзамена, получение диплома и т.п.

Мы можем, однако, подняться еще на одну ступень и спросить — а в чем тогда смысл получения диплома? Ответы при этом могут быть еще более широкими и разнообразными — престиж, материальное обеспечение, тяга к науке и т.п.

Так шаг за шагом мы можем взойти к наиболее высокой смысловой ступени — ради чего стоит жить, в чем смысл жизни. И ответ на этот вопрос — самый трудный и мучительный — также подразумевает соотнесение всей ситуации в целом — жизни нашей земной — с тем, что *более* жизни, что не оборвется с ее физическим концом. Причем (что чрезвычайно важно) соотнесение это не механическое, объективное, со стороны производимое, а субъективное, личное, личностное, свершающееся во внутриспсихологическом пространстве человека. Смысл тем самым не может быть навязан извне, преподан как урок для заучивания — это суверенная территория души. Обучить можно значениям, знакам, знаниям, тому, что Волга впадает в Каспийское море, тому же, что Волга — матушка, мать-река, обучить нельзя, для этого надо вырастить у великой реки в великой стране, вобрать в себя их историю и судьбу и соотнести с собой, своей жизнью, своим народом, его страданиями и чаяниями.

Даже из этих простых иллюстраций видно, что, во-первых, личностный смысл не предметен (как считал, например, А.Н.Леонтьев, предложивший в свое время в 1947 году этот термин), а скорее "межпредметен". Одним из возможных си-

нонимов может быть в этом плане "связь", или точнее — "субъективная связь", или, если подробно — "субъективно усматриваемая и личностно переживаемая связь между людьми, предметами и явлениями, окружающими человека в пространстве и времени как текущих, так и бывших и предполагаемых будущих событий". Смысл действительно увязывает, связует. Иногда самым неожиданным образом, составляя самые разные узоры узлов и узелков на непрерывно ткущейся материи душевной жизни. Высвободи, распусти эти узелки, распадется и вся ткань на нитки отдельных психических процессов — памяти, восприятия, внимания, мышления, каждая из которых может остаться крепкой и сохранной, но не будет малого — ради чего запоминать, воспринимать, внимать и мыслить. Мы видим зримые ситуации, действия, осязаемые предметы, а что их соотносит, смыслообразует и животворит, остается в тени и тайной. Как писал П.В.Флоренский, творчество разума распадается на производство вещей, смысл которых не нагляден, и производство смыслов, реальность которых не очевидна. Необходимо поэтому доказывать осмысленность вещей и вечность смысла. Последнее, на наш взгляд, и составляет главную и конечную задачу психологии как знания не о том, что может увидеть любой внимательный наблюдатель, а о том, что скрыто от наблюдения, что составляет внутренние причины внешних проявлений душевной жизни.

И второй момент, который необходимо подчеркнуть. Смысл не одномерен, не одноплоскостен, а всегда иерархичен, встроен в некую общую смысловую вертикаль личности от прагматических смыслов конкретных житейских ситуаций до вершинных общих смыслов жизни. Поскольку смысл, по сути своей, не жестко заданный предмет, вещь или действие, а вариативная связь между предметами, вещами, действиями (точнее — вырабатываемый личностный принцип связи, соединения), то иерархия эта не есть прямой диктат от высшего к низшему, а скорее передача по цепи некоторых самых общих принципов, секретов, рисунков соединения, способных проявлять себя, оттискиваться на самом разнообразном конкретном житейском материале.

Если продолжить образ ткани жизни, то смысловой рисунок на ней появляется не ситуативно, лишь здесь и теперь возникающим увязыванием событий и действий, но постоянно соотносен, созвучен с более общим замыслом, причем нередко даже тогда, когда внезапность или чрезвычайность обстоятельств спутывает все нити бытия. В каждой смысловой, внутренней реальности так или иначе присутствует, отражен весь смысловой ряд, вся смысловая иерархия данного человека. В нашей иллюстрации, например, качество, особенность слуша-

ния и конспектирования лекции определяется не только ближайшим (непосредственным) смыслом данной ситуации (скажем, сдача экзамена, получение стипендии), но всей невидимо надстраивающейся над этим смысловой иерархией, вплоть до понимания данным человеком смысла его жизни. Разрушение этой иерархии означало бы разрушение главного стержня, на котором держится данная конкретная деятельность, в результате чего деятельность начала бы внутренне обесцениваться, обесцвечиваться, терять самый вкус бытия. В клинике известен так называемый экзистенциальный невроз — человек все может делать и даже во всем способен преуспевать, но жизнь лишается смысла, и он бессильно повисает, как марионетка, которую уже никто не держит.

Смысловой уровень регуляции не предписывает, таким образом, готовых рецептов поступков, но вырабатывает общие принципы, которые в разных ситуациях могут быть реализованы разными внешними (но едиными по внутренней сути) действиями¹³. Лишь на основе этих принципов впервые появляется возможность оценки и регуляции деятельности не с ее целесообразной, прагматической стороны — успешности или неуспешности течения, полноты достигнутых результатов и т.п., а со стороны нравственной, смысловой, т.е. со стороны того, насколько правомерны с точки зрения этих принципов реально сложившиеся отношения между целями и мотивами, целями и средствами их достижения.

В самых общих словах специфика этой формы регуляции такова: если в плане достижения успеха цели определяют и диктуют подбор соответствующих средств и, по сути, все средства хороши, лишь бы вели к успеху, то в плане нравственном главным становятся не цели, а нравственная оценка этих целей, не успехи, а средства, которые были выбраны для их достижения. Говоря образно, если в первом случае победителей не судят, а побежденных не оправдывают, то во втором — победителей могут судить, а побежденных оправдывать; если в первом случае цель оправдывает средства, то во втором — средства полномочны оправдать или исказить цель, ее первоначальную суть. Речь идет о той плоскости бытия, где все люди выступают как равные, вне зависимости от их социальных ролей и достигнутых на сегодня внешних успехов, равные в своих возможностях нравственного развития, в праве на свою, соотносенную с нравственными принципами оценку себя и других.

¹³ "Человек нравственный, — писал А.И.Герцен, — должен носить в себе глубокое сознание, как следует поступать во всяком случае, и вовсе не как ряд сентенций, а как всеобщую идею, из которой всегда можно вывести данный случай; он импровизирует свое поведение" (Соч. в 9 т., Т. 2. М., 1958, с. 201).

Итак, именно смысловая вертикаль, оставаясь как бы невидимой, составляя, словами Л.С.Выготского "утаенный план сознания", является на деле стержнем личности. О ней мы уже вели речь, говоря об уровнях в структуре личности — эгоцентрическом, группоцентрическом, просоциальном, эсхатологическом. Каждый из них порождает свое смысловое видение и свой вариант понимания всей вертикали смысловых связей. Поэтому одни и те же по внешности предметно очерченные действия и задачи приобретут совершенно разную окраску, направление, качество, в зависимости от духовной настроенности и склада личности. Из одних и тех же по форме и виду предметов — кирпичей можно построить и тюрьму, и лечебницу, и больницу, и вертеп, и храм. Отсюда предметные задачи при всей их весомости и зримости всегда вторичны по отношению к смысловой ориентации и складу личности. Известные слова Л.Н.Толстого о том, что люди только делают вид, будто они воюют, торгуют, строят, в действительности же главное, что они делают — это решают нравственные проблемы, — слова эти кажутся преувеличением, если видеть лишь поверхность внешних устремлений. В действительности же именно это составляет основное дело человечества, и каждый человек, каждое общество, эпоха предлагают и отстаивают как главное и сокровенное свое достижение свою модель понимания человека, должного и недо-
ложного в нем. Вся история, если стремиться к постижению ее внутреннего связующего смысла, а не видеть в ней лишь смену царей, правителей и формаций, есть прежде всего борьба именно за утверждение определенных образов жизни и нравственных типов личности, кажущихся борющимися наиболее верными, действительными, истинными¹⁴.

Эта борьба (или более мирно — соревнование) отнюдь не хаотична и не столь уже многовариантна. Она группируется на несколько основных русел, которые и создают типы культуры. Любое государство, народ живет как единица только в контексте взрощенной и одновременно питающей их культуры. И упадок или уничтожение последней есть с неизбежностью упадок и уничтожение данного государства или народа.

Что же является основой культуры, ее генетическим корнем, зерном, из которого она взрастает (по латыни культа (culta) — пашня, а культура (cultura) — это возделывание, земледелие, а также образование и почитание)?

¹⁴ Расхожий куплет Мефистофеля "Люди гибнут за металл" лишь внешне похож на правду, на самом деле замаскировано ложен (как и полагается бесовскому утверждению). Люди гибнут за слова, понятия, идеи, даже жесты (двумя или тремя перстами креститься), и лишь вторично, вследствие тех или иных слов и соблазнов они могут гибнуть за желтый металл.

Несомненно, что корнем культуры является культ — образ и способ поклонения, верований и веры, ее сложившийся символ — соединение, состыковка предписаний и принимающей, согласной с ними, открытой им души. Именно отсюда возрастает, возделывается все дерево культуры в целом.

Возвращаясь к теме нашей работы, достаточно очевидно, что русский народ взрос, образовался и обрел почитание в мире через Православную веру. Можно только гадать, что было бы, если бы послами князя Владимира была тысячу лет назад выбрана и посеяна на пашню русского язычества другая религия — ислам, или иудаизм, или то же христианство, но не греческого, а латинского, католического толка. Ясно одно — это был бы и другой народ, и другая государственность, и другая история, и другой нравственный идеал, образ человека.

Коммунизм тоже создал определенный культ, объект поклонения и верования, свои символы такого культа: "рай" (светлое коммунистическое будущее), "единомыслие" (классовая солидарность), "крещение" (принятие в партию), "святая троица" (Маркс — Энгельс — Ленин, одно время четверня — плюс Сталин), "священный синод" (политбюро), "святые мощи" (мавзолей), "иконы" (портреты вождей), "хоругви" (красные знамена), "литургии" (обязательные партийные собрания), "крестные ходы" (демонстрации) и т.п. Если дьявол — обезьяна Бога, а коммунизм — его дело, то и тут он не придумал своего, а лишь вывернул наизнанку, передрознил Божье. Но так или иначе культура эта на горе нам, другим на поучение состоялась и как основной продукт создала, сформировала своего человека. Именно этот человек, вернее, его внутренние, укорененные и взращенные в этой культуре установки и являются ныне главным препятствием возрождения. Причем не будем при этом высокомерны — чтобы эти установки обнаружить, не надо ни на кого указывать пальцем. Достаточно просто глянуть в самих себя.

* * *

Что же на основании сказанного можно представить в качестве нашего желаемого будущего — будущего, которое могло бы вывести из хаоса и привести, наконец, к благим результатам?

Если продолжить рассмотрение народа как личности, то первый необходимый шаг всякого возрождения, выхода из душевного излома и сумятицы — это осознание происходящего, его причин и возможных последствий. До сих пор это осознание шло по преимуществу в терминах социально-политических и экономических. Нельзя сказать, что мы здесь

дошли до дна, до исчерпания возможного. Напротив, мы опускаемся все глубже, узнаем все более точные и страшные сведения о своем прошлом и нынешнем положении, наблюдаем неудачу за неудачей предлагаемых проектов спасения, и конца этим тягостным открытиям не видно. Однако из всего изложенного, думаю, ясно, что движение только в этой плоскости заведомо ограничено и — более того — упование на поиск здесь основных причин и способов выхода из кризиса иллюзорно. Это поиск там, где светло, но не там, где потеряно. А потеряно — где нынче темно. Только этим можно объяснить провал или дикое, немыслимое извращение почти любого, самого что ни на есть разумного экономического предложения. Истинное — скрытые движущие причины в душе народа и центральная, преобладающая ныне устремленность к видимым материальным целям, которые, как мы пытались показать, таким устремлением на деле не достигаются. Поэтому-то при всей определенности, предметной ясности и очевидности нынешних усилий, они остаются на деле не более чем кажущимся, иллюзорным реализмом.

Осознание этого духовного и психологического факта — необыкновенно трудный и достаточно маловероятный процесс (как принять, что невидимое и неочевидное — главное, а видимое и очевидное — подчиненное, ведомое?). Однако без этого осознания невозможен второй шаг — поворот миропонимания и выбор новых ориентиров движения. Положение осложнено тем, что поворот этот не может быть свершен как просто умозрительный, он должен идти через внутреннее отречение от прошлого, прощание с ним, что не может не быть мучительным, через покаяние, которое по-гречески обозначается необыкновенно точно как перемена (души) — метанойя. Необходимо говорить именно о покаянии — полном и бескомпромиссном, об одновременном принятии и отвержении прошлого (принятии в том смысле, что оно наше, нами самими при все его чудовищности сотворенное, и отвержении как раскаянии и зарке никогда не повторить его). Ибо другого способа перемены просто нет — вся не только духовная, но и историческая, относящаяся к народам, и психологическая, относящаяся к отдельным людям, практика говорит об этом.

Биодинамически каждый физический шаг человека — это установленное падение. Мы не можем двинуться вперед иначе, кроме как начав падать, но затем вовремя подставив опору. Эта метафора позволяет понять и кризисы общественные, и духовные, ибо любой из них — это падение, но одновременно и возможность нового движения, выхода — в том случае, конечно, если во-время будет подставлена верная опора. Как ответил один монах, которого спросили, что делает братия в монастыре: "Каждый день падаем и встаем". В Германии я

слышал от людей пожилых, много хлебнувших и потерявших в войну, парадоксальные, казалось бы, в их устах слова: "Как хорошо, что вы нас тогда победили". Ибо хоть низвергнуты были в бездну, перенесли потерю близких, разрушение городов, оккупацию, но, подставив опору протестантского и католического благочестия и трудолюбия, двинулись к новому, к возрождению, восстанию. Чего, кстати, не скажешь о ГДР. Там покаяния (перемены) не было — один тоталитарный режим сменился другим, и немудрено, что теперь, когда произошло объединение Германии, бывшая ГДР сразу стала основной опорой неофашистских установок и тенденций.

Итак, кризис не в самом падении, его суть и задача лишь в доведении до осознания того, насколько оно серьезно, опасно, окончательно, насколько для спасения нужна опора иная, другая, чем прежде, перенеся на которую центр тяжести и упования, мы двинемся из тьмы ко свету. Причем если в выборе видимых целей можно удовлетвориться компромиссом, уговорами, временной просьбой, рациональными соображениями, принуждением, то изменение души заведомо подразумевает иное — живую веру и отдачу себя во служение ей.

Кого-то передернет — "вера"; а нельзя ли обойтись без этого, ведь отсюда один шаг до религиозного засилия, теократического государства и т.п.?

Однако в том-то и дело (и это надо сказать сразу и прямо), что без веры обойтись нельзя, и никто без нее даже и дня не проживает.

В самом деле, — сказав о том, что сегодня вечером состоится встреча, или что некто поступил в институт и будет врачом, или о том, что строится дом, в котором будет жить семья, мы основываемся на вере, что встреча состоится, что человек получит профессию и что дом будет построен. Наступление этих событий вероятно (один корень с верой), но отнюдь не точно; их исполнение определено многими обстоятельствами, совершенно не зависимыми от заинтересованного лица, и следовательно, заинтересованное лицо, чтобы начать действовать, должно верить в исполнимость намеченного. Вера тем самым — условие всякой целенаправленной активности, тот необходимый, хотя часто незаметный, невидимый "гвоздь", на котором "висит" любая деятельность.

Еще более вера необходима в сложных жизненных коллизиях и решениях. Для осуществления выбранных целей и долгосрочных проектов необходимо верить в свой выбор, постоянно восстанавливать эту веру, что составляет специальную психологическую задачу, поскольку чем более отдалены и возвышены наши идеальные построения, тем менее они могут быть доказаны рациональным путем, т.е. перейти в конкретные знания, стать не верой, а уверенностью. Вера находится,

конечно, в определенной связи с уверенностью, равно как и с надеждой. Можно сказать, например, что исход, решение жизненных коллизий зарождаются как надежда на их осуществимость (малая субъективная вероятность успеха), затем она уступает место вере (большая вероятность) и, наконец, переходит в уверенность (вероятность успеха, близкая к единице). Для жизненных решений надежда — слабоватая опора, а уверенность, напротив, слишком жесткая и твердая, годная более для реализации уже готового, проверенного прежде опыта. Вера же наиболее отвечает творческому акту как шагу в неизвестное, стремящемуся, однако, исключать безрассудство и упование на случай, но в то же время не требующему в качестве условия и обязательной гарантии успеха.

Таким образом, вера не есть просто некое украшение, романтическая добавка к целостному развитию человека и, разумеется, не есть индульгенция бездействия и прибежище слабых, как многие продолжают думать; она — необходимое условие собственно человеческого, трансцендентного, преодолевающего границы развития, ибо для того, чтобы обрести то новое, которого пока нет в наличии, надо поверить в него как в существующее и потенциально достижимое. Отметим также, что именно вера в реальность, жизненность наших проектов и конструкций, чье конкретное бытие еще не осуществлено и только возможно (порой в весьма отдаленном и неопределенном будущем) в значительной мере и позволяет им активно участвовать в сегодняшней жизни. Тем самым наряду с горизонтальной, линейно выраженной причинно-следственной цепью, в которой для того, чтобы достигнуть последнего звена, надо последовательно перебрать все предыдущие, возникают те вертикальные смысловые связи между образом будущего и настоящим, что позволяют будущему не только реально формировать предшествующие ему по времени звенья жизни, но и выбрать любое из этих звеньев как форму своего конечного бытия. "Будущее, — справедливо замечает философ, — возможно не только как уходящая в бесконечность стрела времени, но и как воспарение над его линейным процессом. Подобное будущее выносится из общего потока времени и заземляется в любой его точке..."¹⁵. Для того, чтобы быть вынесенным "из общего потока времени", это будущее должно быть представлено как независимое от времени, как уже существующее, что есть на деле продукция акта веры, ибо как такового его нет, оно лишь предстоит. Но через этот специфически человеческий акт оно появляется и обретает возможность ак-

¹⁵ Назаров В.Н. Моральное предвидение. В сб.: Моральный выбор. М., 1980. С. 332.

тивно реализовать себя в настоящем, привнося, опредмечивая, узнавая идеально мыслимое в реально существующем.

* * *

После этого весьма скромного психологического обоснования веры вообще, веры как необходимого основания деятельности, сделаем шаг к вере религиозной и ее в данном случае роли в выходе из нынешнего тупика.

В самом общем плане психологическая функция религиозной веры та же, что и веры вообще — это поддержание выбранного направления, движения к цели, предмету, действительное наличие которого не может быть стопроцентно доказанным. Как и в любой вере предмет ее вероятностен, иначе он и не требовал бы столь постоянных усилий и преодоления неверия. Мера веры, говорят, часто равна мере неверия и это так, ибо вероятность 0,5 (50%) — как раз эпицентр борьбы веры и неверия: верующий продлевает сомнения, а неверующий делает усилия, чтобы отвергнуть доводы веры. Однако: тот и другой — иначе их деятельность невозможна — верят: один в то, что Бог есть, а другой в то, что Его нет, ибо и то и другое не может быть доказано с определенностью до конца, а следовательно, чтобы иметь точку зрения и двигаться с нею по жизни, в нее надо уверовать. Отсюда, кстати, ясно, почему атеист может стать активным верующим, а верующий ярым атеистом — меняются на противоположные (с плюса на минус) знаки на полюсах привязанности и отвержения. Можно предложить и иной образ — крыло обладает подъемной силой, лишь испытывая, опираясь на сопротивление встречного потока. Атеисту нужна сила и аргументы религиозной веры, чтобы противопоставиться, укрепнуть в своем мировоззрении. Верующий взлетает, преодолевая и попирая встречный ток неверия и соблазнов, и чем выше дерзания, тем сильнее и тоньше искушения. Понятно, что движения эти полярны по знакам и направлениям — богоборец отталкивает небеса, а верующий — тяготу земную; первый движется, по преимуществу, вниз, а второй — вверх. Но общий принцип веры как основы движения — остается.

Поэтому, говоря о вере и даже вере религиозной, мы не говорим о чем-то экзотическом, экстраординарном, мы говорим о повседневном условии человеческой жизни. Вопрос, следовательно, не в том — нужна вера или нет от элементарных ее проявлений до высших, а в том, какова она может быть на сегодня, на чем может остановиться выбор и каковы будут его последствия.

В плане выбора высших форм веры (культы) особых сомнений, как уже говорилось, не возникает. В России это Право-

славие. Мы уже не находимся в положении князя Владимира, перед которым расстилась пашня язычества; перед нами пусть и порядком порушенная, извращенная, отравленная ядами коммунизма, но православная почва. Прибалты, естественно, прибегут к протестантизму, католицизму и если войдут в мир, то на тяге идеального стремления к соответствующим им ценностям. Азиатские и кавказские народы (исключая Армению и Грузию) впадут в уготованное им русло магометанства с соответствующими вариантами (турецко-капиталистическим или иранско-фундаменталистским). Бурятия восстановит, понятным образом, не христианство или ислам, но ламаизм. Каждый, выйдя из коридоров (застенок) советской культуры, пусть побитым и даже изувеченным, потянется к своему корню и культу.

Этот простой расклад далеко не для всех пока, однако, в России очевиден. Ибо, как было показано, с психологической стороны мы находимся в переходном потребностно-мотивационном состоянии и пока как бы перебираем возможные предметы, цели движения. Об иллюзии чистой и приличной западной жизни как цели такого движения мы говорили уже много. Другая чрезвычайно распространенная версия — это стремление к общечеловеческим ценностям. Никто не будет спорить, что все человечество в целом выработало важнейшие и во многом единые ценности, подлинные сокровища мудрости и морали, но надо понять, что они выработаны не как сознательно поставленная самостоятельная задача, а как следствие развития разных культур, в ходе которого возникают (попутно) ценности, становящиеся, признаваемые общезначимыми для других культур, для всего человечества в целом. Даже сама изначальная упаковка, оболочка, в которой ценность становится общечеловеческой, всегда нераздельно существует, соотносится, резонирует с духом, историей и жизнью явившего ее народа и творца, — будь то учение Лао-цзы, средневековая поэзия Японии, финский эпос или норвежские саги. Истина конкретна, и пока не полюбишь конкретного человека, ребенка, Родину, ты не поймешь, не усвоишь и не разработаешь общезначимого понимания ценности любви.

То же можно сказать о еще одном распространенном соблазне — смешении религий, предложении (в качестве спасительного средства) восточных культов или вообще отказ от всякого очерченного культа и предложение просто верить в "духовную силу", "мировой разум" и т.п. Между тем, все это отнюдь не невинные предметы для перебора и составления мозаик. Если подходить серьезно — это пути с неизбежными и достаточно жесткими последствиями для каждого, кто становится на них. Готовы ли мы перейти, скажем, в кришнаитс-

кую культуру и мораль, надеть сари или побрить головы в зимние холода, перенести Индию, ее богов и обычаи (пусть самые замечательные) в российские просторы? Видимо, нет, заведомо экзотическая прививка вряд ли приживется. Не менее сомнительна и идея смешений верований. Сразу нельзя идти не только в разные стороны, но одновременно прямо и чуть-чуть вбок. И уже вовсе опасны такие размытости (по сути — дороги в никуда), как упование на "провидение", "духовные силы", "порывы" и т.д.

Есть и еще одна точка зрения, необыкновенно популярная в наше время — посттоталитарное в социально-политическом плане и мотивационно-переходное в психологическом. А именно: должна быть полная свобода, мы все устали от обязательных собраний и субботников, от навязанной идеологии (само слово это для бывшего советского человека глубоко противно), и потому нечего предлагать новую идеологию, надо просто жить, выжить в этих условиях, заняться своими делами.

Реакция, психологически более чем понятная после стольких лет коммунистического идеологического прессы. Идет полным ходом компания по деидеологизации науки, культуры, чуть не каждое новое общество, организация, профсоюз прибавляют себе эпитет "независимый". То же — о журналах, изданиях, газетах — всюду подзаголовки "независимая"; есть весьма популярная ныне газета, все название которой и состоит из этих слов — "Независимая газета". Однако независимость и свобода хоть и считаются синонимами, но между их значениями есть тем не менее важные отличия. Свобода как более полное понятие включает в себя два оттенка: свобода негативная, свобода от чего-то и свобода позитивная — для чего-то, для достижения каких-то целей. Независимость есть в тесном значении синоним негативной свободы, свободы важной, но если хотите, низшего или первичного порядка, свободы расчищения некоторой площадки для строительства. Строительства чего? А это уже вопрос иного порядка, вопрос, обращенный к свободе позитивной.

Сейчас идет развитие (если не сказать разгул, вакханалия) негативной свободы, апофеоз независимости, но думать, что это есть свобода в полном объеме — не только наивно, но и опасно. Расчищенная площадка не может оставаться таковой сколь-нибудь долгое время. Она — хочет того субъект или нет — неизбежно и весьма скоро заполняется. Свято место пусто не бывает, и независимость обернется зависимостью. "Есть такой час в жизни почти каждого человека, — пишет М.М.Пришвин молодому корреспонденту, — когда ему представляется возможность выбрать себе по шее хомут. Если такой час в собственной жизни вы пропустили, то прощайтесь

навсегда со свободой, если же он у вас впереди, ждите его с трепетом и непременно воспользуйтесь. Наденете хомут сами на себя — будете свободны, пропустите свой дорогой час — и на вас наденут хомут, какой придется"¹⁶.

И в самом деле, — что может быть тяжелее хомута писателя, ученого, подвижника, да просто любого честного труженика? Но это — выбранная ими свобода, свобода служения, принятия на себя задачи, миссии, креста своего — каждому по плечу. Подростковый же апофеоз независимости приводит к пропуску момента выбора своего подлинного служения и, значит, к навязыванию внешних и чуждых сил. У Волошина есть строки — "Как медиум, опорожнив сосуд своей души, притягивает нежить". Так и мы в духовный вакуум привлекли в качестве кумиров колдунов, экстрасенсов, а часто — наметанным взглядом психолога — просто тяжелых психопатов и откровенно больных людей, которые занимают пустое пространство, без труда завладевая душами миллионов людей. Сеансы исцеления от всех болезней по первой программе телевидения в таком масштабе и буквально всеобщей вовлеченности масс немыслимы ни в одной стране. Это оказалось возможным только здесь, вследствие духовного вакуума и пустоты.

Другой неизбежный кумир на пустоте — мамона (согласно данным опросов современной молодежи на первом месте среди ее желаний стоит приобретение денег без особого разбора в средствах этого приобретения), третий — гордыня, четвертый — блуд, пятый — нетерпение и агрессия и т.п. Ничего нового от начала мира нет в этом перечне. Это неизбежные спутники тьмы, неизбежные спутники получения независимости без приобретения подлинной, позитивной свободы. Так что планирование отдыха от идеологии, от всяких идейных влияний и нравственных вопросов — психологическая иллюзия. Эти вопросы из тех, что гони в дверь, а они в окно войдут. И самые яркие отрицатели морали и идеологии нынче строят и активно, агрессивно внедряют, отстаивают на деле свою идеологию, свою мораль, где чуть ли не нормой и образцом становятся барышник, вымогатель, падшая женщина, чьи имена заменены для благозвучности и маскировки на иностранные — брокер, рэкетир, фотомодель, путана и т.п. Мало горницу души вымести и очистить, надо ее заполнить, а поленишься — так враг не дремлет, и не заметишь, как все заполнит и подчинит тебя себе.

Итак, душа не терпит пустоты и заполнение ее неизбежно. Отсюда необходимость осознания происходящего и выбора пути на перепутье. Путь же определен не приключениями и

¹⁶ Пришвин М.М. Незабудки. Вологда. 1960. С. 75.

случайностями внутри его, но общим устремлением, той высотой, которой ради преодолеваются и трудности, и приключения. Если вернуться к схеме с рекой, то мы тем самым определяем ту предельную, идеальную область, к которой устремлено должно быть наше движение. Достигнем ли мы ее? В реальности, конечно, нет, не дано это ни обществу, ни человеку в его земном обличье, но стремиться всеми помыслами и силами мы должны туда и только туда. Выше по стремлению нам не подняться, но и ниже опуститься нельзя. Только через этот подвиг и тягу придем к желаемой приличной, человеку и обществу подобающей жизни. Надо ли повторять, что такой областью, объектом почитания, указанием стремления является культ, религия как корень и путеводная нить культуры?

* * *

Здесь мы подошли, однако, к едва ли не самому сложному — к тому, а как же в реальности возможно осуществить подобное устремление, в чем оно может и должно выразить себя и как может повлиять на нашу жизнь.

Прежде всего, первым и необходимым шагом должно стать проникновение во все области жизни и воспитания христианских способов, критериев различения добра и зла. "Не мир Я принес, но меч", — сказал Христос, меч истины, разделяющий на добро и зло. Наш век оказался веком размывания этих границ, веком развенчания человека и потакания злу, веком отстранения, "умывания рук". "Зло либерального 19 века, — писал прежде всего применительно к горькому пути России Федор Степун, — было в конце концов лишь неудачею добра. Сменивший же его 20 век начался с невероятной удачи зла. Удача эта ничем не объяснима, кроме как качественным перерождением самого понятия зла. Зло 19-го века было злом, еще знавшим о своей противоположности добру. Зло же 20-го века этой противоположности не знает. Типичные люди 20-го века мнят себя по Ницше "по ту сторону добра и зла". Это совсем особые люди, бескорбные и не способные к раскаянию. Думается, что их "великие дела", даже если они и породили какие-нибудь положительные результаты, никогда не преобразятся в памяти "благодарного" потомства в светлые подвиги. А впрочем, как знать? Еще неизвестно, какими людьми будут наши потомки"¹⁷...

Осознаем, что мы и есть те потомки, о которых с тревогой, но и с тайной надеждой писал Степун. И нам, а не кому иному предстоит твердо внять — какими людьми мы стали и

¹⁷ Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1956. С. 361.

чего хотим в будущем. Одно ясно — развитие общества и человека, его психология и история при всей кажущейся случайности событий и их сцеплений обладают на самом деле весьма жесткой внутренней логикой развития. 20-й век — это урок и развернутая предметная демонстрация этой логики. Страшно получить, пережить такой урок, но еще страшнее его забыть, не извлечь из него выводов, а потому остаться беззащитным перед новым и уже окончательным поражением. И если 20-й век начал свое падение с того, что стер грань, черту между добром и злом, то мы должны начать с ее восстановления. Это восстановление не отменит, не уничтожит зла, но зло будет названо и займет свое место — место исключения, отклонения, упадка, а не образца и правила, принимаемых большинством и направляющих это большинство к гибели.

Итак, первый шаг понятен, однако опять же — что он может означать в реальности, в решении каждодневно возникающих насущных вопросов?

Он означает лишь одно — взгляд, исследование, испытание возникающих вопросов с позиций христианских.

Возьмем, например, острый и насущный вопрос русского национального самосознания, его связи с религией. Каких тут только нет подходов и мнений — от непомерного возвеличивания до уничижения! Но прислушаемся к христианскому писателю, который написал во введении к книге о святынях древней Руси столь актуально звучащие сегодня слова: "Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа, в последнем счете, определяется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной, секуляризированной русской культуры. Ставя перед собой грандиозную задачу ее оцерковления, ее обратного включения в тело вселенской Церкви, мы обязаны специфицировать вселенское здание христианства: найти ту особую ветвь на Лозе, которая отмечена нашим именем: русская ветвь православия.

Удачное разрешение этой задачи (конечно в практике, в духовной жизни) спасет нас от большой ошибки. Мы не будем приравнивать, как часто это делаем, русского к православному, поняв, что русская тема есть тема частная, а православная — всеобъемлющая, и это спасет нас от духовной гордыни, искажающей нередко русскую национально-религиозную мысль. С другой стороны, осознание нашего личного исторического пути поможет нам сосредоточить на нем возможно более организованные усилия, избавив, может быть, от бесплодной растраты сил на чужих, нам непосильных дорогах"¹⁸.

¹⁸ Г.Федотов. Святыне древней Руси. М., 1990. С. 27-28.

Такой подход может быть, конечно, продолжен, дополнен, расширен, сколь угодно подробно изучен, однако, исходя из него (точнее, из принципа, в нем заложенного), никогда не польется кровь и не будет унижен другой, он внесет порядокность и порядок в мир на всех его планах — духовном, душевном и материальном. Речь идет именно о подходе, а не просто о конкретном решении конкретного вопроса, — о том подходе, потоке, в русле, направлении которого должны решаться конкретные вопросы. Отойди мы от этого направления, и опять начнется все то, что было 70 лет и что пока, к сожалению, продолжает быть доньше, ведя к доводящей до отчаяния трате убывающих сил на чужих непосильных дорогах.

Но кто же это направление будет постоянно, ежедневно символизировать, напоминать о нем?

Не надо здесь выдумывать никаких новых институтов. Есть Русская Православная Церковь, и кому, как не ей, принять эту задачу¹⁹. Церковь, используя старый образ, — это как бы корабль, оснащенный всем, чтобы вопреки бурям и течениям житейским следовать к цели. Особенность корабля этого в том, что присоединиться к нему может практически любой в любое время жизни своей, и при этом никто — ни человек, ни народ целый — в тягость не будут. Единственный пропуск — это покаяние и признание цели движения. Конечно, можно представить, что кто-то особый и вплавь может двигаться в том же направлении, но зачем же предпринимать столь опасное и столь маловероятное для успеха действие, когда существует столетиями отлаженный инструмент?

Церковь есть реальный механизм обеспечения движения в нужном направлении. Причем — подчеркнем это — обеспечения движения, реализации вектора всего общества, включая людей нецерковных, неверующих, атеистов, представителей других конфессий, здоровых, больных, умных, сумасшедших, правопослушных, преступных, старых, молодых, богатых и бедных. Такова миссия Церкви: католической — в католической по-преимуществу стране, протестантской — в протестантской и православной — в стране православной. Она становится духовной матерью, наставницей земли для всякого сущего в ней языка и человека.

Возможно ли это?

¹⁹ Кстати, когда говорят (а так сейчас говорят повсеместно, включая правительство), что мы должны после коммунистической изоляции вернуться в семью цивилизованных народов, в цивилизованное мировое сообщество, это неверно, неточно. Мы должны вернуться в семью христианских народов, ибо мы ветвь их, и лишь в этом качестве предстать мировому сообществу.

Безусловно. И даже — неизбежно. В том случае, конечно, если мы принимаем христианство как нашу общую идею, ключ и корень культуры. В том же случае, если мы промедлим в вакханалии независимости, то все равно с неизбежностью подпадем (уже подпадаем) под идеи и идеологии, но качественно иные, плоды которых уже видны от провалов экономики до морального беспредела.

Служение Церкви в современном мире имеет как бы две ипостаси. Собственно церковная жизнь — службы, требы, соблюдение уставов, монастыри. И жизнь общественно-церковная, жизнь за оградой храма — организация школ, общественная проповедь, участие в разных формах политики. Значимость собственно церковной жизни очевидна, это само сердце, основа, без которой и церковь не церковь. А вот общественное служение, выход в социальную жизнь вызывают споры и серьезные возражения — надо ли вообще таковое, место ли священнику на экране телевизора, в светском собрании или на политической трибуне? Ортодоксы говорят "нет", надо ограничиться церковным (внутрицерковным) служением, а все соприкасающееся с мирским отрезать. То же по сути, по выводу, но не по аргументации, конечно, говорят атеисты, а также сторонники нравственного плюрализма и примата общечеловеческих ценностей: пусть кто хочет идет в храм, кто хочет — в эрот, кто хочет — в иной, но церковь не должна никак влиять на внецерковную жизнь. Скажу более — в этом же направлении действовали коммунисты. Церковь была загнана в церковь, здесь можно было и креститься, и молиться (правда, не без тайного догляда сексотов), но стоило батюшке, выйдя за ограду, произнести слова о Боге или даже в самой церкви на проповеди сказать нечто социально актуальное и значимое, как это уже могло наказываться как преступление, как нарушение закона об отделении церкви от государства. Старый католический священник на юге Германии говорил мне, что похожее было при Гитлере — предписывалось не отвлекаться от буквы устава и не выходить с делами и словами веры за стены кирхи.

Вот такая разнообразная компания сторонников жесткого разделения. Разумеется, нельзя ставить на одну доску пастырей духовных и атеистов, сторонников общечеловеческих ценностей и коммунистов с фашистами, но их сходство, соединение в этом вопросе не может не вызывать тревоги. В любом случае Церковь толкается к отделению от мира, его повседневного реального бытия — одни это делают, чтобы не замутнить ее чистоту, а другие (и таких большинство) — чтобы она не препятствовала, не мешалась в их дела, не возникала как обвинение, укор или наставление, как конкурент главенствующей идеологии.

Наша история хорошо показала, чего стоит и к чему ведет подобное воззрение. Образно говоря, общество с его грехами и тяготами стремилось отцепиться от тянущего его корабля Церкви, да и Церкви груз грешного общества стал не под силу. Наконец произошел неизбежный в этой ситуации разрыв, и на какое-то время, наверное, и кораблю стало легче, и общество ощутило себя вольготнее и свободнее (независимее). А затем... затем — этот разрыв стал едва ли не главной причиной революции и всего за нею последовавшего. В книге соловецкого узника Бориса Ширяева говорится, что до тридцатых годов на острове скрывался последний монах-молчальник, день и ночь молившийся Богу в потаенной в лесах землянке перед зажженной лампадой²⁰. Так на одном острове соседствовала великая высота, религиозный подвиг и — самая бездна, преисподняя человеческого падения первого концентрационного лагеря двадцатого века. А между ними — страшный разрыв, провал. Конечно, не сразу он возник с такой зияющей очевидностью. Поначалу было чуть заметное рассогласование (прежде всего у образованной публики), затем все большая формализация, уход религиозности из повседневной жизни, затем, вместо естественных отношений — либо фрондерское преувеличение разрыва, либо, напротив, имитация несуществующего единства, наконец, поиск и переходы к иным идеологиям и упованиям, с религией не связанным, однако обычно так же разорванным, отъединенным от реальности, не соединенным с ней внутренней связью. Вот что свидетельствует упомянутый уже Федор Степун о канунной России: "На реальные запросы жизни передовая интеллигенция отвечала не твердыми решениями, а отвлеченными идеологиями и призрачными чаяниями. Социалисты чаяли "всемирную социальную революцию", люди "нового религиозного сознания" — оцерковление жизни, символисты — наступление теургического периода в искусстве, влюбленные — встречу с образом "вечной женственности" на розовоперстной вечерней заре. Всюду царствовало одно и то же: беспочвенность, беспредметность, полет и бездна"²¹. В эту-то бездну и увлеклась, провалилась Россия, она-то и вела к Соловкам и далее. Страна с такой структурой общественной жизни была, по сути, обречена, приговорена к революции, так что нынешние сторонники разрыва, что справа, что слева, толкают к подобной же возможности.

Но если мы переходим к другой позиции, к представлению о Церкви как духовой водительнице всего общества, то сразу сталкиваемся с чрезвычайными трудностями.

²⁰ Ширяев Б. Неугасимая лампада. Нью-Йорк, 1954.

²¹ Ф.Степун. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1965. С. 321.

Во-первых, Церковь за эти три четверти века потерпела, если говорить военным языком, "значительный урон в живой силе". И количественно не хватает священников во все открывающиеся приходы, и качественный состав их так же вызывает опасения. Речь, разумеется, не о сомнениях в действенности совершаемых ими таинств, а в том, что могут они делать и говорить, выйдя за ограду храма. Политика коммунистического государства, а через него и многих, к сожалению, иерархов церкви была не только в том, чтобы покрепче замкнуть эту ограду, оставить священника только внутри нее, но и в том, чтобы сформировать именно такого священника, который был бы удовлетворен этим затвором и не претендовал ни на что большее. Так, не допускались к служению, особенно в столице, крупных городах, сильные проповедники, образованные и разносторонние люди; на священников, хоть чуть выходивших за установленные грани, возводились гонения (причем не только светские, но и церковные); практически к каждому священнику приходил с настоятельными предложениями о сотрудничестве специальный работник КГБ, курировавший в данном месте церковную работу и всеми способами пытался склонить к сотрудничеству; из программ духовных семинарий вычеркивались многие светские предметы, необходимые для образования кругозора, сознательно насаждалась ограниченность и нетерпимость к новому и т.п. В результате большинство священников оказалось просто неспособным, не готовым к новой ситуации, ее возможностям и требованиям. И надо сказать честно, что "разделительные" тенденции многих из них, стремление оставить церковь за оградой во многом объясняются просто этой неспособностью. Как это ни печально говорить, но так же, как были сформированы советские ученые или советские писатели, были сознательно сформированы и советские священники, с которыми ныне происходит то же, что и со всеми советскими людьми — искушение группоцентризмом, поиск врагов, слабость самоанализа, стремление к сепаратизму, нетерпимость к другим и т.п.

Другая трудность — это неготовность самого общества к принятию христианской идеологии. И здесь десятилетия разделения сделали свое дело. Религия остается некоторой экзотикой — раньше опасной, рискованной, теперь модной, но не повседневной живой реальностью. Превалирует упование на экономические успехи, возвращение в "семью цивилизованных народов", а христианство как бы не более чем дополнение, форма культурного времяпрепровождения, как сказал недавно один академик от философии: "Религия — это важная часть культуры". Не исток, корень, а только часть, хорошо, что еще важная.

В этой ситуации восстановление давно нарушенного церковного водительства может показаться заведомо маловероятным или даже безнадежным. Однако час коммунизма все же пробил, и в нынешнем переходном состоянии, сколько не перебирай позитивные предметы и идеологии, нет другого, что может по силе, притягательности, исторической узнаваемости, преемственности соперничать с христианством. Появляются, выходят из тени священники, способные к общественному служению, и общественные деятели, способные, тянущиеся к служению церковному. Пусть идет пока калейдоскоп (порой хочется его назвать просто дьявольским) непристойных сюжетов, сплетен, развязности, пустых слов, мешанины несовместимого на страницах широкой печати, экранах телевидения, на радио, где вслед за проникновенной беседой священника о пагубе абортов пускается реклама нового средства аборта (не преувеличиваю, сам слышал), вслед за православным чтением даются откровения колдуна. Но это все же лучше, чем полный вакуум, отсутствие в мире Слова Божия, когда священник или верующий появлялись на экране или в газете лишь как фигуры осмеяния или передергивания и клеветы, называемых антирелигиозной пропагандой.

Другое дело (не хочется переходить в область политики, но надо сказать это), что самим руководителям вещаний и журналистам необходимо прежде, чем выходить на миллионные аудитории, иметь некие внутренние приоритеты, некое понимание главного и неглавного, добра и зла. Еще Пушкин говорил о великой силе "типографского снаряда", но теперь сила эта (экрана, листа, радио) возросла настолько же, насколько современный снаряд превосходит снаряды пушкинского времени, и рядовой составитель телепрограммы обладает ныне большей силой воздействия на умы, нежели в свою эпоху Кант, Гегель и Спиноза вместе взятые.

Есть у Пришвина заметка, как шел он по московской улице и вдруг подумал: а в чем смысл этой улицы — с ее домами, машинами, шумом, спешащими людьми? Огляделся вокруг и увидел кучку детей, увлеченно играющих около тротуара. Увидел и понял — это и есть смысл, смысл этой улицы.

Так и люди, выпускающие материал, снаряды массовой информации, массового поражения умов и душ, должны понимать, в чем смысл даваемой ими картины мира, есть ли там дети, будущее, чистота, имея в виду которые, ради которых только и стоит описывать дома, улицы, проблемы, транспорт, всю мчащуюся в никуда жизнь...

Огромная задача, по существу новая и невиданная, лежит ныне на интеллигенции. Сейчас модно интеллигенцию всячески ругать, но никто в обществе не заменит ее роли и не выполнит ее миссии. Без ее участия Церкви одной не под силу

склеить разбитое общество. Но и без участия Церкви интеллигенция не выйдет из многих своих тупиков.

Возьмем, скажем, науку, близкую мне — психологию. Сколько десятилетий она тщила вместе с другими областями доказать, что не нуждается в такой гипотезе, как Бог. В результате — последовательное развенчание человека (в чем, конечно, не одна она принимала участие). Воистину, там где Бог мертв, и человек умирает. Вся история так называемой "научной" психологии — это история последовательных доказательств отсутствия души и духа (в этом плане это единственная, наверное, наука, которая доказывала, что то, ради чего она создана, что стоит в ее названии — душа (псюхе) — не существует). Вы думаете, например, что мысль — это дар Божий? Отнюдь — это задержанное движение (И.М.Сеченов). Вы думаете любовь — это великая тайна, имя самого Бога? Напрасно, это всего лишь сублимация половой энергии (З.Фрейд) и т.п. Вот и получалась в итоге психология без души, вполне подстать миру без души и духа. Такого рода психология может весьма тонко препарировать человека, но проходит мимо того, что соединяет и животворит отдельные механизмы и части; это психология процессов, но не жизни. Отсюда задача христианской психологии и христианских психологов — привнесение смысла существования самих психологических процессов и инструментов. Эта психология отнюдь не отменяет достижений прежней — она должна лишь указать их подлинное место, ведь тонкости, описываемые, скажем, Фрейдом, мы найдем даже у отцов Церкви. Но там они включены в такую систему, что приобретают подлинное свое место — место греховного тела, а не должествующих властвовать души и духа.

Это преобразование, христианизация должна, наконец, уничтожить вековой разрыв науки и религии — едва ли не самый болезненный разрыв некогда единого древа христианской жизни. "В прежние времена, — констатировал уже в 1894 году известный швейцарский естествоиспытатель Август Форель, — начало и конец большинства научных трудов посвящали Богу. В настоящее время почти всякий ученый стыдится даже произнести слово Бог"²². Теперь же надо искать пути сближения, соотнесения науки и религии как разных сторон служения — стороны материально-конкретной и стороны смысловой, без которой эта материальность бессмысленна, безжизненна и неуправляемо опасна.

²² А.Форель. Мозг и душа. СПб., 1907, с. 5.

Сознаю, что мой призыв к единению выглядит, конечно, нескромным — сколько выдающихся умов и сильных голосов выступало за подобное и все вроде бы без особого успеха. Так что может сделать мой слабый голос? Но меня подвигло к этим заметкам, во-первых, видение того, что психологическая сторона до сих пор обходится, не берется в должное внимание другими. Во-вторых, есть еще одна причина и надежда. Действенность подобных призывов определяется не одной силой авторитета того, кто их делает, но прежде всего тем, насколько он сумел правильно отразить, понять происходящее и выразить то, что думают другие. Сейчас принято полагать, что в свое время призыв А.И.Солженицына, его статья "Жить не по лжи" позволила выстоять интеллигенции в удушающие брежневские годы. Это не совсем так — очень многие не читали этой работы, не слышали этого клича, но действовали именно согласно предложенному Солженицыным кодексу. Иными словами, он резюмировал, назвал то, что было готово к исполнению и ждало, может быть, лишь этого толчка. Писатель, мыслитель — не первооткрыватель, а, в лучшем случае, первоназыватель, первовосприниматель, ибо — как у Мандельштама — "быть может раньше губ родился шепот, и в бездревесности кружились листья, и те, кому мы посвящаем опыт, уже до опыта приобрели черты". Поэтому публикуя эти заметки, я могу надеяться лишь на то, что они хоть в малой степени резюмируют, делают более явным, произнесенным, артикулированным то, что было для других в душе уже готовым, сложившимся, но не обретшим внешнего знака.

И последнее. Можно говорить о двух разнопорядковых обстоятельствах, позволяющих в нынешней — по сути, почти безнадежной — ситуации все же надеяться на христианизацию нашей жизни.

Первое обстоятельство — появление ярких и деятельных священников, пастырей, мирян, расширение видимых границ Церкви, открытость церковному делу пусть малочисленного, но уже достаточно значимого отряда светских общественных деятелей и ученых. Опорой на одно это обстоятельство, однако, не выйти из тьмы. Наша главная надежда и упование — Сам Господь, Матерь Божия, сонмы святых, в земле российской просиявших. Не дано человеку ничего построить своим хотением и своим умом, если не получает он благодати и помощи свыше. Вспомним аналогию с рекой. Та предельная точка, к которой надо стремиться и выше которой не подниматься, но и ниже нельзя опуститься — точка эта не абстрактна, не безразлична по отношению к идущему к ней. Точка эта и есть Христос, а наше движение определяется любовью и

тягой сердечной к Нему. И Он ждет нас, надеется на нас, стоит и стучит при дверях наших. Религия по некоторым толкованиям — это обратная связь (лиго — связь, ре — обратная), это живая связь с Вышним. Ибо Бог наш жив и пока это так, живы и мы.

Апрель-август 1992 года
Москва

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ

Выступления на международной встрече в Российской Академии Наук Э.Лозанского, В.Аксенова, В.Буковского, А.Зиновьева и В.Максимова

28 июня этого года в Российской Академии Наук под эгидой Института социально-политических исследований и Американского университета в Москве прошел международный симпозиум, посвященный нынешней ситуации в стране и перспективам будущего. На встрече выступили видные деятели России и русского Зарубежья — выступления этих последних мы и публикуем сегодня на страницах "Континента".

Такая избирательность объясняется не только тем, что, например, взгляды С.Станкевича, Г.Попова или А.Ципко, знакомы нашему читателю, вероятно, достаточно хорошо: они "наши", "местные" и часто выступают в печати, по радио и на ТВ — во всяком случае, гораздо чаще, чем зарубежные участники встречи. И дело также и не в том только, что состав этих зарубежных участников образовали основатель и бывший главный редактор "Континента" Владимир Максимов, член редколлегии "старого" "Континента" Владимир Буковский, члены редколлегии и "старого", и "нового" "Континента" Василий Аксенов и Эдвард Лозанский и давний автор "Континента" Александр Зиновьев.

Дело прежде всего в том, с чем приехали на Родину и что захотели сказать сегодня россиянам видные наши диссиденты, сыгравшие в свое время выдающуюся роль в сопротивлении коммунистическому тоталитаризму. Нам кажется, что при всем индивидуальном отличии позиций наших гостей, выступления большинства из них были объединены неким общим глубинным настроением, имеющим отношение к самой логике сегодняшней диссидентской мысли. Перед нами, можно сказать, некий новый этап ее развития — и даже, если угодно, своего рода ее итоги. Некоторые предварительные итоги диссидентской эпохи, вряд ли, как увидит читатель, оправдывающие те бодро-оптимистические надежды на терапевтический эффект выступлений наших гостей, которые прозвучали во вступительном слове Эдварда Лозанского, представлявшего на встрече Американский университет в Москве. Недаром встреча эта вызвала столь

бурную реакцию в нашей печати и так энергично освещалась в ней.

Впрочем, сейчас, на страницах этого номера, включаться в такое обсуждение не входит в задачи редакции. Тема, подвигнувшая наших зарубежных россиян к объединению (хотя отчасти и к размежеванию, особенно между В.Максимовым, А.Зиновьевым и В.Буковским, с одной стороны, и В.Аксеновым — с другой), давно уже и достаточно основательно обсуждается, как знает наш читатель, на страницах нового — русского — "Континента", а в следующем, последнем номере 1993 года мы тоже намерены подвести этому обсуждению некоторые предварительные итоги. Тогда и выскажемся.

А пока — просто предлагаем читателю познакомиться со стенограммами выступлений перечисленных выше авторов¹, ибо какова бы ни была наша реакция на те или иные их суждения, они должны быть прежде всего выслушаны — и очень внимательно. Тем более, что пока что российский читатель мог судить об этих выступлениях лишь по отдельным цитатам в газетных отчетах или (как, например, в "Правде") по сокращенным стенограммам, напечатанным к тому же без получения на то согласия авторов и без полагающихся в таких случаях ссылок на то, что полностью — и по согласованию с авторами — их выступления будут напечатаны в "Континенте".

ЭДВАРД ЛОЗАНСКИЙ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие друзья, дамы и господа!

Позволю себе несколько слов в качестве вступления.

Россия больна, больна тяжело. В этом вина как бывших коммунистических правителей, так и нынешней исполнительной, законодательной и судебной власти, а также — в большей или меньшей мере — и каждого жителя этой страны, включая тех из нас, кто в настоящее время живет вне ее пределов. Организаторы Круглого стола — Российская Академия Наук и Американский Университет в Москве — видят в участниках этой встречи умных, критичных и проницательных врачей, умеющих не только поставить диагноз

¹ А.Зиновьев предоставил для публикации в "Континенте" более полный текст своего выступления, чем тот, что был оглашен на конференции.

больному, но и направить его силы, его энергию на поиски путей выздоровления. Хороший врач может рассказывать своему пациенту всю правду о его болезни, но при этом он должен мобилизовать организм на борьбу с ней.

Россия обязательно выздоровеет, и для этого не обязательно ждать 500 лет. Колоссальный человеческий и природный потенциал России позволит при разумной политике ее лидеров и напряженной работе каждого гражданина выйти из кризиса в разумные сроки — но, разумеется, не за 500 дней.

Больному для выздоровления нужны положительные эмоции, поэтому давайте попытаемся сегодня для начала создать положительную эмоциональную атмосферу хотя бы в пределах одного отдельно взятого здания России, и это будет маленький шаг вперед. Затем с помощью средств массовой информации и сборника материалов этой встречи, который мы собираемся опубликовать, эти положительные флюиды будут распространяться во времени и пространстве, создавая вокруг себя положительную ауру, своеобразные зародыши положительной энергии.

В качестве начального положительного и весьма немаловажного момента я хотел бы поздравить нас всех с установлением своеобразного рекорда. Вот уже почти два года Россия является свободной демократической страной, и сам тот факт, что сегодня в Академии Наук находятся такие люди, как Аксенов, Буковский, Зиновьев, Максимов, в свое время высланные из страны, и мы можем вести здесь совершенно свободную дискуссию, — прямое тому доказательство. Я рассматриваю сегодняшнюю встречу как логическое продолжение тех бесед, которые в течение многих лет мы с Владимиром Максимовым организовывали в рамках Кельнского Клуба, а также знаменитого письма десяти, составленного Владимиром Максимовым и подписанного всеми сегодняшними зарубежными участниками Круглого стола. Тогда было, с одной стороны, тяжело, так как те требования, которые мы выдвигали, казались абсолютно нереальными, фантастическими. В то же время было и достаточно просто перед лицом общего врага находить удовлетворяющие всех слова и формулировки.

Сегодня такого врага нет, и это прекрасно. Но совершенно естественно это требует от нас не меньших, а больших усилий. Легче противостоять злу, чем созидать новое, но я уверен, что люди, сумевшие не только противостоять злу, но и победить его, сумеют найти новые, интересные, созидательные идеи.

Итак, — с Богом.

НА ПОЛПУТИ К ЗАПАДУ

Российская цивилизация завершает цикл, смысл которого мы сейчас стараемся угадать. Быть может, все — или основные — пороки этого цикла стояли на фанатичном следовании курсу так называемой "самобытности", российской исключительности и надуманному мессианству. Все истинное и естественное всегда связывалось с Россией. Восточное, то есть греческое, православие, привнесенное в Россию, становится единственным чистым потоком веры и слова. Даже и сейчас владыка одной из ветвей Русской православной церкви в недавнем интервью нашел возможным сказать, что единственной истинной религией в мире является Русская православная церковь, все же остальные, как христианские, так и внехристианские конфессии (а их в мире триста, добавил он) — от лукавого.

Русский коммунизм только внешне является концепцией западного или, так скажем, интернационального происхождения. Запад никогда не относился к марксизму с российской "звериной серьезностью". В западных странах марксизм прошел, как легкие приступы кори, в дальнейшем эффективные прививки были легко найдены. Россия ухватила за марксизм с яростью и фанатизмом прежде всего для того, чтобы обособиться. Истинной мишенью большевиков была не империя, а возникшее после реформ 1861 года почти либеральное общество почти западного типа.

Либеральные идеи федерализма уже тогда начали созревать даже в самых высших эшелонах имперской власти. Было замечено, что рост России, или, точнее говоря, ее расползание, начинает принимать какой-то зловеющий характер. От Поля Куликова Россия прибавляла ежедневно 54 квадратных версты. В 1909 году граф Сергей Витте вместе с группой других интеллектуалов-государственников подал Государю записку, смысл которой состоял примерно в следующем: Россия слишком велика. Мы можем не выдержать. Нам нужно сокращаться.

Никто из большевиков эпохи коммунистического расцвета не мог высказать такую крамольную мысль. Смысл их существования состоял именно в расползании и в затягивании все новых территорий в замкнутую сферу. Вместе с территориями в замкнутую сферу — или, по новому жаргону, в зону — затягивалась вся суть человеческой жизни. Для того, чтобы внутренний человек не трепыхался, все внешнее подвергалось хуле и вражде. Анти-капитализм на самом деле был яростным ан-

ти-западничеством. Бесконечно оперируя своими эвфемизмами, большевистская пропаганда говорила "империализм", а подразумевала "запад", "интеллигенция", "плюрализм", "личность".

Впрочем, в расцвете своего могущества, то есть при Сталине, большевизм научился называть вещи своими именами и проявил крайний национальный шовинизм, когда в одночасье изобретателем всех человеческих достижений был объявлен русский народ. Западу не оставили даже такую малость, как электрическая лампочка. Большевизм наконец-то проявил открыто свою шовинистическую суть. Исторически промежуточное расположение русской земли породило исключительное по своей численности поколение межеумков, которому в конце концов пришлось приветствовать сдвиг, отвергающий все стороны света, кроме национального коммунизма. Русь, которая в древности была дорогой, стала зоной. Семьдесят лет советского режима были по сути дела временем интенсивной разработки петровских, а главное — александровских, реформ. И они добились своего. Была создана отдельная "чуждая планета", а главное — был создан житель этой планеты, для которого люди извне были в лучшем случае какими-то мифическими существами, вроде кентавров. Для моего поколения советских юношей в начале 50-х изучение иностранных языков относилось к сфере абстрактных знаний. Никто никогда и не мечтал, что когда-нибудь эти знания можно будет применять для живого общения. Никто никогда не мечтал увидеть какого-либо иностранца, кроме военнопленного. Один мой друг однажды признался, что первая встреча с западным иностранцем произвела на него не меньшее впечатление, чем потеря невинности.

То, что произошло в результате всего этого разгула тупости, гордыни, тщеславия, утопических грез, звериной жестокости, вековой расхлябанности и высокомерия, властолюбия и забитости, в результате бездумного отторжения самих себя от своей собственной религиозно-этнической группы наций, известно всем. В конце концов, мы собираемся на форум о путях возрождения России.

Осмелюсь предположить, что возрождение нашей страны просто немыслимо вне контекста западной цивилизации. Для того, чтобы выжить — или даже просто предложить своим детям и потомкам лучшую жизнь — мы должны просто напросто, отбросив все свои благоглупости, осознать себя частью европейско-американского, христианского мира.

Без Запада невозможно ни одно наше возрожденческое мероприятие, вообще неосуществим задуманный ренессанс. Пытаясь в одиночку перестроить нашу чудовищную промышленность, мы уподобились бы человеку, который хочет разобрать танк и построить из его частей концертный рояль.

Нечего и говорить о том, насколько мы беспомощны в области торговли, и особенно в области торговли предметами человеческого спроса. В этой сфере каждый наш гражданин, начиная от парикмахера и кончая главами фирм, должен признать себя учеником первого класса западной школы.

Русский никогда не отличался особенной чистоплотностью и благоразумным отношением к окружающей среде, а за годы бесконтрольного хозяйничания большевиков из всего свода народных мудростей усвоена была лишь одна, самая пугающая — "сор из избы не выносить". Грозным предостережением Провидения ветер из Чернобыля пошел на запад, иначе мы бы никогда не узнали о беде и продолжали бы строить свой смертельно опасный социализм. Запад как основное средоточение мирового здравого смысла и в области экологии пришел, или приходит, к разумным концепциям. Без его опыта в этой сфере, мы бессильны, потому что до сих пор думаем только сиюминутными категориями или забываем даже о них. Почему, например, в Москве, как в Лос-Анджелесе, не сообщается ежедневно химический состав воздуха в разных районах города? Пресловутый смог лосанджелесского даун-тауна — это океанский бриз в сравнении с воздухом московских набережных и Садового кольца.

Помнится, все почтовые отделения в Советском Союзе были украшены ленинской мудростью: "Социализм без почт, телеграфа, машин — пустейшая фраза!" Социализм держал в своих наждачных лапах почту, телеграф и машины, но без западных компьютеров он оказался еще одной пустейшей фразой. Последствия изоляции разрушили саму изоляцию, однако в практическом смысле мы до сих пор еще живем в дремучую ленинскую пору.

Даже и в той области, где самыми пышными лопухами цвела наша "гордость великоросса", то есть в вооруженных силах, назрела необходимость в западном опыте, в превращении гигантской рекрутчины в эффективный отряд профессионалов, специалистов по обороне.

В конце 1962 года я впервые покинул пределы социалистического лагеря и отправился в составе маленькой писательской делегации в Японию. Там на пресс-конференции журналисты меня спросили: "Вы впервые на Западе, Аксенов-сан?" Мой ответ вызвал сочувственный смех в зале: "С каких пор Япония стала располагаться к западу от России?" Все конечно знали — с наших. Россия стала смещаться к Востоку, начиная с 1917 года, а Япония ушла на Запад после своего военного поражения в 1945. Только полное открытие на Запад обеспечило феномен японского процветания, а ведь ей это было, очевидно, труднее сделать, чем России, как этнически и религиозно чуждой цивилизации.

За два года, прошедшие с Августовской революции, Россия прошла большой путь к новой реальности, но все-таки ее не достигла. Запад пока что только вглядывается внутрь с российских порогов. Мы приглашаем, однако все еще с привычной советской лукавиной. Нам кажется, что ее никто не замечает, однако Запад видит, что психологически мы еще отдалены, он не вполне уверен в наших намерениях.

В этот раз, направляясь на родину, я не летел над Атлантическим океаном, а пять дней плыл по нему на большом пассажирском пароходе. Кажется, я был единственным русским среди двух тысяч пассажиров. Это вызывало любопытство у попутчиков-бизнесменов. Валите в Россию, ребята, говорил я им, страна огромных возможностей. Ребята сдержанно кивали и почесывали свои толковые башки. Возможно-сти, конечно, есть, но и сомнений навалом: огромные налоги, таможенные барьеры, политическая нестабильность, рост национализма...

Разговоры такого рода ведутся повсюду на Западе. Мы жаждем получить режим наибольшего благоприятствования, а сами практически не очень-то благоприятствуем западникам, желающим вкладывать деньги и получать прибыли. Между тем преодолеть порочный круг можно, только открыв все возможные двери и с открытой душой пригласив войти без оглядки.

Постоянно слышатся разговоры о том, что Запад хочет пожить за счет России. Хорошо, если бы нашлось достаточно того, чем можно пожить. Природа современного западного бизнеса такова, что, поживляясь, он неизбежно создает двухстороннее движение, в котором выигрывает не только он сам, но и та сторона, за счет которой он поживляется. Кто сейчас покупается на трепологию об империалистическом ограблении?

Мы должны во всех сферах, как внешних, так и внутренних, закончить нашу столетнюю войну с Западом. Когда-то было сказано: "Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и дикими глазами". Однако не следует забывать, что сказано это было поэтом с внешностью итальянского католического юноши, с кудрявым ореолом волос и патрицианским носом, да к тому же еще и с немецким именем. "Поскребите любого русского и найдете татарина", сказал в прошлом веке высокомерный пруссак, и это верно. Однако прежде, чем вы доберетесь до татарина, перед вами может мелькнуть и немец, и еврей, и поляк, и француз, а под татаринком, копнув глубже, вы непременно обнаружите и варяга, и грека. С другой стороны, поскребите любого татарина и вы найдете русского. В силу равнинного расположения и перекрещения дорог здесь образовалась, может быть, самая космополитическая компания. Мы все перемешались и создали российский этнос европейс-

кого типа. Мое поколение советских людей выросло почему-то с сильной ностальгией по Западу, присоединившись таким образом к Пушкину и Лермонтову, а не к Павке Корчагину. Однако, не только Россия томилась по Западу, на Западе тоже всегда жила грусть по утраченной России. При всем вполне понятном подозрении и готовности к отпору Запад явно мечтал о каких-то фантастических временах, когда Россия вернется со всеми своими борщами и Достоевскими. И вдруг эти фантастические времена настали. Возникла возможность приобщить Россию к семье наций и сделать немислимой войну между Россией и Западом, как немислима, скажем, сейчас война между Францией и Англией, когда-то сто лет подряд трепавших друг дружку.

Мне кажется, что Запад испытывает сейчас не только чувство облегчения от ослабления угрозы, но и чувство прибавления семейства, как будто некий родственник возвратился в родные места после ссылки. Не исключено также, что Запад подспудно ощущает приход России как прибавление общей силы, нечто вроде "нашего полку прибыло" — перед лицом грядущих гео-этнических конфронтаций.

В исторически короткий срок в мире, очевидно, начнется кардинальная перестановка сил. Российский тоталитарный марксизм рухнул, но это не значит, что угроза тоталитаризма исчезла. Новые чудовища поджидают нас за углом. Гигантская человеческая масса Китая, соседние КНДР и Вьетнам объединены идеологией азиатского коммунизма. В лице Ирана и некоторых арабских стран крепнет новый непримиримый соперник западной демократии. Гуманистическая религия ислама при помощи хитроумных махинаций превращается в тоталитарную идеологию.

В этих условиях Запад инстинктивно и рационально, хотя бы основываясь на этнической и религиозной общности, видит в России прибавление своей силы.

В этом пункте сходятся в единый пучок интуиции России и Запада. В смутные времена дробления и непредсказуемых перестановок Россия обретает могучий тыл, готовый в любом случае прийти на помощь. Альтернативой этому союзу будет только распад на кучки жалких сателлитов нового тоталитаризма и вырождение российской цивилизации.

Помимо этих глобальных соображений следует еще сказать, что без российского творческого и интеллектуального потенциала Запад уже сейчас почувствует себя обделенным. Грандиозная выставка русского авангарда в Музее Гугенхайма показала американцам, что Россия далеко не всегда была имитатором западных течений. В академическом мире США сейчас бытует шутка: "Чтобы получить хорошую работу, надо быть физиком и говорить с русским акцентом". Как-то я познакомился с бизнесменом, который изучает российскую тех-

нологию и закупает патенты. "Оторванные от мира, они искали свои пути, — говорит он, — и нередко находили оригинальные решения". Так что дело не всегда пахнет керосином, если иметь в виду жажду природных ресурсов.

Хорошо известен тип русского человека, который повсюду находит заговоры против своей уникальности, который никогда не устанет видеть в Западе коварного обманщика. Он говорит, что Россия, интегрированная с Западом, потеряет свою самобытность, чуть ли не родной язык забудет, бедная красавица.

Этот тип русского человека напоминает мне одного писателя-почвенника из издательства "Современник", который при виде первых вывесок "Пепси-колы" впадал в сущую истерику и вопил: "Нам этого не нужно! У нас свой напиток есть, квас! Квас лучше!". Как-то я ему сказал: "Да пусть будет и то, и другое". Он захлебнулся, ошеломленный.

Голландец, будучи жителем Запада, остается голландцем. Швед есть швед, француз — француз, простите мне прописные истины, но итальянец — это итальянец, не говоря уже об испанце. Благополучному народу легче сохранить свою самобытность, чем люмпенизированному злобному сброду. Россия, став частью западного мира, конечно останется Россией, несмотря на настырный напор западной массовой культуры, больше того, она сможет, хотя бы отчасти, повлиять на Запад в сторону улучшения вкуса и смягчения тоталитарных тенденций, существующих и на Западе.

Я имею в виду, разумеется, массовый рынок культуры, навязывающий повсюду свои торговые стереотипы. Русские со своим опытом противостояния тоталитарщине могли бы прервать порочный круг навязывания вкусов.

Пока этого, к сожалению, не происходит. Пока что мы поглощаем только дешевку, преисполняемся пиитетом совсем не перед тем, перед чем надо преисполняться, вклад наш в общее европейское дело еще очень мал.

Но это только начало. Со временем, надеюсь, Россия и другие страны, входящие в то сообщество, которое могло бы в будущем стать чем-то вроде "Pax Rossiana", — станут неотъемлемой частью западной цивилизации, а советский человек избавится от своей постоянной глумливой, трусливой и наглой ухмылочки в адрес Запада.

Сказанное вовсе не означает прекращения анти-западной школы в России, но только настораживает против ее фашистско-коммунистических тенденций. Парадокс состоит в том, что западный путь обеспечит развитие всех школ мысли, в том числе и антизападной, в то время как антизападный путь прихлопнет всех.

Post scriptum: Межеумочный ступор обеспечит еще одно столетие убожества.

ВЫ ПОЛУЧИЛИ РОВНО ТО, ЧТО ХОТЕЛИ

Быть может несколько неожиданно я хотел бы начать с поздравления Александру Зиновьеву с его первым приездом в Москву и пожеланием ему большого успеха, которого он безусловно заслуживает. Что же касается меня, то это мой далеко не первый приезд в эту страну, но, боюсь, один из последних. Чем чаще я сюда езжу, тем меньше у меня остается надежды на ее возрождение. Тем меньше я чувствую, что хоть как-то могу этому возрождению помочь или хоть что-то сюда принести.

Было время, когда известное высказывание о том, что каждый народ заслуживает свое правительство, нельзя было, с моей точки зрения, по всей справедливости применить к нашему народу, поскольку он коммунистов не выбирал. Было время, когда рабское послушание тоталитарному режиму и готовность с ним сотрудничать легко можно было объяснить просто страхом репрессий. Тогда, в те годы, я считал себя вправе, да и более того — обязанным говорить от лица тех, кому закрыли рот, бороться за право свободного выбора внутри страны и защищать достоинство этой страны за рубежом. В те времена, когда одно слово правды было сильнее многих дивизий, потому что за него платили жизнью, я считал почетной обязанностью этой стране служить. Сегодня у меня нет ни этого оправдания, ни этого права. После крушения коммунистического режима, возникшего в результате его полного истощения, страна имела возможность выбрать то руководство, которое она заслуживает, и обрести себе тех героев, которыми она желает восхищаться. К сожалению, я должен сказать, большинство из них не относятся к тем людям, с которыми я хотел бы оказаться за одним столом.

Вот небольшой, но, с моей точки зрения, очень показательный пример. Я привез его специально с собой. Это интервью популярной английской газете известного вам человека, бывшего генерала КГБ, а ныне большого героя российской демократии Олега Калутина под гордым заголовком: "Я организовал убийство Маркова". Для тех из вас, кто не знаком с деталями этого дела, напомним вкратце, что Георгий Марков, болгарский диссидент, был убит в 1978 г. в Лондоне при очень загадочных обстоятельствах: отравленным шариком, выстреленным из специально сделанного зонтика. Он был убит за то, что в своих передачах по радиостанции "Свободная Европа" говорил правду о болгарском коммунистическом боссе Тодоре Живкове. И вот сегодня генерал Калутин не без

гордости рассказывает нам, как он это убийство организовал по просьбе болгарских товарищей и как за свои усилия был награжден подарком — охотничьим ружьем. Сам по себе пример может быть и не интересен и о нем можно было бы не упоминать, если бы не полное отсутствие раскаянья в этом интервью, каких-либо угрызений совести. Калутин считает, что он полностью оправдан, когда ссылается на приказ Андропова. Он говорит: было бы самоубийственным для меня не подчиниться приказу Андропова. Как будто бы ровно такие же объяснения и оправдания человечество уже не отвергло 46 лет назад, как будто бы ровно эта линия защиты не была уже опробована на Нюрнбергском процессе, но не спасла его немецких коллег.

Этот пример вам может показаться крайним, может быть резким, может быть исключительным. Но так ли это? Я уже не говорю о том огромном количестве просто бывших работников КГБ, которых можно найти и в аппарате, и в Верховном Совете, и в исполнительной власти. Я уже не говорю о том, что все те судьи, которые в свое время посылали нас в ГУЛАГ, до сих пор судьи. И судят других людей. Это как бы деталь. Но посмотрите хотя бы на новых лидеров, на тех новых руководителей, которых вы выбираете. Разве это не те самые люди, которые привели страну к нынешнему краху, нынешней разрухе? Или, по крайней мере, способствовали этому весьма активно? Разве они не оправдывают себя тем, что выполняли приказ начальства? И вот, в отличие от остального человечества, которое морально отвергло такие оправдания 46 лет назад, здесь, в этой стране, их продолжают принимать как должное. Более того — довольно значительное большинство бывшего советского населения даже предпочло таких людей их оппонентам, очень часто бывшим политзаключенным — ну, в частности, пару лет тому назад на Украине или совсем недавно в Литве. И если это большинство действительно верит, что в их странах может наступить национальное возрождение под руководством бывших членов Политбюро Кравчука и Бразаускаса, или в Грузии под руководством Шеварнадзе, а Азербайджане под руководством Алиева, то я желаю им удачи, но в удачу эту я не верю. И точно также не приведут вас к лучшей жизни все те стареющие комсомольские вожди и партийные чиновники, которых вы выбрали в России. Глядя на них, я невольно вспоминаю старый, популярный в 63-м году анекдот о том, что три качества несовместимы в одном человеке — ум, честность и партийность. И поэтому теперь, когда вы выбираете их, у вас должна быть мучительная процедура выбора в основном между дураком и подонком. Для большинства из этих людей потрясение, недавно произошедшее в России, вовсе не означает революцию, они не воспринимают это как революцию,

освободившую людей от тоталитарного контроля, а стало быть требующую некоторого совершенно иного концептуального видения будущего. Они воспринимают это как продолжение своей карьеры, вполне для них естественной. Как возможность перейти из областных кресел в республиканские в той же самой системе иерархической структуры. Демократия, как правило, для них означает не что иное, как хорошо контролируруемую социалистическую "демократию", в то время как рыночная экономика означает для них в лучшем случае не что иное, как коррупцию. Поэтому в лучшем случае от них можно ожидать преследования любой частной инициативы или в худшем — оправдания своей собственной коррупции нуждами рыночной экономики. Короче говоря, если эти люди и способны что-либо создать, то скорее всего новую мафию на месте старой. Новую политическую систему, которую за неимением специального термина, я бы назвал клептократией, — ну, как в слове клептомания. Это тот самый третий путь, о котором они так любят говорить. Наше будущее, если так будет продолжаться, как идет сейчас, очень легко увидеть, даже не прибегая к черной магии. Я вам такой пример приведу. Вот есть в Африке страна, называемая Нигерия. Это большая и богатая страна. В ней живет более 120 миллионов населения. В ней очень много природных богатств, газа, нефти и иных минералов. И у нее были все возможности стать одной из преуспевающих стран мира, поскольку после ее освобождения и провозглашения независимости в 1960 г. она получила почти безграничную помощь, субсидии и кредиты от различных международных финансовых институций — таких, как Мировой банк и Международный валютный фонд. Более того, если смотреть со стороны, то в ней существует даже вроде бы и демократия, и рыночная экономика. И однако это одно из наиболее несчастных мест на планете, — ровно потому, что она выбрала в свое время подобного рода "третий путь" и управляется теперь этой самой клептократией. Столица государства Лагос — один из наиболее дорогостоящих городов на земле. Никакой нормальный человек там не в состоянии просуществовать, даже средний турист там не может прожить больше, чем несколько дней. Он просто не может себе это позволить. Таким образом, эта столица оказалась населенной в основном или представителями международных компаний и организаций, или их местными партнерами из числа коррумпированной элиты, через руки которых проходят и все богатства страны, и вся международная помощь. В то же время страна за пределами Лагоса продолжает оставаться такой же нищей, как Эфиопия, и это состояние продолжается уже более тридцати лет и может, наверное, продолжаться до бесконечности.

Это и кажется мне наиболее вероятным сценарием, хотя и печальным, нашего российского будущего, за исключением, может быть, того, что, в отличие от Нигерии, Россия еще и распадется на много составных частей. Может быть, — до уровня удельных княжеств, которое каждое будет печатать свою валюту, каждое создаст таможенную службу и еще каждое будет ссориться со своим соседом. Очень легко себе представить, как лет через 10 все будут сидеть по своим суверенным деревням и ворчать, жаловаться, и обвинять во всем несчастную судьбу России, обвинять кого угодно в своих несчастиях, кроме самих себя; кого угодно — иностранцев, ЦРУ, только не самих себя, хотя в реальности все произошедшее — результат вашего собственного выбора, и винить больше некого. Это был ваш сознательный выбор, благодаря которому вперед, на позиции власти в стране в посткоммунистический период вышли ровно те самые люди, которые и привели ее в это состояние; те самые люди, которые вчера служили Империи зла, которые гадили и преследовали этот народ 75 лет, а теперь оказались отъявленными демократами, хотя все прекрасно знают, кто они.

Таким образом, возникшая сейчас картина печальна, но очень похожа на некогда сказанное Галичем в одной из его песен: а над гробом встали мародеры и несут почетный караул: но это был ваш выбор. И правда, печальная правда, состоит в том, что наше общество никогда не набиралось мужества, чтобы встать против тоталитарного режима, оно никогда не могло выдвинуть из себя раба — ни по капле, ни струйками, и вместо того, чтобы сопротивляться злу, каждый норовил к нему приспособиться, устроить свою карьеру и каким-то образом продолжать жить. Я никогда не забуду, как освободившись из тюрьмы где-то в 65-м году, я внезапно не мог найти ни друзей, ни знакомых. Все они как-то мистическим образом исчезли. И вот даже если я случайно кого-то из них встречал на улице, — этот человек или толкал вперед коляску с ребенком (вроде моральная опора своему существованию), или торопился с портфельчиком под мышкой и, не поднимая глаз от земли, бубнил: "Извини, старик, у меня теперь обязанность воспитать детей, сначала — получить степень, защитить диплом, вот только потом можно о чем-то говорить"... Для них это казалось прекрасным объяснением, оправданием их компромисса со злом — наличие детей, необходимость защищать диплом, написать очередную книгу и т.п., а я никак не мог понять — и действительно недоумевал, — зачем все это, неужели не понятно, что отдавать свой талант, свои способности этому режиму в руки совершенно бессмысленно? Это ни к чему не приведет, а все, что ты этому режиму отдашь, будет использовано против человечества, ему во вред, а стало быть и тебе не на пользу. Я никак не мог понять, как

можно воспитывать и растить детей в этой стране, в которой в результате они станут или убийцами, или убитыми, или палачами, или жертвами. Ведь никакого другого продукта эта чудовищная система создать не могла.

И действительно, ровно это и случилось через 20 лет. Те самые дети, которые казались таким удобным предлогом для компромисса с совестью, были посланы в Афганистан, чтобы стать или убийцами, или убитыми, а те самые драгоценные дипломы и ученые степени, книги и прочие достижения, не спасли страну от разрухи и не помогли ей выжить в критический момент. Но они сделали тех, кто участвовал в этом процессе, соучастниками преступления вольно или невольно — и до такой степени, что когда пришла возможность стране освободиться, никто уже не знал, что это такое, и никто не захотел рисковать. Все, что оказались способны делать — это провозглашать одного или другого бывшего партийного аппаратчика очередным спасителем человечества, очередным спасителем отечества, будь то Горбачев или Гайдар, Ельцин или Явлинский, и в тот самый момент, когда народная революция постучалась в дверь в апреле 1985 г., вдруг обнаружило наше общество, что старый режим ему ближе неизвестного нового, что оно меньше боится партии, чем народа. Я в это время был случайно в Москве и помню эти дебаты. Я был наверное одним из немногих, кто говорил о необходимости всеобщей забастовки, кампании гражданского неповиновения в поддержку бастующих шахтеров, а в остальном, как я помню, все были только напуганы: говорили о необходимости левоцентристской коалиции, Новоогаревского сговора, о каком-то круглом столе с партией, хотя об этом круглом столе говорить было нелепо, даже в Польше эксперимент Круглого стола к тому времени был признан ошибочным. А уж здесь, без тех мощных многомиллионных масс "Солидарности", которые были в Польше, все это могло привести только к моральной капитуляции.

Словом, московская интеллигенция испугалась — так же, как испугались все те именовавшие себя демократией, формулировавшие политику оппозиции деятели, которые заговорили о том, что это опасно, что может быть военный заговор, кровопролитие... Как будто все это не началось с января 1991 г. Между тем это был один из наиболее решающих моментов в нашей истории. Впервые за 75 лет безжалостного коммунистического режима страна была готова бросить ему вызов ненасильственный, но решительный. Этот импульс, объединявший в то время все группы и национальности нашей страны, был уже и сам по себе бесценен, потому что только те, кто обретает свое достоинство, могут создать новое общество. Новая демократическая система не может появиться в стране, если люди сами ее не завоюют, если они не достигнут моральной

победы, потому что хотим мы этого или не хотим, но свободу получить нельзя, ее можно только завоевать. Но тогда все испугались, испугались свободы и связанной с ней ответственности. И выбрали то, что тогда называли и теперь называют социальным миром. Что ж, наслаждайтесь этим социальным миром. То, что вы сейчас имеете, это и есть плоды социального мира с номенклатурой, которую вы и выбрали. Вы получили ровно то, что хотели, потому что никогда этой стране не хватало мужества освободиться. И, таким образом, вы как бы оказались между небом и землей, во взвешенном состоянии. Здесь все еще нет ни демократии, ни рыночной экономики. Но обе идеи уже полностью дискредитированы. И что же вы теперь будете делать — сидеть и ждать еще одного спасителя, еще одного героя? Кто же он будет на этот раз? Генерал Руцкой, большой специалист по уничтожению мирных кишлаков, или генерал КГБ Стерлигов, или андроповский помощник Вольский, или горбачевский помощник Явлинский? Кого вы будете теперь ждать? Я прошу прощения за некоторую резкость того, что я говорю. Я вовсе не хочу доказать, что кто-то виноват в происходящем больше, чем другой. Напротив, я хочу сказать, что возрождение этой страны невозможно без нравственного возрождения, без осознания того, что все мы внесли свою лепту в это несчастье, что все мы в какой-то степени виноваты. К сожалению, страна до сих пор не излечилась от коммунистических болезней и прежде всего потому, что не хочет посмотреть себе в душу и признаться в соучастии в преступлениях этого режима, осознать их, постараться от них избавиться. Чем дольше это не происходит, тем меньше, с моей точки зрения, шансов на выздоровление. Наивны те люди, которые думают, что можно легко перешагнуть через горы трупов и реки крови и идти себе вперед, не оглядываясь, как будто ничего этого не случилось, — рука об руку и палач, и жертва. К сожалению, таких чудес не бывает. Прошлое возвращается. И не дает людям жить дальше. Ничто положительное не может возникнуть в атмосфере лжи, обмана, подозрения и недоверия. И чем дольше все это продолжается, тем меньше я, например, верю в какую-либо пользу своих приездов, в какую-либо возможность что-либо делать, тем меньше я чувствую себя дома здесь, в этой стране.

Но это же чувствуют, я думаю, и те, кто сейчас управляют нашей страной. Всего не далее, как две недели тому назад, 14 июня, я вдруг услышал замечательную новость по "Новостям" Останкинского телевидения о том, что здесь, в Москве, Конституционное совещание приняло новую поправку к новой Конституции, которая рассмешила до слез меня своей трогательной откровенностью. Эта поправка говорит о том, что не может избираться в Президенты России никто, кто жил за пределами России последние 15 лет и имеет иностранное

гражданство. Казалось бы, страна, которая стремится к демократии и рыночной экономике, должна приветствовать людей, которые хотя бы что-то знают о том и о другом и знают не понаслышке, не по книгам, а из первых рук. Казалось бы, все должно быть ровно наоборот, как в Чехословакии, где на 5 лет запрещена политическая деятельность всем тем, кто занимал руководящие посты при коммунистическом режиме. В этом, по крайней мере, заложен тот смысл, что страна предупреждает, предотвращает возможность возвращения старого режима. Но в России все шиворот-навыворот и вверх ногами. Здесь изобретают всегда третий путь. В данном случае путь этот в том, как создать демократию без демократов. Надеюсь, мне не нужно объяснять вам, кто и почему был вынужден жить за границей 15 лет, — также как мне не нужно объяснять вам, кто и почему торопился принять новую поправку. Как говорится, на воре и шапка горит. Эти люди знают, что у них нет ни малейшего морального права находиться там, где они находятся. Но я поражен этой памятью, поражен этим испугом. Я никак не могу понять — в чем дело, кого так внезапно испугались? Никто из нас, никто из людей, которые так или иначе подходят под квалификацию этой поправки, никогда не проявлял ни малейшего намерения отнять теплые кресла у правящей власти. Совсем напротив, каждый из нас многократно объявлял о своей лояльности к существующему режиму и, в общем-то, нежелании как-либо участвовать в политической борьбе. Более того — мне кажется, я неоднократно говорил и о том, что для меня сама мысль о необходимости состязаться с бывшими генералами КГБ и партийными работниками за доверие народных масс просто унижительна. Я не могу себе представить, что я выйду к людям и скажу — голосуйте за меня, бывшего политзаключенного, а не за моего кgbэшного тюремщика. Такая мысль для меня и оскорбительна, и смешна. Страна, в которой нужно объяснять такие вещи, безнадежна, так что я не вижу никаких оснований для такого беспокойства, такой паники — пусть товарищи успокоятся. И более того — чтобы еще более их успокоить, я вполне готов вернуть свой недавно обретенный российский паспорт, вернуть недавно обретенное российское гражданство и больше никогда сюда не приезжать. В самом деле — а почему я должен ехать в страну, которая официально объявляет меня гражданином второго сорта? Даже в Англии, в стране, мне ничем не обязанной, никто не запрещает мне легально заниматься любой политической деятельностью, даже стать премьер-министром, если мне это почему-то взбредет в голову. Даже в Америке достаточно родиться на территории Соединенных Штатов Америки, чтобы иметь право избираться потом в президенты, независимо от того, где вы провели после-

дни 15 лет. В России, в стране, в которой пытаются уйти из прошлого, страшного диктаторского прошлого, такое законодательство просто нелепо. Но оно есть. Оно создано людьми, которые боятся настоящего и будущего.

Я хотел бы закончить пожеланием того, чтобы все-таки произошли какие-то сдвиги, какие-то изменения в нравственной сфере, потому что, повторяю, без этих изменений я не верю ни в какие последующие успехи, ни в какое возрождение. И прежде всего хочется надеяться, что появятся какие-то новые более активные тенденции у нового поколения, входящего в жизнь. Одной из потрясающих черт нынешнего кризиса, с моей точки зрения, именно то и является, что наиболее пассивной частью нашего общества стала молодежь. Это беспрецедентно, я не знаю в истории ни одного примера потрясений социальных, тем более революций, которые происходили бы без участия молодежи. Мне кажется, что если молодежь в этой стране не найдет себе дела, не увидит возможности изменения, мирного законного изменения страны, системы, то никогда и ничего здесь и не произойдет. И все то, что мы в свое время сделали, все наши попытки сохранить хотя бы какой-нибудь огарок надежды — все это окажется напрасным. И это для меня было бы очень печально.

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

ОТ КОММУНИЗМА — К КОЛОНИАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Моя позиция

У меня никогда не было никаких намерений и планов преобразования России. Нет их и сейчас. И вряд ли они появятся в будущем. Я не политический деятель, не идеолог и тем более не советчик, указующий людям, как им следует "обустраивать" свое общество. Я всего лишь исследователь. Мои намерения никогда не шли и не идут дальше желания понять российскую (а ранее — советскую) реальность по возможности объективно и на основе своего понимания делать какие-то прогнозы относительно ее эволюции в будущем. Я изложил мое понимание в многочисленных публикациях, которые остались почти или совсем неизвестными в России. В числе этих публикаций — книги "Коммунизм как реальность", "Сила неверия", "Кризис коммунизма", "Светлое будущее", "В преддверии рая", "Желтый дом" и "Смута", до сих пор не опубликованные в России. А то, что как-то

просочилось сюда, не дает адекватного представления о моих воззрениях.

У меня нет надежды на то, что отношение к моему творчеству в России может измениться к лучшему. Тем не менее я счел своим долгом высказаться по поводу положения в России и ее будущего.

Коммунизм

Слово "коммунизм" не отличается однозначностью и определенностью. Во избежание терминологической путаницы и бессмысленных терминологических споров я здесь словом "коммунизм" (или "коммунистический социальный строй") буду называть тип общественного устройства, какое можно было наблюдать в Советском Союзе до 1985 года, в странах советского блока в Восточной Европе, в Китае, Вьетнаме, Северной Корее и других странах. Что касается тех, кто считает, будто советское общество не было настоящим коммунизмом, я готов признать их мнение справедливым лишь при условии, что они построят "настоящий коммунизм" в реальности, а не только в воображении.

Я отвергаю марксистское учение о двух стадиях коммунизма и о "полном коммунизме" как высшей стадии. Это учение нелепо с научной точки зрения. То, что мы видели в России в сталинские и особенно в брежневские годы, это и было настоящим и полным коммунизмом. И никакой другой в природе просто невозможен в силу объективных социальных законов. Он может быть хуже или лучше в каких-то отношениях и в различных странах. Но суть его не может быть никакой иной.

Я отвергаю широко распространенное мнение, будто коммунизм в России чужд русской истории и русскому народу, будто он был навязан кучкой идеологов массам доброго и хорошего населения путем насилия и обмана, вопреки воле, желаниям и интересам масс. Коммунизм есть социальная организация огромных масс людей, а не просто политический режим. Он сложился в России не по марксистскому проекту — такого проекта вообще не было, а в силу объективных законов организации больших масс людей в единый социальный организм, причем — в условиях борьбы людей за самое обычное физическое выживание. Он явился результатом исторического творчества миллионов людей, которые либо вообще не имели никакого понятия о марксизме, либо знали его весьма смутно и интерпретировали его на свой лад. То, что получилось, лишь по некоторым признакам похоже на марксистские идеи. Говоря так, я ни в коем случае не подвергаю сомнению роль марксистских идей в борьбе людей за коммунистическое общество. Но идеи, вдохновляющие исторические движения, редко совпадают с сущностью этих движений буквально. Ведь

и нынешние реформаторы российского общества вдохновляются такими идеями, которые мало что общего имеют с тем, что они творят на самом деле. Старая мудрость сохраняет неувядающую силу, дорога в ад вымощена благими намерениями.

Коммунизм в России возник не на пустом месте. Он имел здесь исторические предпосылки, исторические корни. Корни (предпосылки, зародыши, элементы) коммунизма существуют в самых различных обществах. Существовали они и в дореволюционной России. Существуют они и в странах Запада, без них вообще невозможно никакое достаточно большое и развитое общество. Так что утверждение марксистов, будто коммунистические социальные отношения не вызревают в некоммунистическом обществе, просто фактически ложно. Корнями (зародышами, элементами) коммунизма являются социальные феномены, которые я назвал феноменами коммунальности. Они обусловлены тем, что большое число людей вынуждается в течение жизни многих поколений жить как единое целое, совместно. К ним относятся, например, объединения людей в группы, отношения начальствования и подчинения, государственные учреждения, профсоюзы, партии, полиция, армия, секретные службы и т.д. В определенных условиях коммунальные феномены могут стать доминирующими и всеобъемлющими в обществе и породить специфически коммунистический тип общественного устройства, как это и произошло в России после 1917 года.

Коммунистическое общество является не менее естественным социальным образованием, чем любое другое, и в том числе — западное. Оно имеет свою специфическую социальную структуру и свои объективные закономерности функционирования. Эти структура и закономерности не имеют ничего общего с тем, как это общество изображалось в советской и тем более в западной идеологии, претендующих на статус социальной науки, но не содержащих в себе ничего научного.

В западной идеологии и пропаганде, а вслед за ними — и в прозападной российской пропаганде после 1985 года коммунистический (советский) период российской истории рассматривается как черный провал. Россию даже окрестили "империей зла". Я считаю это не просто заблуждением, а умышленной и беспрецедентной в истории человечества фальсификацией реальности. Коммунистическое общество, как и всякое другое, имеет свои недостатки, — идеальных обществ вообще не существует. Но оно имеет и достоинства. Кстати, на Западе в свое время именно заразительный пример достоинств коммунизма породил тревогу. Уже сейчас многие люди бывших коммунистических стран с тоской вспоминают о том, что они потеряли, разрушив коммунизм. И советский период

русской истории был не провалом, а, наоборот, самым значительным периодом. Нужно быть просто циничным негодяем, чтобы отрицать то, что было достигнуто и сделано в этот период именно благодаря коммунизму. Потомки, которые более справедливо отнесутся к нашему времени, будут поражены тем, как много сделано в нашу эпоху, причем — в тяжелейших исторических условиях. Я никогда не был и не являюсь апологетом коммунизма. Но самое элементарное чувство справедливости заставляет воздать ему должное.

При исследовании и описании коммунизма надо различать то, что вытекает из его внутренних закономерностей, и то, что связано с конкретными историческими условиями его возникновения и выживания, а также с условиями борьбы за существование в окружающей среде. Коммунизм в России возник в условиях краха монархической системы и ужасающей разрухи вследствие первой мировой войны. Затем — Гражданская война и интервенция. Угроза реставрации дореволюционных порядков и нападения извне. Нищее и безграмотное население, разбросанное по огромной территории. Около ста различных национальностей и народностей с феодальными и даже родовыми социальными отношениями. Подготовка к войне с гитлеровской Германией и сама война, которая стоила Советскому Союзу беспрецедентных жертв. После короткой передышки — подготовка к новой войне и "холодная война". Если вырвать ситуацию в стране и политику советского руководства из этого исторического контекста, то она покажется серией глупостей и преступлений. Но это не было глупостью и преступлением, хотя и глупостей было немало, а о преступлениях и говорить нечего. Это была трагическая и беспрецедентная по трудности история. Будь в стране иной социальный строй, она была бы разрушена и растащена по кусочкам. Страна выжила главным образом благодаря новому социальному строю — коммунизму. И нельзя все дефекты жизни в Советском Союзе относить за счет коммунизма. Многие из них результат неблагоприятной истории.

Кризис коммунизма

Советская идеология, настаивая на неизбежности кризисов при капитализме, считала коммунистическое общество бескризисным. Это убеждение разделяли даже критики коммунизма. Не было сделано ни одно исследование, результатом которого явилось бы предсказание кризиса коммунизма или хотя бы вывод о его возможности. Были бесчисленные "предсказания" гибели коммунизма в Советском Союзе и других странах, но они не имели ничего общего с предсказанием именно кризиса. Он произошел неожиданно для политиков, специалистов и масс населения. Его стали осознавать как

кризис лишь после того, как он разразился во всю мощь, да и то не в адекватной ему форме.

Хотя кризис назрел уже в брежневские годы, даже Горбачеву не приходила в голову мысль о нем. Он начал свои маниакальные реформы в полной уверенности в том, что советское общество покорно подчинится его воле и призывам. Он сам больше, чем кто бы то ни было, способствовал развязыванию кризиса, не ведая о том.

Неожиданность кризиса объясняется многими причинами, и в их числе — отсутствием научной теории коммунистического общества. Нет надобности говорить о том, какой вид имело учение о коммунизме в советской идеологии. Его презирали, причем — вполне заслуженно. На роль правдивого понимания претендовала критическая и разоблачительная литература и публицистика. Но и она не выходила за рамки идеологического способа мышления. За истину выдавался факт критичности. Чем больше чернилось все советское, тем истиннее это казалось или истолковывалось так умышленно.

На Западе положение выглядело не лучше. Хотя сочинения западных авторов по форме выглядели более наукообразно, по сути дела они были даже дальше от истины, чем советские. Если советская идеология боялась обнаружения закономерности дефектов коммунизма, то западная идеология боялась признания достоинств его. С одной стороны создавался апогетически ложный, а с другой стороны — критически ложный образ коммунизма. Например, в советской идеологии утверждалось, будто советское общество построено в соответствии с гениальными предначертаниями "научного коммунизма" Маркса и Ленина. В западной идеологии утверждалось, будто в основе советского общества лежит вздорная утопия глупого Маркса и кровожадного Ленина. В советской идеологии утверждалось, будто коммунистические социальные отношения стали складываться лишь после революции. В западной идеологии утверждалось, будто эти отношения навязаны массам советского населения силой и обманом после революции. Такой параллелизм можно увидеть по всем важнейшим вопросам, касающимся понимания советского общества и коммунизма вообще. С точки зрения научных критериев, утверждения советской и западной идеологии суть явления однопорядковые. Сходно и их влияние на умы людей. Если, например, коммунистический строй в Советском Союзе не имеет общечеловеческих корней и предпосылок в прошлой истории страны, если он сначала был выдуман в теории и затем как-то навязан населению, то его тем же путем можно изменить в желаемом духе или отменить вообще законодательным путем и распоряжением властей. Именно такой идеологический идиотизм лежал в подсознании или сознании будущих реформаторов. Пускаясь в перестроечную авантюру, реформа-

торы и их идеологические лакеи полностью игнорировали не только реальность Запада, но и реальность своего собственного общества. Отрекаясь от своей идеологии, они тем самым не переходили автоматически к научному пониманию реальности, а лишь меняли ориентацию идеологизированного сознания на противоположную, т.е. переходили на позиции западной идеологии.

Когда на факт кризиса уже стало невозможно закрывать глаза, его осознали в извращенной форме, а именно — как некое обновление и выздоровление общества, как некую "перестройку". В советском руководстве и его интеллектуальном обслуживании не нашлось ни одного человека, кто посмотрел бы на реформацию как на характерный признак именно кризиса. Вместо выяснения сущности и реальных причин кризиса все бросились искать виновников нарастающих трудностей и козлов отпущения. И нашли их в том, на что указывали западные наставники, — в лице Сталина, Брежнева, консерваторов, бюрократов, органов государственной безопасности, в партийном аппарате и, само собой разумеется, в идеологии.

Кризисы суть обычное явление в жизни всякого общества. Переживали кризисы античное, феодальное и капиталистическое общества. Нынешнее состояние западных стран многие специалисты считают кризисным. Кризис общества не есть еще его крах. Кризис есть отклонение от некоторых норм существования общества. Но не всякое отклонение есть кризис. Уклонение от норм может быть результатом природной катастрофы, эпидемии или внешнего нападения. В 1941 — 1942 годы Советский Союз был на грани гибели. Но это не был кризис коммунизма как социального строя. Наоборот, именно в эти тяжелые годы коммунизм обнаружил свою жизнеспособность. Кризис является таким отклонением от норм, которое возникает в результате внутренних закономерностей общества, причем — в условиях его нормальной и даже успешной жизнедеятельности.

Каждому обществу свойственен свой, характерный для него тип кризиса. Для капиталистического общества свойственен так называемый экономический кризис, который проявляется в перепроизводстве товаров и дефиците сфер их приложения. Коммунистический кризис очевидным образом отличается от него. Он заключается, коротко говоря, в дезорганизации всего общественного организма, достигая в конце концов уровня дезорганизации всей системы власти и управления. Он охватывает все части и сферы общества, включая идеологию, экономику, культуру, общественную психологию, нравственное состояние населения. Но ядром его становится кризис системы власти и управления.

Ставя вопрос о причинах кризиса, надо различать по крайней мере такие факторы, играющие различную роль в его возникновении: 1) механизм потенциального кризиса; 2) условия, в которых возможность кризиса превращается в действительность; 3) толчок к кризису. Механизм потенциального кризиса образуют те же самые факторы, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность общества. Они органически присущи коммунистическому социальному строю. Они действуют всегда, порождая тенденции отклонения от его норм. Постепенно накапливаясь и суммируясь, эти отклонения создают предпосылки для кризиса. Чтобы описать механизм кризиса конкретно, нужно по мере описания общества в его нормальном ("здоровом", идеальном) состоянии в каждом пункте описания указывать, в чем именно заключается отклонение от нормы и почему оно происходит, т.е. закономерность самого нарушения норм. Например, плановая экономика неизбежно порождает элементы хаоса и незапланированности, без которых вообще невозможно осуществление планов. Единство системы власти и управления порождает распад ее на враждующие группировки, причем, мафиозного типа. Прогресс экономики, культуры и прочих аспектов общества порождает расхождение между потребностями управления и возможностями их удовлетворения. Тотальное идеологическое обольщение порождает идеологический цинизм и ослабление иммунитета против влияния враждебной идеологии. Общество вынуждено постоянно принимать меры против таких отклонений от норм, чтобы удерживать их в терпимых пределах. Но это удается лишь частично и до поры до времени.

Условия кризиса суть нечто внешнее для сущности коммунизма как такового. Они способствуют созреванию кризиса и его наступлению, но сами по себе они не порождают его. Кризис мог произойти при других условиях, даже при противоположных. Он мог не произойти и при данных условиях. Условия кризиса не обязательно суть нечто неблагоприятное для общества и неудачи. Это могут быть и успехи, и благоприятные обстоятельства. Среди условий рассматриваемого кризиса следует назвать то, что в послевоенные годы, особенно — в годы брежневского правления, в стране произошел колоссальный прогресс сравнительно со сталинским периодом. Это не были годы "черного провала" и "застоя". Среди условий кризиса следует упомянуть прирост населения. Население увеличилось более чем на сто миллионов человек. Никакая западная страна не выдержала бы такую нагрузку, не впад в кризисное состояние из-за одной этой причины. Прирост населения сопровождался возрастанием доли непроизводительного населения и непомерным ростом его аппетитов в отношении материальных благ.

Важнейшую роль в созревании кризиса сыграл тот факт, что человечество пропустило одну очередную мировую войну. Благодаря непомерно затянувшемуся мирному периоду времени внутренние закономерности коммунистического социального строя получили возможность проявить свою неумолимую силу. Но затянувшийся мирный период не был периодом всеобщей любви и дружбы. Он включил в себя Холодную войну, которая по своей силе и ожесточенности может быть поставлена в один ряд с войнами "горячими". Советский Союз вынуждался на непосильные траты и на такие взаимоотношения с окружающим миром, которые истощили его силы и принесли ему репутацию "Империи зла". Советское проникновение на Запад было палкой о двух концах: оно непомерно усилило западное проникновение в Советский Союз и страны его блока. Запад стал неотъемлемым фактором внутренней жизни страны, в огромной степени способствовавшим ослаблению защитных механизмов советского общества как общества коммунистического.

Надо, далее, различать возможность кризиса, которая постепенно усиливается в течение многих лет, но до поры до времени остается скрытой, и превращение этой возможности в действительность. Последнее происходит взрывообразно, сравнительно со временем накопления кризиса — внезапно. Те факторы, которые приводят к такому кризисному взрыву, образуют толчок к кризису. В брежневские годы накопились предпосылки для кризиса — созрел потенциальный кризис, но в действительность он превратился с приходом к высшей власти Горбачева и с началом "перестройки". Горбачевское руководство развязало кризис, дало толчок к нему. Горбачев своей политикой "нажал кнопку", и бомба кризиса взорвалась. Возможно, у горбачевцев было искреннее намерение улучшить положение в стране, но оно реализовалось в таких мерах, которые ускорили и углубили кризис. Процесс вышел из-под контроля властей, превратив их в марионеток и навязав им форму поведения, о какой они не помышляли ранее.

Дело обстояло не так, будто в обществе начался кризис, вынудивший власть на определенную политику реформ, а наоборот, власть начала проводить определенную политику, мотивируясь соображениями, ничего общего не имевшими с интересами предотвращения надвигающегося кризиса (об этом вообще не думали), и будучи уверенной в том, что общество будет продолжать жить под ее контролем и следовать ее предначертаниям. Общество, созревшее для кризиса, реагировало на политику власти неожиданным и нежелательным для нее образом. Высшая власть выпустила джина кризиса из бутылки своими нелепыми и безответственными реформами и установками. И сделала хорошую мину при плохой игре: пре-

вратившись в марионеток неуправляемого процесса, она стала изображать роль сознательного реформатора общества.

Сущность и форма исторического процесса

В исторических процессах большого масштаба редко бывает так, что их сущность проявляется в адекватной ей форме и очевидным для участников событий и наблюдателей образом. Обычно она бывает скрыта в мешанине множества разнородных явлений и воспринимается людьми в извращенной форме. При этом политика, идеология и пропаганда прилагают титанические усилия к тому, чтобы скрыть сущность процессов и вбить в головы масс ложные представления о них. А в наше время колоссального развития и засилия средств массовой информации, а точнее говоря — средств манипулирования массами идеологически-пропагандистское обольщение масс вообще стало решающей силой в исторических событиях и в их восприятии людьми.

Сказанное всецело относится к пониманию сущности хрущевского "переворота" в 1956 году, десталинизации страны и перехода к брежневизму. Я неоднократно обращал внимание на то, что оценка брежневского периода как продолжения сталинизма была ошибочной, более того — умышленной идеологической ложью в антисоветской и антикоммунистической пропаганде. Брежневизм был не продолжение сталинизма, а реальной и единственно возможной в тех условиях альтернативой ему. Десталинизация страны означала переход от сталинского волюнтаризма с системой сверхвласти, стоявшей над партийно-государственным аппаратом, и вождистской организацией управления к приспособленческому режиму с системой сверхвласти в рамках партийного аппарата и партийно-государственной системой управления. Хрущевская попытка сохранить волюнтаристский режим личной диктатуры не удалась. Брежневский режим сложился как своего рода демократия в противовес "тоталитаризму" сталинского образца. Но конкретно-исторические обстоятельства скрыли суть этого перелома, а идеология и пропаганда (как советская, так и западная) сделали все, чтобы замутить и без того сложную ситуацию.

С первых же дней появления на исторической арене горбачевского руководства я в бесчисленных статьях и интервью, а также в книгах "Горбачевизм", "Кризис коммунизма", "Катастрофка" и "Смута" утверждал и настаиваю на этом до сих пор, что горбачевизм возник как попытка перейти от демократического брежневизма к диктаторскому режиму сталинского типа. Эта суть горбачевизма проявилась в стремлении навязать стране насильственным путем сверху такой образ жизни и такое направление эволюции, какое хотело высшее начальство, и создать систему вне партийного аппара-

та и над ним. Отсюда возня с бесконечными реформами, практически разрушавшими страну, ее экономику, государственность и идеологию, требование чрезвычайных полномочий лично Горбачеву, установление "президентской" системы власти, фактически аналогичной диктаторской вождистской власти Сталина.

Суть горбачевизма осталась скрытой. В пропаганде все было перевернуто и извращено. Хотя именно так называемые консерваторы объективно выступали как защитники коммунистической демократии (чего не поняли они сами!), горбачевцы приняли ложное обличие борцов против "тоталитаризма", за "подлинную демократию", за приобщение страны к "современной цивилизации" и т.п. На горбачевскую деятельность по насилчанию страны наложился фактор по имени "Запад". Этот фактор стал играть решающую роль в том, что стало происходить в стране, придав процессу желаемую для него форму и направление.

Результатом политики горбачевских реформ явилось не новое устойчивое состояние общества, а его дальнейшая дестабилизация, превысившая всякие допустимые границы. Плохо ли — хорошо ли, но общественный механизм до этого как-то работал. Его детали были как-то скоординированы. Реформаторская же суeta разрегулировала его окончательно. Горбачевцы вели себя подобно некомпетентным в технике авантюристам, которые хаотически заменяют устаревшие детали в устаревшей машине новыми деталями, игнорируя принципы работы машины как целого. Прибегая к другому образному сравнению, горбачевское руководство оказалось подобным обезумевшему капитану, который направил свой корабль в минуту опасности на гибельные рифы.

Повторяю, кризис общества еще не есть его крах. Кризисы возникают и как-то преодолеваются. Назревший в Советском Союзе кризис мог быть преодолен средствами этого общества как общества коммунистического. Никакая особая перестройка основ общества не требовалась. Никакой потребности в ней не было. Но разразившийся по вине высшего руководства кризис общества привел это общество к краху. И решающую роль при этом сыграло поражение Советского Союза в Холодной войне с Западом. Страна было ослаблена кризисом. А руководители страны, спасая свою шкуру и репутацию и став послушными марионетками сил Запада, встали на путь предательства интересов своей страны. Они открыли ворота советской крепости врагу. В истории человечества вряд ли было нечто сопоставимое по масштабам с этим предательством.

Холодная война

Коммунизм с первых же шагов на исторической арене выступил как явление антикапиталистическое. Естественно, он не мог вызвать симпатий у носителей и апологетов капитализма. А после Октябрьской революции 1917 года в России ненависть к нему и страх перед ним стали неперенным элементом западной жизни. Советский Союз стал заразительным примером для многих народов мира. В самих западных странах стало угрожающе расти коммунистическое движение. Реакцией на это явилось возникновение национал-социализма в Германии и фашизма в Италии и Испании, которые на время остановили угрозу коммунизма на Западе.

Первая военная атака Запада на коммунизм в России имела место уже в 1918 — 1920 годы. Она провалилась. Лидерам западных стран удалось в ходе Второй мировой войны направить агрессию Германии против Советского Союза. Но попытка разгромить его военным путем и руками Германии не удалась. В результате победы над Германией Советский Союз навязал свой строй странам Восточной Европы и колоссально усилил свое влияние в мире. Усилились коммунистические партии в Западной Европе. Советский Союз стал превращаться во вторую сверхдержаву планеты с огромным и все растущим военным потенциалом. Угроза мирового коммунизма стала реальной.

Но было бы ошибочно сводить взаимоотношения Запада и коммунистического мира исключительно к противостоянию социальных систем. Россия задолго до революции 1917 года стала сферой колонизации для западных стран. Революция означала, что Запад эту сферу терял. Да и для Гитлера борьба против коммунизма ("большевизма") была не столько самоцелью, сколько предлогом для захвата "жизненного пространства" и превращения живущих на нем людей в рабов нового образца. Победа Советского Союза над Германией и расширение сферы его влияния в мире колоссальным образом сократили возможности Запада в отношении колонизации планеты. А в перспективе над Западом нависла угроза вообще быть загнанным в свои национальные границы, что было бы равносильно его упадку и даже исторической гибели.

В этой ситуации идея особого рода войны против наступающего коммунизма — идея "холодной войны" — возникла как нечто само собой разумеющееся.

Обычно выражение "холодная война" употребляют как обозначение конфликта между коммунистическим и западным мирами, особенно — между США и Советским Союзом, начавшегося сразу после окончания Второй мировой войны. Его называли "холодным", поскольку не были вовлечены вооруженные силы во всю мощь и непосредственно в отношениях между противниками. По единодушному признанию поли-

тических и идеологических лидеров Запада, "горячая" война с использованием современного оружия была бы безумием. Она привела бы к гибели обоих противников и сделала бы планету вообще непригодной для жизни. К тому же сложилось убеждение, что коммунистические режимы свергнуть военным путем невозможно. Так что "горячая" война ограничилась "малыми" войнами и участием в войнах между другими странами.

Фактически Холодная война вышла далеко за рамки просто послевоенного конфликта между США и СССР. Она явилась продолжением антисоветской политики лидеров Запада в период между мировыми войнами и войны Германии с ее союзниками против СССР в 1941 — 1945 годы. По своему размаху она охватила всю планету и все сферы жизни человечества — экономику, политику, дипломатию, идеологию, пропаганду, культуру, спорт, туризм. Использовались все средства воздействия на людей — радио, телевидение, секретные службы, конгрессы, культурный обмен, подкуп, паблицити. Использовались любые поводы, любые уязвимые точки противника, любые человеческие слабости — национальные разногласия, религиозные предрассудки, любопытство, тщеславие, корысть, зависть, критические умонастроения, страх, склонность к приключениям, эгоизм, любовь и т.п. Одним словом, это была, пожалуй, первая в истории человечества глобальная и всеобъемлющая война нового типа.

Холодная война не ограничивалась сдерживанием советского проникновения в Европу. Она превратилась в борьбу против расползания коммунизма по всей планете. Целью ее стало вообще полное разрушение Советского Союза и всего блока коммунистических стран. Разумеется, это облекалось в идеологическую фразеологию освобождения народов от ига коммунизма, помощи в овладении западными (в первую очередь — американскими) ценностями, борьбы за мир и дружбу между народами, за демократические свободы и права человека.

Холодная война была войной особого типа, первой в истории человечества "мирной" войной. Хотя противники обладали вооружением, каким ранее не обладала ни одна армия, они не пустили его в ход непосредственно друг против друга. общепринятое объяснение этого факта — применение современного оружия привело бы к гибели обоих противников и к мировой катастрофе. Но когда это было, чтобы в смертельной схватке опасения последствий останавливали врагов?! Американцы все-таки сбросили атомные бомбы на Японию! Конечно, страх последствий имел место, и он всячески раздувался искусственно. И это само по себе было оружием Холодной войны. Гонка вооружений и политика на грани "горячей" войны были со стороны Запада войной на истощение против-

ника. Советский Союз и его союзники вынуждались на непосильные траты.

Главным оружием в Холодной войне были средства идеологии, пропаганды и психологии. Запад бросил колоссальные людские силы и материальные средства на идеологическую и психологическую обработку населения Советского Союза и его сателлитов, причем — не с добрыми намерениями, а с целью деморализовать людей, оболванить, пробудить и поощрить самые низменные чувства и стремления.

Организаторами и исполнителями Холодной войны ставилась задача атомизировать советское общество идейно, морально и политически. Расшатывать социальные и политические структуры. Лишать массы способности к сопротивлению. Разрушать идейно-психологический иммунитет населения противника. В качестве средства использовалась мощная пропаганда, отвлекавшая внимание людей от социальных проблем на секс, интимную сферу кинозвезд и гангстеров, на преступность, извращенные формы удовольствия. Провоцировались и раздувались национальные и религиозные чувства, создавались и навязывались ложные мифы и кумиры.

В эту работу были вовлечены многие десятки (если не сотни) тысяч специалистов и добровольцев, включая агентов секретных служб, университетских профессоров, журналистов, туристов. Работа велась с учетом опыта прошлого, особенно — геббельсовской пропагандистской машины, а также достижений психологии и медицины, особенно — психоанализа. Перефразируя слова одного западного социолога, можно сказать, что в Холодной войне победил не капитализм, а лучшие средства оболванивания людей, действовавшие от его имени.

Опыт Холодной войны разрушил целый ряд предрассудков, столетиями владевших умами людей. Считалось, например, что народ надолго обмануть невозможно. Холодная война дала блестящий пример тому, что с современными средствами идеологической обработки людей и манипулирования массами народ легче обмануть, чем отдельного человека, причем — обмануть надолго, на любое время, пока есть смысл и средства для этого.

Педантично используя идеологически-психологическое и экономическое оружие в течение сорока лет, не скупясь на баснословные траты, Запад (и главным образом — США) полностью деморализовал советское общество, и прежде всего — его правящие и привилегированные слои, а также его идеологическую элиту и интеллигенцию. В результате вторая сверхдержава мира капитулировала в течение поразительно короткого времени.

Принято считать, будто поражение Советского Союза и его сателлитов в Холодной войне доказало несостоятельность

коммунистического социального строя и преимущество строя капиталистического. Я считаю это мнение ложным. Поражение коммунистических стран обусловлено сложным комплексом причин, среди которых сыграли свою роль и недостатки коммунистического строя. Но это еще не есть доказательство нежизнеспособности и несостоятельности коммунистического типа общественного устройства. Победа капиталистического Запада точно также обусловлена сложным комплексом причин, среди которых сыграли свою роль и достоинства капитализма. Но это еще не есть доказательство преимуществ капитализма.

Запад использовал слабости Советского Союза, в том числе — дефекты коммунизма. Он использовал также свои преимущества, в том числе — достоинства капитализма. Но победа Запада над Советским Союзом не была победой капитализма над коммунизмом. Холодная война была войной конкретных народов и стран, а не абстрактных социальных систем. Можно привести примеры противоположного характера, которые можно истолковать как "доказательство" преимуществ коммунизма перед капитализмом. Это, например, молниеносная индустриализация Советского Союза, реорганизация промышленности в ходе войны с Германией и победа над ней, а также ситуация в коммунистическом Китае сравнительно с капиталистической Индией. Но и эти примеры ничего не доказывают сами по себе.

Реальное коммунистическое общество существовало слишком короткое время, причем — в крайне неблагоприятных условиях, чтобы делать категорические выводы о его несостоятельности. Холодная война даже отдаленно не отвечает условиям лабораторного эксперимента. Чтобы сделать вывод о том, что тут капитализм победил коммунизм, нужно было, чтобы противники были одинаковы во всем, кроме социального строя. Ничего подобного в реальности не было. Запад просто превосходил Советский Союз по основным факторам, игравшим решающую роль в Холодной войне.

Последующее развитие событий показало, что понимание сущности исторического процесса в период Холодной войны как борьбы двух социальных систем — капитализма и коммунизма — было поверхностным и в конечном счете ошибочным. Тут за сущность процесса приняли его историческую форму. По сути дела это была борьба Запада за выживание и за господство на планете как необходимое условие выживания. Коммунистическая система в других странах была средством защититься от этих претензий Запада. Коммунистические страны переходили сами к нападению. Но инициатива истории исходила не от них, а от Запада. Она пряталась в глубинах исторического потока, порою скрывалась умышленно. Историческая инициатива не есть про-

грамма партий и правительств. Она редко осознается людьми в адекватной ей форме. Коммунизм стал объектом атаки со стороны Запада, поскольку сопротивляющийся Западу и отчасти атакующий его мир принял коммунистическую форму. Он мог сопротивляться и даже временами побеждать лишь в такой форме. Потому именно на коммунизме сосредоточилось внимание. Кроме того, борьба против коммунизма давала Западу оправдание всему тому, что он предпринимал на планете в эти годы. Поражение коммунистических стран в Холодной войне лишило Запад этого прикрытия его истинных намерений.

Западнизация

Запад есть социальное образование, занимающее определенное социо-географическое пространство, имеющее определенную структуру и живущее по определенным законам больших объединений людей. Этот социальный великан нуждается в среде существования помимо занимаемой им территории, нуждается в использовании для своего бытия всей остальной планеты. А это становится все труднее и труднее. Во-первых, коммунизм резко сократил "охотничью зону". Во-вторых, другие "охотники" появляются, например — Япония. В-третьих, прочие страны не очень-то охотно поддаются, они сами хотят пожить, время от времени они начинают "брыкаться". В-четвертых, прежние военные методы стали небезопасными для самого Запада. Одним словом, пришлось менять политическую стратегию. Я думаю, что подходящим названием для новой политической стратегии Запада может служить слово "западнизация" (или "вестернизация"). Ниже я охарактеризую ее основные черты.

Западнизация есть стремление Запада сделать другие страны подобными себе по социальному строю, экономике, политической системе, идеологии, психологии и культуре. Идеологически это изображается как гуманная, бескорыстная и освободительная миссия Запада, являющего собою вершину развития цивилизации и средоточие всех мыслимых добродетелей. Мы свободны, богаты и счастливы, — внушает Запад западнизируемым народам, — и хотим помочь вам стать тоже свободными, богатыми и счастливыми. Но реальная сущность западнизации не имеет с этим ничего общего.

Цель западнизации — включить другие страны в сферу влияния, власти и эксплуатации Запада. Включить не в роли равномогущих и равноправных партнеров, — это просто невозможно в силу неравенства фактических сил, — а в роли, какую Запад сочтет нужным ему самому. Эта роль может удовлетворить какую-то часть граждан западнизируемых стран, да и то на короткое время. Но в общем и целом эта роль второстепенная и подсобная. Запад обладает достаточной

мощью, чтобы не допустить появления независимых от него западнообразных стран, угрожающих его господству в отвоеванной им для себя части планеты, а в перспективе — на всей планете.

Западнизация некоторой данной страны есть не просто влияние Запада на эту страну, не просто заимствование отдельных явлений западного образа жизни, не просто использование произведенных на Западе ценностей, не просто поездки на Запад и т.п., а нечто гораздо более глубокое и важное для этой страны. Это — перестройка самих основ жизни этой страны, ее социальной организации, системы управления, идеологии, менталитета населения. Эти преобразования делаются не как самоцель, а как средство добиться цели, о которой говорилось выше.

Западнизация не исключает добровольности со стороны западнизируемой страны и даже желание пойти этим путем. Запад именно к этому и стремится, чтобы намеченная жертва сама полезла ему в пасть, да еще при этом испытывала бы благодарность. Для этого и существует мощная система соблазнения и идеологической обработки масс. Но при всех обстоятельствах западнизация есть активная операция со стороны Запада, не исключаящая и насилие. Добровольность со стороны западнизируемой страны еще не означает, что все население ее единодушно принимает этот путь своей эволюции. Внутри страны происходит борьба между различными категориями граждан за и против западнизации. Последняя не всегда удается, как это случилось, например, в Иране и Вьетнаме.

Вся освободительная и цивилизаторская деятельность Запада в прошлом имела одну цель: завоевание планеты для себя, а не для других, приспособление планеты для своих, а не для чужих интересов. Он преобразовывал свое окружение так, чтобы самим западным странам было удобнее в нем жить. Когда им мешали в этом, они не гнушались никакими средствами. Их исторический путь в мире был путем насилия, обмана и расправ. Теперь изменились условия в мире. Иным стал Запад. Изменилась его стратегия и тактика. Но суть дела осталась та же. Она не может быть иной, ибо она есть закон природы. Теперь Запад пропагандирует мирное решение проблем, поскольку военное решение опасно для него самого, а мирные методы создают ему репутацию некоего высшего и справедливого судьи. Но эти мирные методы обладают одной особенностью: они принудительно мирные. Запад обладает огромной экономической, пропагандистской и политической мощью, вполне достаточной для того, чтобы заставить строптивых мирным путем сделать то, что нужно Западу. Как показывает опыт, мирные средства при этом могут быть дополнены военными. Так что как бы западнизация той или иной

страны ни началась, она перерастает в западнизацию принудительную.

Была разработана также и тактика западнизации. В нее вошли меры такого рода. Дискредитировать все основные атрибуты общественного устройства страны, которую предстоит западнить. Дестабилизировать ее. Способствовать кризису экономики, государственного аппарата и идеологии. Раскалывать население страны на враждующие группы, атомизировать его, поддерживать любые оппозиционные движения, подкупать интеллектуальную элиту и привилегированные слои. Одновременно вести пропаганду западного образа жизни. Возбуждать у населения западнизируемой страны зависть к западному изобилию. Создавать иллюзию, будто это изобилие достижимо и для него в кратчайшие сроки, если его страна встанет на путь преобразований по западным образцам. Заражать его пороками западного общества, изображая пороки как проявление подлинной свободы личности. Оказывать экономическую помощь западнизируемой стране лишь в той мере, в какой это способствует разрушению ее экономики и делает ее зависимой от Запада, а Западу создает репутацию бескорыстного спасителя западнизируемой страны от зол ее прежнего образа жизни.

Теплая война

С окончанием Холодной войны не прекратилась борьба Запада против Советского Союза, а после распада последнего — против России. Я назвал этот новый этап борьбы "Теплой войной". Эта война велась и ведется в строгом соответствии с принципами стратегии и тактики западнизации. Она охватила прежде всего сферу идеологии. Говоря о советской идеологии, я здесь имею в виду не марксизм-ленинизм, а суммарное идейное состояние населения страны, в котором марксизм-ленинизм был лишь частью, причем — лишь формально главной.

Советским людям со стороны государственной идеологии прививалась негативная картина Запада. Ничего преступного и аморального в этом не было. Это — обычное дело в реальной истории. Ведь и на Западе даже без единой государственной идеологии массам населения прививались и прививаются с удвоенной силой теперь идеологически тенденциозные и ложные представления о Советском Союзе и о коммунистическом обществе вообще. Идеологическое оболванивание западных людей не уступает таковому в коммунистических странах, а во многом превосходит последнее.

В Советском Союзе в массе населения всегда процветало низкопоклонство перед Западом. Государственная идеология боролась против него и сдерживала, хотя бы формально. С началом кризиса (т.е. "перестройки") произошел беспрецеден-

тный перелом в отношении к Западу даже в сфере официальной идеологии. Она ринулась в другую крайность, причем — с ведома высшей власти страны, по ее примеру и по ее указаниям. Были сняты запреты на преклонение перед Западом. Советским людям стали с неслыханной силой навязывать позитивный образ Запада и западнфилию. В идеологическом оболванивании советского населения в прозападном духе приняли активное участие многочисленные перевертыши, ранее ревностно проводившие установку на западнфобию; работники идеологического и пропагандистского аппарата; советские средства массовой информации; советские эмигранты на Западе; советские деятели культуры, добивавшиеся популярности на Западе; советские граждане, побывавшие на Западе и привезшие оттуда дефицитные вещи; представители высшего советского руководства. Свой огромный вклад в это внесла западная пропаганда. Ей не только перестали чинить препятствия, но стали всячески помогать. Многие лица, занимавшиеся активной антисоветской и антикоммунистической пропагандой, стали почетными гостями в Советском Союзе. Их стали печатать в советской прессе. На них стали ссылаться как на авторитеты, причем — даже высшие лица руководства. К ним стали обращаться за советами, какие меры надо принимать, чтобы быстрее разрушить все советское и уподобиться Западу.

Советская официальная идеология обнаружила полную неспособность отстаивать положительные достижения своего общественного строя и критиковать дефекты западного, оказалась неподготовленной к массовой идеологической атаке со стороны Запада. В стране началась идеологическая паника. Появились идеологические дезертиры, предатели, перевертыши. Идеологические генералы начали перебегать к противнику. Началась беспрецедентная оргия очернения всего, что касалось советской истории, советского социального строя и коммунизма вообще.

Идеологический перелом не ограничился сферой сознания. Новая идеология ("новое мышление") стала внедряться в практику. Начав с серии бессмысленных насильственных реформ и потерпев на этом пути банкротство, советское руководство встало в конце концов на путь насильственной западнизации страны, стало насаждать западные политические формы и социальные отношения. В языке пропаганды их называли рыночной экономикой и демократией. Подчеркиваю искусственный и насильственный характер этих преобразований. В Советском Союзе до этого не созрели и не могли созреть в принципе никакие предпосылки для перехода к капиталистическим социальным отношениям и к соответствующим им политическим формам. В массе населения не было никакой потребности в переходе к капитализму. Об этом

мечтали лишь преступники из "теневой экономики", отдельные диссиденты, скрытые враги и часть представителей привилегированных слоев, накопившая богатства и хотевшая их легализации. Начавшийся позднее энтузиазм по поводу ломки всего советского был результатом новой, антисоветской и антикоммунистической пропаганды и массового помутнения умов, а в верхах власти — просто желанием угодить западным хозяевам, без поддержки которых они давно были бы выброшены на помойку истории.

Как сказал один западный социолог, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к коммунизму, в этом переломе победу одержал не капитализм, а лучшая пропаганда, которая велась от его имени.

Результаты насильственной западнизации Советского Союза не замедлили сказаться. Начался стремительный распад всех основ советского общества. Стала разваливаться экономика, деградировать культура, разлагаться моральное и психологическое состояние широких слоев населения. Под предлогом борьбы против якобы преступного коммунизма и роспуска КПСС была буквально разгромлена вся система государственности. Распался Советский Союз. Страна покрылась сетью кровавых конфликтов. Расцвела преступность. Разрушены все лучшие достижения советской истории, доставшиеся ценой невероятных усилий миллионов людей в течение многих десятилетий. Началось такое разграбление богатств страны, какого не позволяли себе победители в войнах прошлого с побежденной страной. Теплая война вступила в завершающую фазу — в фазу превращения России в колониальную демократию.

Колониальная демократия

Западнизация есть особая форма колонизации, в результате которой в колонизируемой стране создается социально-политический строй колониальной демократии (по моей терминологии). По ряду признаков это есть продолжение прежней колониальной стратегии западноевропейских стран, особенно — Великобритании. Но в целом это есть новое явление, характерное для современности. Изобретателем его можно с полным правом считать США.

Колониальная демократия не есть результат естественной эволюции колонизируемой страны в силу внутренних условий и закономерностей ее социально-политического строя. Она есть нечто искусственное, навязанное этой стране извне и вопреки ее исторически сложившимся тенденциям эволюции. Она поддерживается методами колониализма. При этом колонизируемая страна вырывается из ее прежних международных связей. Это достигается путем разрушения блоков стран,

а также путем дезинтеграции больших стран, как это имело место с советским блоком, Советским Союзом и Югославией.

За вырванной из прежних связей страной сохраняется видимость суверенитета. С ней устанавливаются отношения как с якобы равноправным партнером. Для значительной части населения сохраняются какие-то элементы предшествующих форм жизни. Создаются очаги экономики якобы западного образца под контролем западных банков и концернов, а также — явно западные или совместные предприятия. Я выше употребил слово "якобы", так как эти очаги экономики суть лишь имитация современной западной экономики.

Стране навязываются внешние атрибуты западной политической системы — многопартийность, парламент, свободные выборы, президент и т.п. Но они тут являются лишь прикрытием режима совсем не демократического, а скорее диктаторского ("авторитарного"). Эксплуатация страны в интересах Запада осуществляется силами незначительной части населения, наживающей за счет этой ее функции. Эти люди имеют высокий жизненный стандарт, сопоставимый с таковым самых богатых слоев Запада.

Колонизируемая страна доводится до такого состояния, что становится неспособной на самостоятельное существование. В военном отношении она демилитаризуется настолько, что ни о каком сопротивлении и речи быть не может. Вооруженные силы сохраняются лишь для того, чтобы сдерживать протесты населения и попытки оппозиции изменить ситуацию.

До жалкого уровня низводится национальная культура. Место ее занимают самые примитивные образцы западной культуры, вернее — псевдокультуры Запада. Массам населения предоставляется суррогат демократии в виде распушенности, ослабленного контроля со стороны властей, доступные развлечения, система ценностей, избавляющая людей от усилий над собой и от моральных ограничений.

Нужно быть слепым, чтобы не замечать, что Россию нынешние ее правители усиленно толкают на путь колониальной демократии. И нужно быть врагом своего народа и предателем Родины, чтобы изображать этот процесс как благо для народа. Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не превратится в страну, аналогичную странам Запада и равноценную им в этом качестве, — не станет частью Запада. Это исключено в силу ее географических, исторических и современных международных условий, а также в силу характера образующих ее народов.

Утверждая это, я не становлюсь на сторону проповедников теории исключительности судьбы России. Я утверждаю, что исключительной является историческая судьба Запада, а не России. Западный тип общественного устройства (капитализм и демократия) дал положительные результаты лишь в немно-

гих странах мира, а именно — лишь в странах Запада с определенным человеческим материалом. Для подавляющего большинства народов планеты он оказался либо гибельным, либо обрек их на роль придатков и сферы колонизации Запада. Россия уже сыграла исключительную роль в истории человечества, создав коммунистический социальный строй, который на некоторое время позволил ей сохранить независимость от Запада и вдохновил другие народы на это. Теперь Россия эту роль утратила, возможно — навсегда. Теперь Запад просто не допустит, чтобы в мире появился мощный западнообразный конкурент на мировых рынках в лице России. Россия нужна Западу не как партнер в дележе мира, а лишь как зона дележа. Русским в планах Запада уготована судьба, аналогичная судьбе незападных народов, т.е. судьба заурядная и позорная для бывшей великой страны и второй сверхдержавы планеты.

Может ли Россия избежать такой участи? Возможности у нее для этого невелики, но исключать их полностью было бы ошибочно. И главное, на мой взгляд, условие для этого — осознать с полной и беспощадной ясностью то, в каком положении она оказалась и по какой причине. В России же ощущается страх перед такой ясностью. Ничем не сдерживаемое словоблудие заполонило всю интеллектуальную сферу общества. Люди боятся признаться себе в том, что совершили беспрецедентную в истории глупость, поддавшись добровольно влиянию реформаторов и их западных наставников, и боятся это высказать вслух. В этом страхе кроется, на мой взгляд, главное препятствие для реализации возможности, о которой я сказал выше.

Мюнхен, июнь 1993

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

ПОМИНКИ ПО РОССИИ

По моему глубокому убеждению, нынешнюю российскую реальность можно определить всего лишь одним словом: растление. Растление на всех уровнях и во всех сферах. Едва ли продуктивно выяснять сейчас, происходит ли это спонтанно или целенаправленно, а то ведь неровен час какой-нибудь очередной господин Кива обвинит меня в параноидальных комплексах; да это, собственно, не так уж и важно. Важны результаты, а результаты эти, на мой взгляд, увы, ужасающие.

Даже в самых моих дурных снах, мне, к примеру, никогда не могло присниться, что российский интеллигент, да еще

полагающий себя демократом, в здравом уме и твердой памяти не постесняется публично призывать к иноземной оккупации и не вызывать этим никакого возмущения. Тех, кто сомневается, отсылаю к статьям одной вашей воинствующей демократии в журналах "XX век" и "Огонек".

Недавно в Париже, во время дискуссии на эту тему, один из московских участников крикнул мне из зала: "Да кто же ее принимает всерьез?"

Не знаю. Может быть. Людей, к которым не относятся серьезно, везде полно, но никто этим людям не спешит услужливо предоставить печатную площадь и телевизионный экран, рассчитанные на многомиллионную аудиторию. К тому же, как говаривал в таких случаях один наш бывший политзаключенный: "Смурной, смурной, а мыла не хаваает!" Так вот, мыла это славное существо явно не хаваает; оно, судя по всему, прекрасно изучило спрос на нынешнем интеллектуальном рынке.

Но другого, серьезного и уважаемого мною, публициста вряд ли можно отнести к людям неуравновешенным, однако и он не постыдился сослаться на поучительный опыт гитлеровских оккупантов времен Второй мировой войны в решении продовольственной проблемы. Цитирую по памяти: "Ударили в рельсу, собрали народ, распустили колхоз, и все были с хлебом." Не говоря уже о моральном цинизме сказанного, это и прямая фактическая ложь. Мы с этим публицистом — люди одного поколения. Не знаю, где он оказался во время войны, но меня случай занес на родину моего отца и деда, что в Тульской области, сразу же после ее освобождения от оккупации. Так вот — свидетельствую: гитлеровцы колхозов не распускали, ибо тоже понимали преимущества коллективного хозяйства перед индивидуальным для продовольственных реквизиций, а с хлебом при них было еще хуже, чем при Сталине.

Или что, какая корысть, какой расчет, какие комплексы заставляют заморского Бориса Парамонова и отечественного Виктора Ерофеева, вполне, казалось бы, серьезных людей, страстно доказывать своей многомиллионной аудитории, что у России никогда не было ни истории, ни культуры, а была, как утверждает та же демократическая дама в тех же журналах, "историческая клякса, нонсенс, несданный урок".

Я берусь утверждать, что в наше время нигде — ни в цивилизованной, ни в нецивилизованной стране — никто и никогда не позволит безнаказанно напечатать и произнести вслух ничего подобного ни об одной истории ни одного народа, даже если у этого народа вообще не было истории. Но вот о России и русских можно.

Но я также берусь утверждать, что до бесконечности плевать в лицо целому народу безнаказанно не придется. Рано

или поздно расплата наступит, и тогда пусть эта публика не ищет виноватых на стороне, а внимательно посмотрит на себя в зеркало. Если, разумеется, успеет.

Семьдесят с лишним лет коммунисты растлевали общество беспардонной ложью, то же самое продолжается и сейчас, только еще более гнусней и циничней, потому что распространяется от имени демократии.

Вот что, к примеру, пишет по этому поводу "Независимая газета", которую, согласитесь, трудно заподозрить в симпатиях к красно-коричневой оппозиции: "Ложь нарастает лавинообразно, она уже превратилась в большую ложь, уже въелась во все поры кремлевской политики... Когда накануне референдума телезрителей всерьез убеждают, что семья кормит президента магазинным мясом, то удивляешься даже не абсолютной лжи, а тому, за каких идиотов власть пытается держать граждан этой страны."

И тон этой тотальной лжи задает сам Президент, который то обещает лечь на рельсы, если к очередной осени не стабилизируется положение в стране, то не стесняется вручить своим южнокорейским собеседникам ящик со сбитого пассажирского "Боинга", оказавшийся пустым, то клянется найти и наказать виновных в апрельском повышении цен на бензин, а сразу же после своей пирровой победы на референдуме сам повышает эти цены. Невольно хочется спросить эту державную Анну Каренину в галстук: если уж не хватило у вас мужества бросится под поезд, то вы хотя бы накажете себя за бензиновую аферу?..

Нынешняя российская периодика, радио, телевидение, кино и театр только и заняты тем, что объясняют своей несмышленной аудитории, что ее армия — застенки, школа — рассадник обскурантизма, семья — клоака, церковь — прибежище стукачей и мздоимцев, а вся страна — один большой Чернобыль, который если и исчезнет с лица земли, то лишь окажет этим неопценимую услугу человечеству. Здесь я уже слышу голоса своих прогрессивных оппонентов: "И совершенно правильно сделает!" Поэтому сразу же им и отвечаю: "Согласен, но только если вместе с вами!"

Героем нашего времени становится человек, умеющий делать деньги и преимущественно в твердоконвертируемой валюте. Каким образом, это не имеет значения. Продается и покупается все. И не вздумайте напомнить кому-либо в современной России о чести, совести, собственном достоинстве, а тем более о родине и ее интересах. Вас поднимут на смех. Об этих, по общему мнению, давно отживших понятиях помнят разве лишь замшелые апологеты прошлого: честь не кормит, совесть не греет, от собственного достоинства шея болит, а родина там, где хорошо живется. Даешь рынок! Сарынь на кичку!

Мало того, под это уже подводится теоретический базис. Недавно, к примеру, в весьма демократической газете некий Андрей Быстрицкий обыгрывая ироническую строку Бродского "Ворюги мне милей, чем кровопийцы", так и назвал свою статью: "Апология воровства". Незамысловатую ее философию можно определить короткой цитатой из нее самой: "Кроме того, — пишет автор, — воровство (коррупция), более высокая, более личностная стадия по сравнению с кровопийством." Я уже не говорю о том, что именно воры и коррупционеры, вставшие у власти, в конце концов и становятся кровопийцами, чтобы отстоять эту власть, как это уже случилось в России при Сталине, а в наши времена происходит, к примеру, в Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Чечне, а где в России еще полыхнет, проживем — увидим. Но главное, по моему глубокому убеждению, общество, поставленное перед таким чудовищным выбором — "воры или кровопийцы", само по себе преступно, ибо на месте разрушенной цивилизации волков неизбежно обречено будет выстроить цивилизацию крыс, которые сначала сожрут все вокруг себя, а потом примутся пожирать друг друга. И какая из этих цивилизаций предпочтительнее для человека, это вопрос. Пора бы усвоить одну простую истину: воровство и коррупция — лишь первая стадия будущего кровопийства.

Ужасает и уровень понимания рыночной экономики нашими ведущими реформаторами. Недавно, к примеру, один из них — Владимир Шумейко — в интервью русскоязычной газете "Новое русское слово" поделился с ее читателями: вот, де, реформы в России идут настолько успешно, что школьники уже в шестых классах начинают заниматься коммерцией. Даже не знаешь, что после этого делать: плакать или смеяться? Хотелось бы спросить у этого деятеля, где, в какой уважающей себя стране дети в школе занимаются коммерцией? И кто им позволяет этим заниматься? Но этот реформатор кубанского разлива убежден, видимо, что это и есть рынок. Ему бы в Краснодаре пивом торговать, а он, видите ли, Россию реформирует! С его реформаторской помощью страна скоро будет иметь два — три поколения отпетых жуликов, правда, он в это время, наверное, успеет устроится где-нибудь во Флориде, тем более что уже исхитрился сделать своего внука американским гражданином.

Стремительная криминализация России — это нынче национальная беда, криминализация, поощряемая самим государством, это, на мой взгляд, уже катастрофа и преступление одновременно.

Именно этот поистине неандертальский уровень определяет их отношение к школе, науке, культуре: все должно окупаться! Они не знают или делают вид, будто не знают, что во всем мире, в том числе, по большей части, и в обожаемой ими

Америке все это находится на содержании государства или благотворительных фондов. Окупает себя только попкультура, прибыльна только прикладная наука и оплачивается лишь элитарное образование; во Франции, к примеру, даже частные школы получают дотации от правительства, а когда однажды последнее попыталось освободиться от этого бремени, вся страна в знак протеста вышла на улицы.

На все эти темы я как-то разговаривал с Министром культуры Евгением Сидоровым и членом Президентского совета известным публицистом Василием Селюниным. На все мои недоумения ответ того и другого был удручающе лаконичен: "Нет денег!"

Действительно, страна задыхается от бюджетного дефицита. Не находится денег отремонтировать Румянцевскую библиотеку, Большой театр, Консерваторию, даже говорят, на кормежку зверей Государственного цирка нет денег. Но тогда спрашивается: откуда находятся миллиарды и миллиарды для целого вывода неправительственных Фондов, которые почему-то финансируются из правительственных источников, на различные информационные центры и экономические институты, возглавляемые, как правило, отставными реформаторами, друзьями и собутыльниками Президента? Откуда находятся еще большие миллиарды для проведения никчемного, да к тому же и взрывоопасного референдума? Да одна только месячная отсрочка повышения цен на энергоносители, продиктованная чисто демагогическими соображениями в преддверии того же референдума, обошлась государству, по оценкам самих правительственных экспертов, в сто двадцать миллиардов рублей! Даже по нынешним инфляционным временам все эти миллиарды составляют сумму почти астрономическую. Но чем не пожертвуешь ради того, чтобы удержаться у власти!

Правда, в таком случае нетрудно представить себе, какое будущее, какой рынок и какая демократия ожидают вскоре Россию!

Разумеется, меня вправе спросить: легко вам приезжать из комфортного далека и огульно ругать все подряд, а что вы можете предложить нам в качестве позитивной программы?

Думается, что нет на земле мыслителя, способного предложить России универсальный выход из ее катастрофической ситуации. Такого выхода просто не существует в природе. Единственное, в чем я убежден, — необходимо вызвать к политической жизни качественно новое поколение людей, свободных от большевистского или номенклатурного прошлого, которые смогли бы вдохнуть качественно новую жизнь в наше парализованное общество. Надо перевернуть его истощенную почву, на которой, на мой взгляд, уже не может произрасти ничего, кроме ядовитого чертополоха. Необходимо включить

механизм ротации всех ветвей власти с тем, чтобы ускорить процесс их радикального обновления, адекватного времени и ситуации, возникающей сегодня в стране. Нынешние политические и интеллектуальные лидеры с их необольшевистской психологией просто уже не годны ни к какой созидательной работе, они изначально исковерканы большевистской системой. К этому поколению я, кстати сказать, причисляю и себя. Выборы всех властей сверху до низу — другого пути, каким бы он наивным ни казался, я не вижу. И чем скорее — тем лучше.

Впрочем, концепцию России будущего ее Президент недавно определил сам. Когда в крохотной Калмыкии некий молодой нувориш с капиталом сомнительного происхождения выиграл выборы, пообещав каждому избирателю сто долларов, а затем, разогнав почти все структуры власти, ввел в ней прямое президентское правление, растроганный Борис Николаевич со свойственным ему, мягко выражаясь, простодушием откровенно проговорился: "Дерзайте! Калмыкия станет для России полигоном по отработке всех политических и экономических проблем." Вот так, вот и все.

Вы хотите жить в такой России? Я — нет.

Я не хочу жить в необольшевистской России, где проповедниками демократии выступают профессиональные растлители России из бывших кандидатов в члены политбюро, провинциальных преподавателей марксизма-ленинизма, номенклатурных экономистов, руководителей советского гитлерюгенда, начальников армейских политуправлений и матерых чекистов.

Здесь я снова слышу голоса моих оппонентов, призывающих меня вспомнить о Савле, ставшем Павлом. Не кощунствуйте, уважаемые! Савл, прозрев, заплатил за свое прозрение крестными муками, его, к тому же никто не спешил избрать в римский сенат, а ваши Савлы комфортно переползают из коммунистической номенклатуры в демократическую с ее еще более соблазнительными привилегиями. Если уж здесь и сгодилось бы Евангельское сравнение, то скорее не с Савлом, а с Иудой Искаротом.

Я не хочу жить в России, где любой интеллектуальный мародер или мародерша могут оболгать и унижить Солженицына и Зиновьева, где недавний руководитель советского гитлерюгенда, растливший миллионы детских душ и которому помолчать бы от стыда за свое прошлое, позволяет себе называть меня "реакционером" и "ортодоксом", а гонители Сахарова входят в комиссию по его наследству.

Я не хочу жить в России, где недавние фарцовщики и воры, ставшие биржевыми спекулянтами, торгаши и валютные проститутки становятся примером для подражания, а писатели, артисты и ученые, зачастую с европейскими и мировы-

ми именами, вынуждены сдавать внаем собственное жилье, чтобы только физически выжить.

Да и существует ли она вообще в природе, та Россия, которую я и мои единомышленники представляли себе, вступая в единоборство с идеологическим монстром, укоренившимся на ее территории в течение более семидесяти лет? Уважаемая всеми и уважающая всех страна с демократическим правосознанием, процветающей экономикой, общепризнанной культурой?

Нынешняя Россия — это омерзительная неомалшевистская клоака, симбиоз вчерашних номенклатурных растлителей с откровенной и абсолютно безнаказанной уголовщиной, наглая всемирная побирушка, не вызывающая у цивилизованного человечества ничего, кроме безразличия и презрения.

И самое невыносимое и унижительное для меня состоит в том, что до этого позорного состояния ее довели те же самые, выражаясь по Щедрина, твердой души прохвосты, десятками лет растлевавшие страну, а нынче наспех напялившие на себя демократическую одежку, из-под которой хорошо просматривается их старая коричневая шкура: недавние областные гауляйтеры, партийные журналисты и писатели, комсомольские запевалы, брежневские телеклоуны и творцы помпезных кино и театральных эпопей во славу родной партии и правительства.

Господи, когда же Ты, наконец, избавишь Россию от этой прожорливой саранчи!

И если мне завтра предложат билет в этот рыночный рай, я возвращу его дарителям без всякой благодарности, ибо не желаю даже косвенно соучаствовать в окончательном растлении своей страны и своего народа, добавляя от себя этому режиму легитимности. Я больше не хочу ни с кем дискутировать, ибо убежден, что в самом близко обозримом будущем с этой властью будет дискутировать сам народ и у него, уверяю вас, найдутся аргументы повесомее моих.

Стоящие сегодня у власти неомалшевики в очередной раз пытаются соблазнить Россию правом на бесчестие; что ж, она рано или поздно ответит им своим исконным правом на бунт. Тогда пусть не ищут виноватых, они этот бунт провоцируют сами. Никакое растление не может и не должно оставаться безнаказанным, за него придется платить. Испейте же тогда свою чашу до дна!

Прощай, Россия! Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда! И все же надеюсь, Господи, что до скорого свидания!

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Добрая треть того, что Георгий Иванов после себя оставил, возникла в сфере пересечения творческих интересов поэта. Его "Книга о последнем царствии", неоконченная повесть об императрице Александре, местами столь беллетризована, что историческим исследованием уже не может считаться. Его роман "Третий Рим" местами столь документально точен, что перестает быть одной лишь беллетристикой. Иной раз нельзя даже с уверенностью сказать — чем, стихами или прозой, написаны такие книги, как "Распад атома" и даже "Петербургские зимы". Многие из набросков тридцатых годов незавершено, утрачено, затеряно в совершенно недоступной нынешнему читателю периодике.

Эссе "Страх перед жизнью" появилось в печати единственный раз, в рижской газете "Сегодня" от 28 сентября 1932 года №286, с.2-3. Повидимому, перед нами единственный эскиз для никогда не воплощенного замысла — создать книгу портретов замечательных людей России, не сыгравших в ее истории должной их способностям роли, перемежая их биографиями людей, сыгравших в русской истории роль, совершенно непропорциональную их небольшим способностям, — таков, к примеру, портрет шарлатана Филиппа, попавший в "Книгу о последнем царствии". Для Георгия Иванова Леонтьев — определенно предшественник младороссов, "движения аристократически-фашистского", как назвал его сам Г.Иванов.

1994 год — год столетия со дня рождения Георгия Иванова. Акционерное общество "Согласие" выпускает к этому юбилею трехтомное собрание сочинений Георгия Иванова, составленное Евгением Витковским и Вадимом Крейдом, где впервые будет собрана воедино значительная часть творческого наследия Г.Иванова во всех жанрах. Трехтомник выходит до конца 1993 года, в нем читатели могут найти и предлагаемый теперь их вниманию "Страх перед жизнью".

Е.Витковский

СТРАХ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ

Константин Леонтьев и современность

На каком-то собрании эмигрантской молодежи, той "передовой" молодежи, которая, окончательно отбившись от "отцов", собирается переделывать Россию (как только представится случай!) на свой особый "национально-интернациональный" лад, на одном из таких шумных и бестолковых парижских собраний я услышал с трибуны слова:

"Нынешняя Россия мне ужасно не нравится. Не знаю, стоит ли за нее или на службе ей умирать? Я люблю Россию, царя, монахов и попов. Россию красных рубашек и голубых сарафанов, Россию благодушного деспотизма".

"Здорово говорит, — сказал сидевший рядом краснощекий младоросс или третьеросс. — Особенно про сарафаны, здорово".

"Это он Леонтьева цитирует", — возразил другой, долговязый и хмурый. "Леонтьева? А кто такой Леонтьев?" — заинтересовался третий, веснушчатый. Из троих — двое о Леонтьеве просто не знали.

Но дух его веял над ними.

* * *

Царствование Александра III. Осень. Грустный русский пейзаж: березка на фоне вечернего неба, "журавель" колодца, забор, лесок, проселочная дорога. Дальше белые стены и золотые главы лавры.

В монастырской гостинице, направо от входа, "графские номера". Низкие комнаты, старая мебель, киоты, лампадки, занавесочки из голубой марли. В номерах этих недавно поселился приезжий из Оптиной пустыни, бывший русский консул в Турции, мало известный и мало читаемый писатель. Он решил перезимовать здесь в Лавре, начал устраиваться в "графских номерах": вот и занавесочки голубые он повесил. Долго добивался такого обязательно цвета, вот такой именно марли. Перевез книги, расставил по-своему мебель, запаса дровами на зиму. Но зимовать ему здесь не суждено: он умирает. Совсем недавно он принял "чин смирения", тайный постриг, но умирает он непокорно. Из всех своих физических и душевных сил он борется с одолевающей его смертью. Физических сил в нем мало, — это шестидесятилетний человек со здоровьем, в конце надорванным затяжными мучительными болезнями. "Бессонница, страшные мигрени, поносы, язва желудка, трещины на руках и ногах, воспаление лимфатических сосудов", — вот далеко не полный список страданий, отравлявших последние годы его жизни. Но нравственная сила его велика, хотя нравственных мук в его жизни было не меньше, чем мигреней и язв.

Оттого он так тяжело и умирает. Огромный запас нерастраченных душевных сил душил его, распирает, корчит, как

демон корчит бесноватого. "Надо покориться", — в жару, в полубреду уговаривает он себя и сейчас же сам себе возражает: "Еще поборемся", опять — "надо покориться" и снова: "Еще поборемся"...

Двадцатилетняя Варька — крестьянка-воспитанница, недавно выданная им замуж, — ухаживает за больным, меняет компрессы, подает ему питье. Она очень красива, смугла, стройна. На ней красный сарафан. Это умирающий велел ей надеть. Больше всего этот шестидесятилетний, измученный, принявший тайное монашество "бывший консул" — любит внешнюю красоту жизни.

* * *

Константин Леонтьев всю жизнь был неудачником, неудачником он и умер. Ему все не удавалось: карьера врача, дипломатическая служба, литература, любовь, дружба — все. Материальные невзгоды вечно его разбирали. "Идеал" его — "иметь каких-нибудь 75 рублей в месяц до гроба" — так до гроба и не осуществился. "Смотри, ты лишен и того, что имеют многие скотоподобные люди, и у тебя нет и не будет ни 75, ни 50 рублей в месяц верных и обеспеченных", — пишет он сам о себе. Романы его критика обходит молчанием, статей его Катков не хочет печатать, в отчаянии и озлоблении он уничтожает свою трилогию, над которой долго и много трудился. Семейная жизнь его ужасна: он, "эстет", ставивший красоту "выше религии", ибо "красота для всего в мире", а религия "только" для человека, женится в ранней молодости на полуграмотной мещанке. Жена впадает в слабоумие, и "грязь жены" каждодневно преследует человека, требующего от жизни прежде всего "поэзии".

"Я не только ищу поэзию, но и нахожу ее", — самонадеянно пишет он в юности, потом только ищет, не находя, потом и не ищет больше. Опыт жизни показал, что на "поэзию" и на "красоту" полагаться нельзя, и Леонтьев бросается к Богу. Но и в религии нет ему никакого утешения. Бог Леонтьева — страшный и безрадостный Бог усомнившегося в неверии атеиста. "А когда в 1869, 70 и 71 годах меня поразили один за другим удар за ударом — тогда я испытал вдруг чувство беспомощности перед невидимыми и карающими силами и ужаснулся почти до животного страха". Даже имение свое, маленькую усадьбу, единственное место на земле, где он отдыхал душой, он вынужден продать. И вот измученный, больной, одинокий он умирает.

Умер Леонтьев 12 ноября 1891 года. Можно было бы сказать: умер всеми забытый, если было бы кому о нем забывать. Но таких в сущности почти и не было.

* * *

Есть люди, есть события, настоящее значение которых остается долгое время скрытым, даже от самого внимательного взгляда. Только слепая интуиция может иногда предсказать до срока то, что со временем станет очевидным. Но интуитивные, бездоказательные предсказания, даже гениальные, почти

никогда не достигают цели. Они как бы невидимое отражение невидимого луча. Видимым станет луч, заметят и отражение — не раньше.

Примерно к 1912 году, моменту выхода собрания сочинений Леонтьева и подробного биографического сборника о нем — место его определилось. Почетное место в русской духовной жизни, хотя и не в первых рядах. К Леонтьеву была применена та благодушная универсальная оценка, которую так любил на своем ущербе затянувшийся до самого объявления мировой войны девятнадцатый век. По оценке этой Леонтьев оказался даровитым писателем и оригинальным мыслителем, который вследствие неудачной судьбы, особенностей времени и собственного характера не сыграл той роли, которую мог бы сыграть.

Россия шла к конституционной монархии, к либеральной свободе, к *habeas corpus*, хотя и по ухабам, но шла. Духовно и экономически она, несмотря на рогатки, расцветала, вера в прогресс трепетала в каждой клеточке русской жизни, несмотря на мрачные (временные, думали тогда!), ее стороны. Кто бы в это время стал идти за Леонтьевым, утверждавшим до хрипоты в голосе, что "уравнительно-либеральный прогресс есть антитеза процессу развития?"

Можно было все это читать, обсуждать в религиозно-философском обществе, можно было любоваться остротой мысли и оригинальностью положений, но действие... Какое тогда могло быть от Леонтьева действие? Да никакого.

И вот нет ни девятнадцатого века, ни духа его, ни веры в прогресс, ни трезвых оценок, ни "логики истории". История, вдребезги, ударом красноармейского сапога разбила все полки и полочки русской культуры, где все так аккуратно, так справедливо было расставлено. И в этом хаосе, в этом "мире явлений, где нет ничего достоверного — ничего, кроме конечной гибели" (слова самого Леонтьева), точно склянка с ядом, простоявшая закупоренной полвека и вдруг в суматохе разбитая, — открылся настоящий Леонтьев. Встал во весь рост своей одинокой мысли, своей трагической судьбы, своего отчаяния, своих странных надежд. Недаром умирая повторял он так настойчиво: "еще поборемся". В самом деле наступает для него, как будто, время "еще побороться".

Розанов, прочтя впервые Ницше, воскликнул: "Да это Леонтьев, без всякой перемены". Если оглянуться на то, что делается в мире, если потом перевести взгляд на русское духовное подполье, посмотреть, что творится в душах подрастающего "вне времени и пространства" русского нового поколения, послушать их разговоры в ночных парижских кафе или на религиозно-политических диспутах — как не повторить за Розановым: "Да ведь это Леонтьев".

Леонтьев. Только не "без перемены". Перемена есть и огромная. Вечно этот самый одинокий из русских мыслителей искал соприкосновения с жизнью. Искал, но так и не нашел. Теперь декорации переменились. Для доброй половины "активной" части человечества и в частности для доброй по-

ловины русской молодежи то, чему учил Леонтьев, очень близко и знакомо. Но еще больше, чем его противоречивые идеи, близка современности сама его личность.

* * *

Если перечесть биографию Леонтьева, если потом ознакомиться с его взглядами на жизнь, на церковь, на государство, на личность, мы увидим, как близко все это к самой жгучей, самой современной современности.

О какой современности идет речь, я думаю, ясно само собой. На пятнадцатом году большевицкой революции, в пятнадцатую годовщину Версальского договора — на вопрос, что такое современность, мы можем ответить точно. Нравится нам это или нет, мы должны признать, что современность — не столько английский парламент, сколько германский хаос, не Ватикан, а фашизм, не новые мирные демократические республики, а огромное, доведенное до предела страданий и унижений планетарное "перекати-поле", где как клеймо на лбу горят буквы — СССР. Ватикан, английский король, демократия, вековая культура, правовой порядок, совестливость, уважение к личности — все это скорее "обломки прошлого", существующие лишь постольку-поскольку. Настоящее — Рим, Москва, гитлеровский Берлин, Хозяева жизни — Сталин, Муссолини, Гитлер. Объединяет этих хозяев, при некотором разнообразии форм, в которых ведут они свое "хозяйство" — совершенно одинаковое мироощущение: презрение к человеку.

И вот такое же точно презрение к человеку — страстное, органическое, неодолимое, "чисто современное" презрение — было в крови у родившегося в 1831 году и умершего в 1891 году калужского помещика и консула в Андрианополе.

* * *

Было два Леонтьева.

Был необыкновенно одаренный, увлекающийся, страстный, самолюбивый человек. Он любил власть, блеск, деятельность, успех — и глубоко страдал, видя, что несмотря на всю свою исключительность он никем не оценен, не находит в жизни никакого применения, не имеет и того, что "имеют многие скотоподобные люди". Сложные душевные кризисы сопровождали этот разлад между тем, что "должно было бы быть", и тем, что было в действительности. Ясного взгляда на жизнь этот Леонтьев не имел — это для него "в мире явлений нет ничего достоверного, разве кроме конечной гибели". Это он пишет отчаянно: "Выручайте, выручайте, друзья, а то очень плохо" — хотя отлично знает, что нет у него таких друзей, которые могли бы его "выручить", как-то ему помочь, чем-то обнадежить. Леонтьев-человек сам не знает, что же — любит он Россию или презирает ее, верит в Бога или только боится "загробного возмездия", способен на "высокую страсть", о которой романтически грустит в разговорах и письмах, или такова уж его любовная "вера" — кроме бесследно проходящих поверхностных увлечений никогда не знать серьезного чувства к женщине. Леонтьев не может от-

дать себе во всем этом отчета: когда он пытается это сделать, в его интонациях слышна растерянность, в голосе звучит глубокое неодолимое сомнение. Россия, Бог, византийство, эстетика, все, о чем Леонтьев-теоретик так много, так настойчиво и "планомерно" говорит в своих книгах — для Леонтьева-человека большого значения не имеет, хотя он и скрывает это, скрывает даже от самого себя. Но по существу — от юности до последних дней — одна только страсть наполняет Леонтьева, растворяя и покрывая все остальные: "Тоска по жизни и блестящей борьбе".

"Я все рвусь мечтой то на Босфор, то в Герцоговину или Белград, то в Москву и Петербург, и мне иногда тяжело в этой тишине и в этом мире. Оттого я и сюда помолиться приехал, чтобы заглушить тоску по жизни и блестящей борьбе".

Это пишет из монастыря полубольной, пожилой, замученный жизнью Леонтьев. Весь он в одной этой фразе. Вот, приехал, молится, бьет поклоны, ведет с "братьями во Христе" благочестивые беседы, готовится принять монашество, — и все для того только, чтобы "заглушить тоску" по "борьбе, по жизни". Веры тут, конечно, немного, но тоска слышится огромная. Эта "тоска по жизни" не уймется даже на смертном одре. В мучительной переключке — "надо покориться — еще поборемся", которую со страхом слушает у постели умирающего красивая Варька в красном сарафане — слышна та же тоска... Леонтьев-человек, когда поверхностное "нищешанство" его ранней молодости, самонадеянное "все позволено" не обжегшего еще лапок гордого, даровитого, жадного до впечатлений птенца, жалевшего, что вдруг "не будет на моем веку ни одной большой войны", сойдет с него под жестокими ударами жизненных разочарований — как-то сразу, сразу, с размаху опустится в жесточайший душевный мрак.

"Как душно везде. Даже великие люди — как кончали они? Смертью и смертью. К чему же привела их жизнь? Как жива передо мной картина, где Наполеон в круглой широкой шляпе и сюртуке стоит, заложив руки за спину.

Как ему скучно! И еще картина: м-ме Bertrand с высоким гребнем, рак внутри, раскрытый рот и смерть. Еще я вижу Гете в старомодном сюртуке, старого Гете, женатого на кухарке. Как душно в его комнате. Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано. Руссо, муж Терезы, которая не понимает, кто ее муж. И это еще все великие люди. Не ужас ли это, не ужас ли со всех сторон?"

Этот душевный мрак, этот страх, этот ужас перед жизнью — очень искренен, но хоть до самого конца дней Леонтьева он останется не исцеленным, — от него есть лекарство. Тоска Леонтьева по жизни, по блестящей борьбе совсем другой природы, чем "скука Наполеона", чем "ужас старого Гете, женатого на кухарке", которые Леонтьев так пронзительно изобразил. То, что съедает Леонтьева, "не менее больно, но гораздо более мелко". Перед Наполеоном, зевающим от скуки на св. Елене, действительно предел того, что больше некуда. Но Леонтьев оттого и скучает, оттого и бьет поклоны на

монастырской всенощной, оттого и ужасается, что нет для него наполеоновских "обстоятельств", что он "Кромвель без меча", был бы меч, были бы обстоятельства, — он бы не скучал, он бы знал, что делать. "Это тоже очень современная психология, психология нынешних хозяев мира". Есть рассказ Анжелики Балабановой о том, как скучал в Женеве молодой Муссолини, как он боялся жизни, как она, Балабанова, провожала его вечером домой, потому что "идти одному ему было страшно".

Страшно ли теперь Муссолини, когда он при крике "фашио!" проходит с поднятой рукой перед своими легионами, не ужасается ли он? Вопрос праздный: ему просто некогда о таких пустяках думать.

Та же совершенно двойственность видна и в Леонтьеве. Нет "обстоятельств", нет и "жизни". Появились обстоятельства или намеки на них, и совершенно меняется и человек, и его психология. На несколько месяцев Леонтьев делается хозяином забытого "Варшавского дневника", имевшего человека двести читателей. Каким "поразительным" журналистом он сразу стал, какие нотки "казенной твердости" сразу зазвучали в его статьях! Владимира Соловьева "он просто советует выслать из пределов России, за вредное направление". Вообще, как только Леонтьев чувствует за собой — в должности консула, редактора, главного сотрудника вот этого "Варшавского дневника", — хоть какую-нибудь "государственную опору", он сейчас же дополняет доводы ума и таланта доводами административными, последние даже предпочитая. В этом смысле то, что жизнь Леонтьева не удалась, для него как писателя было спасением... В условиях одиночества процвели высшие, благородные стороны его натуры, грубым сторонам суждено было заглухнуть. Получи он сильное влияние, высокий пост, трибуну, вероятно, случилось бы наоборот.

Константин Леонтьев был писателем большого таланта, человеком огненных страстей. Душа его — сложная и большая душа — искренно рвалась к Богу, к высокому, вечному. Но на ногах у него висел тяжелый груз — тот же, что у всего послевоенного человечества.

Он, так много бивший поклонов по монастырям, так подробно трактовавший религиозные вопросы, — по инстинкту, в глубине души, не верил ни во что, кроме материальной силы. Он по-настоящему верил и любил только "силу оружия" или "силу принуждения", "силу православия" или "силу государственной идеи", но прежде всего и главным образом силу. Этим и объясняется невозможность для него "привиться" в духовном, несмотря на "материализм" в девятнадцатом веке и почти полное совпадение с не верящим "ни в Бога, ни в черта", особенно не верящим в человека — веком нашим.

Совпадение политических теорий Леонтьева с "практикой" современности прямо поразительно. Не знаешь иногда, кто это говорит, Леонтьев или гитлеровский оратор, или русский младоросс. Порой совсем Муссолини, дающий интервью Людвигу, порой — и это странно только на первый взгляд, ибо по-

доплека у фашизма, гитлеризма, большевизма, что там ни говори — одна, — в ровных, блестящих логических периодах архи-консерватора, которого за чрезмерную правизну не хотел печатать Катков, слышится — отдаленно — Ленин.

"Важно не племя, а те духовные начала, которые связаны с его силой и славой". "Важен не народ, а великая идея, которая владеет народом".

Но "великие идеи" и "духовные начала" могут расцвести "не иначе, как посредством сильной власти и с готовностью на всякие принуждения". Это общие положения. Потом, касающиеся специально России.

"Без страха и насилия у нас все пойдет прахом". "Никакая пугачевщина не может повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень демократическая конституция". "Россию надо подморозить, чтобы не гнила". И в заключение: "Нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельс и, выбрав совсем новый путь, стать во главе умственной и социальной жизни человечества". Такие выписки из Леонтьева можно делать без конца. Все, что он говорит, нам уже знакомо заранее, и не из его статей, а непосредственно из окружающего нас хаоса и насилия или "цветущего неравенства", — кому как нравится звать. Все знакомо — и "духовные начала", расцветающие "посредством принуждения" и конституции, которые "опасней Пугачевщины" — и на совет "сорваться с рельс" и "стать во главе" с сердечным удовлетворением мы можем сказать: Есть. Уже сорвались. Уже стали.

"Пища моя крута", — говорит о себе Леонтьев. Эта (действительно крутая, нельзя спорить) пища стала для послевоенного несчастного человечества опостылевшим ежедневным "пайком". С самого августа 1914 года до наших дней расхлебывает оно эту "крутую пищу" и все не может расхлебать. Что расхлебывать придется долго — сомнений нет. Интересно было бы знать, как долго, — вплоть до "конечной гибели" или все-таки на некотором расстоянии до нее. Но на этот вопрос не могут ответить никакие "слова", никакие теории — ни "эгалитарно-уравнительные", ни "неравноцветущие". Ответит на это жизнь.

* * *

Теплятся лампадки в монастырской гостинице. Неслышными шагами приходят послушники. Шумит у окна какая-нибудь трогательная, осыпающаяся "нестеровская" березка...

У окна, за письменным столом, сидит старый больной человек, приехавший сюда "заглушить тоску". Он что-то пишет. На его красивом породистом изможденном лице надменность отчаяния: что там ни пиши, как сжато ни формулируй, какие блестящие парадоксы ни рассылай — ясно одно: жизнь не удалась.

Жизнь не удалась. "Блестящая борьба" не состоялась. — "Надо покориться". Но покориться он органически не может. Если бы "обстоятельства", если бы Кромвелю да меч! Но нет

меча, нет обстоятельств, нет даже "обеспеченных семидесяти пяти рублей". Гордость. Отчаяние. Тихие послушники. Лампадка. Вечер, березка на чохлом небе. Там в небе — грозный, безрадостный Бог усомнившегося в неверии атеиста, карающая темная сила. Здесь неудавшаяся жизнь, подступающая смерть. Утешения нет ни в чем. Разве "красотой", по старой памяти, не то что утешиться — развлечься. Вот именно такими занавесочками, из такой обязательно марли. И со страстью, всегдашней своей страстью — о чем бы ни шло дело — Леонтьев пишет в Москву друзьям — описывает цвет, качество, плотность требующейся ему марли. С тем же "ясновидением", с каким предчувствует послевоенную Европу, описывая эту марлю в мельчайших подробностях: должна непременно быть в Москве такая. Друзья долго ищут, наконец действительно находят — в гробовой лавке. Это специальный товар для покойников. И другие разные совпадения, предчувствия, приметы окружают в его последние дни Леонтьева.

Вдруг обнаруживает он, что все важные события его жизни происходили в начальные годы десятилетий и вот теперь как раз 1891 год. Какое же важное событие ждет его? Тайный голос подсказывает: смерть.

Вообще в последние дни Леонтьева вокруг него, как вокруг медиума, "потрескивает" в воздухе. В щели патриархальных "графских номеров" дует ледяной ветер метафизики. Как ни топят, Леонтьеву все холодно — из-за этой усиленной топки он и умирает: разогрелся, снял кафтан, сел у окна, продуло, — воспаление легких. Да, "в воздухе" вокруг как-то "неблагополучно" и не помогают ни лампадки, ни ладан, ни долгие земные поклоны. Как будто какое-то иное начало мстит Леонтьеву за его преданность осязательной силе, — все равно — "силе оружия" или "силе церковной идеи". Или, может быть, человеческое в нем сводит счеты с его презрением к человеку. Во всяком случае смерть его окружает некая мистика, та мистика, которую он так любил, как добавочное декоративное средство к "православию", "самодержавию", "византизму", но в которую, в глубине своей "нищанской" души, вряд ли верил, пока был силен и здоров.

Умирал Леонтьев тяжело, непокорно, с тоской — не так, как умирают верующие христиане. О смерти и жизни его выразительно сказано в кратком слове Розанова:

"Прошел великий муж по Руси — и лег в могилу. И лег и умер в отчаянии с талантами необыкновенными".

Митрополит Сурожский Антоний

О ЦЕРКВИ, О МОНАШЕСТВЕ И БРАКЕ

(Выступление в Москве, декабрь 1974 года)

Мне был сделан целый ряд предложений, о чем бы нам сегодня поговорить; и между прочим меня просили поговорить о Церкви, а кроме того — о браке и о монашестве. И я хочу попробовать соединить в каком-то отношении эти две темы. Соединяются они в моем сознании следующим образом. Ничего в Церкви не может быть существенного, выражающего ее сущность, что не было бы одновременно выражением всей жизни церковной, то есть не только умозрительной, но и каждодневной жизни, делания и человеческого творчества. И вот брак и монашество являются двумя аспектами церковной природы, церковной сущности. Брак и монашество не являются в церковном опыте просто образом жизни, какой выбирают одни или другие люди; брак и монашество являются как бы двумя сторонами, двумя выражениями, исчерпывающими собою, с определенной точки зрения, природу Церкви.

Если вы вчитываетесь в Ветхий, да и в Новый Завет, особенно в книгу Откровения, вы увидите, что образ брака является образом полноты жизни, завершенности, совершенства жизни. Брак представляется в этом отношении всеконечной победой любви, то есть предельным торжеством Бога; но не над человеком: Бог над человеком не торжествует; а торжеством Бога в самом человеке, осуществление всей полноты и Божественной, и человеческой жизни. Ветхий Завет нам дает множество образов полноты, счастья, радости, блаженства в картинах брачной любви; а в Новом Завете, в книге Откровения говорится о браке Агнца, о том соединении в любви —

**Антоний
митрополит
Сурожский**

— в миру Андрей Борисович Блум. Правящий архиерей Московского Патриархата на островах Великобритании. Автор множества книг, переведенных на все европейские (и не только европейские) языки.

уже нерасторжимой, любви и победившей, и победоносной, которая соединяет всю тварь с Богом.

И поэтому брак выражает собой нечто, что является сущностью церковной жизни; это чудо, это диво того, что Бог так возлюбил мир, что Своего Сына Единородного дал, чтобы мир был спасен, чтобы мир обрел такую **бездонную** глубину, измерением которой является Сам Бог и только Бог.

А с другой стороны, Церковь выражается также образом *Невесты Агнца*. Вы, наверное, помните это выражение; некоторым оно кажется странным, почти мифологическим, почти сказочным. Что значит "невеста Агнца?" Невеста — та, кто сумела так полюбить, с такой цельностью, с такой неразделенностью полюбить, что она может последовать за любимым на край света, последовать за ним и в радость, и в горе, быть, где бы он ни оказался. *Агнец* же в этом выражении "невеста Агнца" — это Агнец закления, тот Агнец, о Котором провозглашал святой Иоанн Креститель, когда увидел Христа: *Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех мира* (Ин.1,29); тот Агнец, Который в 52-53 главах пророчества Исаии назван *Мужем скорбей*. В конечном итоге, это Сын Божий, ставший сыном человеческим в действии Воплощения, которое Его сделало одним из нас, **брачной любовью** Божией к твари.

Но путь Агнца — это крестный путь; Муж скорбей, Христос, Агнец, о Котором говорит Ветхий Завет, предназначен к тому, чтобы свою жизнь отдать, отдать свободно, отдать по любви, для того мира, для той твари, которую так возлюбил Бог, что отдал Его для спасения этой твари. И вот *Невеста Агнца* — это тварь, отвечающая на любовь Божию — любовью; любовью, готовой разделить с Богом воплотившимся, вошедшим в мир для смерти и смерти крестной, всю Его земную судьбу.

В этом смысле в Церкви есть эти два совершенно различные аспекта. Он — чудо встречи Бога и человека, всей твари с Богом; она — чудо и ликование о том, что Бог так бесконечно близок и стал таким родным, таким своим... Один из Отцов Церкви говорит, что слово *Бог* гораздо менее значительно для нас, чем слово *Отец*, ибо слово *Бог* означает различие между нами и Им, слово *Отец* подчеркивает родство: мы — дети Его, мы Ему родные, мы Ему свои; и это чудо Божией любви, которая нам дается и на которую мы можем ликующе, радуясь ответить, есть уже осуществление всего. Воплощение Христа это — во времени, среди времени, пока еще история развивается и течет, уже ее полнота, осуществление, это уже победа, конец, это уже все.

В этом отношении в Церкви есть глубокое ликование, и Церковь — не просто человеческое общество, не просто общество людей, которые во имя Божие собраны, которые послуш-

ны Его заветам, которые живут Его дарами; Церковь — чудо гораздо большее. Это тело, *живое тело*, организм, который одновременно и равно и Божественный, и человеческий, в котором на равных началах — потому что **любовь** неравных делает равными — Бог и человек встречаются, соединяются, делаются неразлучными; Церковь — место, где совершается это самое чудо встречи, этой взаимно отдающейся любви, вечности уже пришедшей, победы любви над всякой рознью.

В этом отношении Церковь уже теперь в каком-то смысле, содержит в себе **брак Агнца**. Святые — да что я говорю: не только святые, — **грешники** это знают, когда в какой-то момент вдруг мы чувствуем, что Бог так близок, что Его любовь столь ласкова и тиха, что **такое счастье** — Его знать и быть Им любимым и посильно отвечать любовью на любовь.

И вместе с этим, именно Церковь, когда мы ее так переживаем, так понимаем, является предметом нашей веры, а не просто нашего знания, потому что бросается в глаза в Церкви — человек, люди, человеческая немощь, хрупкость, грех; но мы знаем, что за этим, несмотря на это, Церковь — больше всего этого. Так бывает иногда в семьях: большая, глубокая, сильная любовь соединила и держит людей, которые когда-то друг друга увидели, какие они есть в глазах Божиих, — облеченными в славу, в красоту, глубокими. А окружающие видят порой только трудности, напряжение в этой семье, слышат спор и не понимают, что за ним стоит такая глубокая, сильная любовь, что только потому возможен этот спор, это бурное, мучительное становление, что есть эта ничем неколебимая любовь.

Это мы видим в Ветхом Завете между человечеством и Богом; мы видим постоянно спор между Богом и человеком, мы видим, что минутами делается темно, и тогда в этой темноте сплетаются в мучительной борьбе Иаков и Ангел Божий. И пока темно, эта битва будет продолжаться, и будет преодолевать то Ангел — то грешник, то Бог — то человек; но в этом сплетении сил, в этом противопоставлении, в этом борении происходит нечто очень глубокое, потому что когда рассветает, Иаков поднимает глаза и узнает, что он всю ночь боролся с Ангелом, и кланяется ему в землю, и просит его благословения (Быт.32, 24 и след.).

Так бывает и в Церкви. Есть видимое: это борьба Иакова с Ангелом в потемках непонимания, в потемках становления, в какой-то муке неполноты, которая рвется к полноте и потеряла к ней путь; и вместе с этим, самое борение говорит о том, что Бог и человек связались неразлучно, навсегда друг с другом, и что ничто не может их друг от друга оторвать. В этом — чудо Церкви, в ее мучительном становлении, в ее мучительной внутренней жизни, где человеческое и Божеское переплелись, становятся едиными, но еще не всегда в каждом

из нас достигли этого единства. И однако, это уже встреча навсегда, это уже соединение навсегда, это уже какое-то предчувствие, а минутами и предвкушение того, что придет время, когда борение будет преодолено, и останется только не-сказанная радость твари, соединившейся со своим Творцом.

Но есть еще другой аспект Церкви, на который я указывал: *Невеста Агнца*. Каждый из нас, каждая душа, каждый человек в своем становлении сплелся в **борьбу** с Богом, но одновременно мы **вместе** с Богом, потому что любовь и вера нас с Ним соединила. Мы в этом мире являемся тем местом, где живет Господь; Церковь, место встречи, является тоже в этом мире местом Божественного присутствия. Церковь в этом мире так соединена с Богом, что она идет путем Христа. Иногда нам кажется недоуменным, как это возможно? Какова наша связь со Христом, каким образом можем мы быть так с Ним едины, что Он мог Своим ученикам сказать: *Как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю* (Ин.20,21)? Если задуматься над тем, как мы делаемся Христовыми, можно обратиться к образам Нового Завета и Ветхого Завета. Апостол Павел нам говорит, что мы — дикая маслина, привитая к крепкой, живой маслине тела Христова (Рим.11,17 и след.). Если задуматься над этим образом, как можно себе это представить? — Вот стоит живоносное, животворное дерево и вокруг целый лес растений. Живоносное дерево укоренено в Боге, живоносное дерево — Христос — живо Божественной жизнью, а мы все вросли в землю своими корнями; из нее мы черпаем свою жизнь; но то, что мы берем от земли, она в свое время возьмет обратно: *земля еси и в землю отыдеши...* И вот Господь, как мудрый садовник-спаситель, обходит сад, где умирают деревца и растения. Среди этих растений Он вдруг обнаруживает одно какое-то, которое способно на жизнь: новую, вечно-новую, вечную жизнь; и Он отделяет это растение, эту веточку от ее корня. Он отрывает ее от временного источника временной, преходящей жизни; и вырванная из своей среды, отделенная от своих корней, эта веточка чувствует, что течет из нее жизнь, что только смерть ей остается. Но садовник произвел надрез на ветке живоносного дерева, и рану к ране он приложил умирающую веточку к живоносному стволу; рана к ране, кровью, жизнью своей это живоносное дерево должно вернуть жизнь умирающему ростку. И эта жизнь пробивается, пробивается упорно, настойчиво, бежит по тонким сосудам этой дикой веточки, проникает в самые отдаленные места, пробивается в самую глубину каждой клеточки; и везде она несет жизнь, так что оживает все, что только способно жить; она не вытесняет природную особенность этой веточки, она всему дает новую силу жизни.

И веточка начинает жить, потому что она на живоносном стволе, жить своей жизнью, и вместе с этим жизнью, которая ее во всем превосходит. Это апостол Павел называл: *не я живу, а живет во мне Христос* (Гал.2,20); разливается жизнь Божественная, вечная, непреодолимая, неумирающая жизнь и заменяет собой временную, хрупкую, неустойчивую; и веточка делается самой собой, достигает своей красоты, расцветает. Христос, согласно 15-й главе Евангелия от Иоанна, говорит о нас как о веточках на виноградной лозе: пока пребудете во Мне, принесете плод...

Это соединение со Христом и есть условие нашей жизни, и это соединение так же крепко, так же совершенно между человеческой жизнью и душой и Спасителем, каково соединение дикой веточки с животворным деревом. Тогда делается понятно, каким образом Христос может сказать: *Как Меня послал Отец, Я вас посылаю* — потому что мы и Он в каком-то отношении теперь стали одно. Та же жизнь бьет ключом и в нас, и в Нем. Если мы ее отдадим, прольем, истощим, это будет Божественная жизнь и кровь. И все, что было в истории правдой о Христе, должно неминуемо стать правдой о нас; как Отец возлюбил мир и отдал Своего Единородного Сына, так Отец, Который любит мир, и нас отдает для спасения мира.

Но в образе апостола Павла это все кажется таким простым: ветка, садовник... А как же мы соединяемся со Христом так тесно и глубоко, что все, что о Нем можно сказать, можно сказать и о нас? — Любовью; верой... И мы знаем, что это возможно. Мы говорим о смерти, о жизни; если мы кого-нибудь любим большой, крепкой, простой человеческой любовью, то его жизнь делается нашей жизнью; что с ним случается — для нас важнее, чем то, что случается с нами; он или она — в центре нашей жизни. Так было с апостолами по отношению ко Христу; постепенно, через любовь, через веру Он стал для них самой **Жизнью**, потому что их любовь была такова, их вера в Него была такова, что если изъять Его из жизни — оставалось бы только *существование*, но жизни не было бы.

И это соединение наше со Христом, это наше единство с Ним — каждого из нас, как члена тела по отношению к самому телу: это опять-таки образ апостола Павла — так тесно и так глубоко, что оно делает нас друг по отношению к другу одним телом, одним каким-то существом, всецелым человеком или человечеством, тем, что Священное Писание называет Новым Адамом, — просто человеком, обновленным через соединение со Христом.

Это — торжество любви, которое стирает все преграды, делает неравных равными, соединяет за пределами всякого воображения любящих и любимых. И если мы действительно

любим Христа, если действительно мы любим Бога любовью *Христовой*, то мы можем следовать за Агнцем, как невеста, с Ним войти в область смерти, в область страдания, в область греха, в область богооставленности, сойти в самые глубины и в самые мрачные тайники человеческого ада и внести в них, как Христос то сделал, свет, жизнь и победу любви.

И вот в Церкви брак и монашество являются выражением этого **сложного** сочетания уже одержанной победы и испытанного торжества любви, и того крестного пути, который должен привести когда-то весь мир в Царство Божие. Если вы вдумаетесь в основные черты взаимного отношения брака и монашества, вы увидите, что в них очень много сходства. Первый обет, который дает монах при пострижении, первый ответ на вопрос постригающего: Обязуешься ли ты пребывать в этом братстве до своей смерти? воспринимается обычно, согласно практике и опыту Церкви, как обязательство, вступив в братство, его не покидать, вступив в монастырь, из него не выходить. Но за этим стоит, конечно, гораздо больше; за этим стоит верность и устойчивость: верность первой или окончательной своей любви, и устойчивость, то есть готовность, каковы бы ни были обстоятельства, несмотря на напор всех враждебных сил, остаться лицом к лицу с тем, кого выбрала наша любовь. Эта устойчивость для монаха значит, что он будет стоять перед лицом Божиим, каково бы ни было его настроение, каковы бы ни были обстоятельства, будет стоять перед Божиим лицом, поклоняясь и служа, что он никогда не отвернется от Того, Кого полюбил и Кому обещал свою жизнь и сердце.

В брачной жизни мы говорим о верности брачной, и это, в сущности, то же, что обет такой устойчивости (я говорю сейчас, конечно, не о тех браках, которые являются результатом случайности, а о таких, которые являются результатом зрелого выбора). В начале службы обручения есть короткая молитва, где мы просим, чтобы этот брак был подобен браку Исаака и Ревекки в Ветхом Завете. Если вы вчитаетесь в рассказ (Быт., гл. 24), вы увидите, что это был брак любви. Но в нем есть нечто особенное; есть другие рассказы в Ветхом и Новом Завете и в истории Церкви об **очень** совершенной и глубокой любви; но здесь Сам Бог открыл слуге Авраама, кто должен стать невестой и женой Исаака. Тогда это было сделано наглядным видением, но любовь является таким же чудом.

Вы, вероятно, видели, замечали в своей жизни, как несколько человек живут, работают, встречаются постоянно, и среди этих людей какие-нибудь двое друг друга и не замечают, до какого-то дня, когда вдруг они взглянут друг на друга и увидят то, чего раньше не видели, чего никто не увидел. Они увидят один другого как единственных, как непов-

торимых. Святой Мефодий Патарский в одном из своих писаний говорит: пока юноша не полюбил девушку, он окружен мужчинами и женщинами; когда он нашел свою невесту, он окружен *людьми*... Вот этот момент, когда один человек находит другого — единственного и неповторимого, есть момент, когда начинается тема окончательной устойчивости в отношениях — пока еще как проблема, потому что то, что было увидено, пережито в какое-то мгновение, не останется постоянным достоянием двух. Прежде всего, то, что они увидели друг во друге, может быть, была и ошибка; очень, очень часто по духовной незрелости, по молитвенно-духовной неподготовленности делаются выборы любви, которые не являются плодом этого Божиего откровения о другом человеке, и тогда (справедливо) брак расходится, распадается, потому что в нем не было именно того, что составляет чудо встречи Исаака и Ревекки.

Но бывает — постоянно — что два человека, увидевшие друг друга как бы в свете Преображения, на следующий день встретятся, посмотрят друг на друга и увидят друг друга вновь, какими они всегда были, — так же как ученики, сошедшие с Фаворской горы, видели Христа, Каким Он был изо дня в день до и после Преображения. И тут вступает в силу то свойство, которое мы называем верой, то есть уверенность в том, что невидимое, то, что сейчас стало невидимым, то, чего другие никогда не видели — достовернее видимого; что человек, который вчера сиял не вечерним светом, сиял божественной славой, светом Преображения и который сегодня такой обыкновенный, вчера был явлен нам в неповторимой глубине и красоте, каким он вышел из рук Божиих, каким Бог его призвал быть.

И тут требуется именно вера, устойчивость, неколеблющаяся уверенность в том, что увиденное однажды более истинно, чем то, что я вижу изо дня в день. Когда изопряется наш взор, когда чуткость наша увеличивается, мы можем постоянно это видеть. Святые умели видеть сияние Божие на грешной твари, мы этого не видим, мы видим мертвое или тусклое вещество, и поэтому часто не умеем устоять против тусклости нашего видения.

Но будь то монашество, будь то брак, — все начинается с того, что мы серьезно, вдумчиво, от всего сердца делаем выбор, — выбор любви и выбор веры, и что мы этому выбору останемся верны навсегда. Это называется брачная верность, это называется монашеская устойчивость, стабильность, и без этого не может быть ничего дальнейшего.

Дальше мы говорим о монашеских обетах бедности, нестяжательности, послушания, целомудрия. Но ведь они так же реальны в брачной жизни, как они реальны в монашеской! Бедность как материальное состояние — только один из ас-

пектов подлинной бедности; быть обездоленным материально еще не значит быть евангельски бедным. Иоанн Златоуст говорит, что беден тот, кто вожделевает того, чего у него нет. Человек может быть бесконечно богатым, несметно богатым, но если ему страстно хочется того, чего у него нет, все его богатство — ничто в его глазах, и он бедняк. С другой стороны, человек, который даже очень беден материально, но не ищет ничего, может себя чувствовать богатым.

Примеров сколько угодно можно бы найти и в светской литературе; но вспомните, например, рассказ о том, как царь Давид, у которого все было, увидел жену Урии-полководца, и все для него показалось ничем по сравнению с его страстным желанием ее иметь. По его приказу Урия был поставлен в самое опасное место битвы и погиб; и Давид взял его жену к себе. Тогда пророк Нафан был послан Богом обличить Давида и рассказал ему притчу: жил человек, богатству которого не было числа; и был у него сосед-бедняк; у него была только одна овечка, которую он любил, о которой он заботился, которую он ласкал; словно дочь она ему была, потому что ничего и ничего у него не было, кроме нее. Пришел к богачу приятель, и захотел богач пир для него устроить; но ему стало жалко собственных овец, он велел отнять ту овечку, которая была всем богатством его бедного соседа, и заколоть... Давид-царь воспламенился гневом: Скажи мне, кто этот богач, чтобы я взыскал с него? — и Нафан ему ответил: Это ты; все у тебя было; у Урии была только одна его любовь, и ты ее у него отнял... Давид оказался нищим при всем своем богатстве, потому что его желание простерлось на то, чего у него не было.

И есть рассказ уже из совершенно другой области, из жизни польского еврейства 18-го века. В одном малом городке жил раввин — в голоде, холоде, нищете; и каждый день воспевал милость Божию. Кто-то из его соседей к нему обратился с упреком: каким образом можешь ты так благодарить Бога? Разве это не лицемерие? Разве не знает Бог, что ничего у тебя нет и что твоя благодарность — впустую?.. И старик-раввин ему ответил: Ты не понимаешь сути дела. Бог взглянул на мою душу и подумал: Что нужно этому человеку, чтобы достичь полной своей меры? — голод, холод, обездоленность, одиночество; и это Он мне дал с преизбытком... Этот человек себя считал богатым своей обездоленностью, а тот — бедным при всем своем богатстве. И это очень важный момент, потому что, разумеется, материальная бедность составляет часть монашеского подвига; вернее, не столько бедность, сколько постоянная неуверенность в будущем дне, то, что надежда его может быть только на Бога, на милость — человеческую и Божию.

Но вот тут и начинается Царство Божие. Вы помните первую заповедь блаженства: Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Блаженны те, кто понимают, что они — ничто, что у них ничего нет собственного; но сверх того — кто, пользуясь всем тем, что жизнь дает: самим существованием, жизнью, дружбой, родством, едой, питьем, кровом, воздухом, красотой, истиной и т.д. — зная, что ничто из этого им не принадлежит, умеет распознать, что все то, что у них есть, есть знак Божественной любви или человеческой любви. А в тот момент, когда мы можем сказать о какой-нибудь вещи "она моя, никто не может у меня ее отнять, и никто не может мне ее дать, потому что она принадлежит мне по праву" — мы эту вещь изымаем, исключаем из чуда любви. Только когда мы сознаем, что все, что у нас есть, говорит о любви, когда нет у нас больше прав, нет ничего "нашего", тогда мы вошли в Царство любви. Отец Александр Шмеман в одной из своих книг, говоря о том, что все есть любовь, пишет: самая еда, которая нам дана, — разве она не Божественная любовь, ставшая съедобной?..

И это правда; но обет бедности, искание нищенства духовного, которое Христос предлагает не каким-то отдельным людям, а всякому христианину, равно необходимы и человеку в браке, и человеку в монашестве, потому что без них нет Царства Божия. Если человек не достигнет этого в браке, то у него будет брак земной, который не раскроется в измерение вечности и Царства. Если монах будет голодать, холодать и ничем не обладать, но не вырастет в меру именно этой отрешенности, этой свободы, то он не будет в Царстве Божием.

Следующий обет монашества о послушании. Послушание мы всегда понимаем как подчиненность, подвластность, и в педагогическом порядке воспитания монаха, воспитания ребенка послушание так и выражается и представляется. Но послушание есть в основе своей что-то совершенно иное; послушание — это то состояние человека, который слушает, прислушивается, который склоняет свой слух с тем, чтобы услышать. И здесь целый ряд слов мог бы нам дать понять, помочь понять, что от нас ожидается. Мы говорим о церковной или монашеской дисциплине и понимаем ее опять-таки формальным образом, как военную, или школьную, или рабочую дисциплину; слово постепенно отошло от своего первичного значения и приобрело специализированное значение. Но дисциплина происходит от латинского слова *discipulus*, которое значит ученик, последователь. Дисциплина — это не просто дисциплинированность поведения или ума, это состояние того, кто является чьим-то учеником, который нашел своего учителя, который его избрал, который в этом учителе видит превосходство над собой, который всеми силами души и ума,

и сердца, и воли, и тела хочет так вслушаться в его учение, чтобы все воспринять, что тот ему может передать. И не только слова, не только правила, но через это вслушивание, через это внимание приобщиться всему богатству превосходящего его умом, сердцем, опытом, святостью человека. В этом отношении послушание и дисциплина идут рука об руку. Послушание это то живое, стремительное желание человека все воспринять: не только услышать слова, но уловить мысль, не только уловить мысль, но понять, почему эта мысль родилась и нашла себе выражение, из каких глубин опыта этого человека идут эти слова.

Так относится послушник, молодой монах к своему старцу, но так относится и старец и к своему послушнику, и к своему наставнику, потому что только тот может другого учить и вести, кто сам является учеником и послушником. В конечном итоге, послушание человеку должно пойти гораздо дальше, чем этот человек; вслушиваясь в то, что говорит старец, послушник должен услышать то, что *Бог* через этого старца ему говорит. Не напрасно Евангелие говорит: *Один у вас Наставник — Христос* (Мф.23,10). Условие, при котором старец может чему-то научить послушника, это внутренняя прозрачность, такая прозрачность, которая давала бы свету Самого Христа продиться через него и достигнуть ученика.

Но этот закон послушания, это прислушивание, внимание к другому человеку является также законом всех человеческих отношений, и особенно брачных. Если два человека, вступившие в брак, через пристрастие, через ослепленность друг другом не превратят один другого в идол, закрывающий им Бога, если оба будут одновременно прислушиваться друг к другу и вслушиваться в Бога, становиться прозрачными Божию воздействию, так что свет Божий мог бы пролиться на возлюбленного, тогда осуществляется та же самая заповедь послушания.

И здесь оказывается, что послушание и свобода не только совместимы, но что они так глубоко сплетены, что составляют одно. Русское слово *свобода* филологически трудное слово, и на него есть различные филологические толкования. Хомяков приводит одно из возможных толкований этого слова: свобода — это состояние того, кто является самим собой, кто достиг того, чтобы быть собой, — не в порядке самоутверждения, а в порядке становления всем, чем он может стать по дару Божию. Я не буду сейчас вдаваться во все слова, обозначающие это же понятие на других языках; но то слово, которое по-немецки звучит *Freiheit*, по-английски *freedom* и т.д., укоренено в древнем санскритском слове, указывающем на одно из самых древних, первичных восприятий человека, сущности и природы свободы, и в глагольной форме значит

любить" и "быть любимым", а как существительное значит "мой возлюбленный" или "моя возлюбленная", "моя любовь". Здесь нам указывается, что свобода связана с любовью. Тот свободен, кто любим и кто любит, кто освободился от себя, кто перенес центр тяжести всего себя, всей своей жизни в другого, будь то в человека (если этот человек не сделан идолом через богоподобное поклонение ему), будь то в Самого Бога. Свобода — это состояние любви. Один французский писатель говорит: сказать человеку: *Я тебя люблю*, то же самое, что сказать: *Ты никогда не умрешь...* И это правда по отношению к Богу, это правда по отношению и к человеку. Когда мы говорим о любви, мы говорим об очень сложном чувстве и состоянии, но в конечном итоге любовь, как мы ее видим в Боге, во Христе, это то состояние души, то отношение к другому, при котором человек себя забывает до конца и помнит только любимого; состояние, при котором человек для себя, субъективно, перестает существовать, он существует только потому, что любим и утвержден другим — человеком, Богом.

Свобода, послушание, взаимная внимательность в конечном итоге восходит к своему первоисточнику — будь то в браке, будь то в монашестве; это способность, но это тоже и подвиг, когда мы себе сами говорим: *Отойди от меня, сатана, сойди с пути!* Я не хочу прислушиваться к себе, я хочу всецело вслушаться в другого человека, всецело вслушаться в Бога... Это состояние послушания по отношению к старцу, это — состояние послушания по отношению к другому человеку; без этого другой человек **никогда** не почувствует, что он имеет объективное, реальное значение для вас.

И наконец, одно слово о целомудрии. О целомудрии мы всегда думает в телесных категориях. Мы говорим часто о грехах плоти, и забываем слово, еще в пятом веке сказанное одним подвижником: Грехи плоти — это те грехи, которые наш совратившийся дух совершает против невинной нашей плоти... Целомудрия нельзя достичь одной сдержанностью или дисциплиной тела; нельзя также достичь этого только и просто дисциплиной воображения. Можно достичь его только своеобразным подходом, одним из аспектов любви, когда мы на другого человека смотрим, и верой и любовью прозреваем в нем человека, возлюбленного Богом, сотворенного для вечной жизни, искупленного всей жизнью, страстью и смертью Христа, человека, которого Бог нам поручил, чтобы мы ему открыли путь вечной жизни. В момент, когда мы на человека так можем смотреть, мы делаемся целомудренными и в мыслях, и в плоти; и это единственный способ, который может до конца нас уцеломудрить. Но это отношение — не физическое; это отношение духовное, даже не душевное; и оно имеет место не только в монашестве, но и в браке, потому что в браке муж и жена должны осознавать, что они даны друг другу Бо-

гом, Который их взаимно друг другу поручил, чтобы они друг друга оберегли, сохранили, осыятили, открыли друг другу путь вечной жизни; и не такой вечной жизни, которая была бы в противоречии с жизнью земной, но жизни, где все земное, через благодать, через таинства, через приобщение к Божественности, получает измерение вечности.

Таким образом, в браке и в монашестве — монашеская устойчивость и брачная верность, обет нестяжательства или бедности и блаженство нищих духом (потому что только они входят в Царство любви), обет послушания, который является предельным вниманием в человеке тому, что Божие, и через человека — гласу Божию; обет целомудрия, который заключается в том, чтобы видеть все, что человек есть в его **нетленной** святости и красоте, и служить этому — все совпадает.

И однако, есть и разница, и сходство между этими двумя путями. В браке, как на то указывает Священное Писание, преобладает **ликование** о восторжествовавшей любви; в монашестве преобладает готовность от всего отказаться — не только от дурного, но и от добра — для того только, чтобы последовать за Агнцем-Христом. Но мы живем в мире, в котором уже одержана Божественная победа — и который еще не достиг своей полноты; и в результате этого брачное торжество в своей сердцевине отмечено крестом: живоносным, спасительным крестом, на котором должен быть распят и умереть Ветхий Адам в каждом из нас. А в монашестве, потому что Воплощением, и Крестом, и сошествием во ад, и Воскресением, и Вознесением, и даром Святого Духа уже одержана победа Божия, есть **ликование** о Царстве Божием, которое уже пришло, которое мы можем вкушать в таинствах, в молитве и в самой тайне Церкви, которая есть встреча Живого Бога с каждым человеком и со всеми нами, животворящая встреча, которая теперь есть Вечность.

На этом я кончу свою беседу; возможно, многие из вас нашли ее трудной или, во всяком случае, очень странной по подходу; но подумайте над ней, подумайте над своим опытом жизни, и вы увидите в том, что я говорил, гораздо больше простой, прямой, опытной правды, чем можно показаться сначала.

Вы говорили, что христианин должен для своих ближних в каком-то отношении забыть себя; но нельзя же быть мягкой подушкой для ближнего?.. И еще вы упоминали, что нас хвалят и за хорошее, и за дурное...

Давайте сначала врозь два вопроса, а потом попробую соединить. Вот спрашиваешь себя: что обо мне думают люди?

Люди, с одной стороны, критикуют, с другой стороны — хвалят. Иногда хвалят за дело, а иногда хвалят не за дело; например, говорят: "Какой очаровательный человек, с ним так легко!" Это может значить, что он действительно очаровательный человек и с ним легко, но это может тоже значить, что он умеет так приспособиться к любой обстановке, "с волками быть", что всякий волк ему рад; или что он просто такой *удобный*, что никогда от него неприятности не будет. Есть люди, которые бывают тверды и кажутся жесткими, но в которых это и есть самое лучшее, что вообще есть. Поэтому когда вас за одну вещь хвалят или за другую ругают, этого недостаточно, чтобы сказать: тут мой грех, а тут моя добродетель. Вот что я хотел сказать. Есть люди, которые очень строги, а потом вы им благодарны за это; есть люди, которые очень мягкие, которым вы потом никогда благодарны не будете; как говорил Суворов: трудно в учении — легко в бою!

И вот тут приходится — и это очень важно — собрать сведения и расценивать их; здесь требуется такая доля добросовестности и честности, чтобы сказать: нет, меня напрасно за это хвалят, — мне должно быть стыдно, что за это похвалили. И наоборот: меня отвергли за это, но я прав, и я останусь на своем; пусть продолжают отвергать... Я вам могу пример дать — дурацкий, но все равно. В начале войны я был в военном госпитале, и меня выкинули из офицерского собрания — за что? за то, что мне досталась больничная палата, в которой печка не действовала и санитары отказались ее чистить; я сбросил форму, вычистил печку и принес уголь. Мне товарищи устроили скандал, что я "унижаю офицерское достоинство". Вот пример ничем не величественный, нелепый; и конечно, я был прав, потому что было гораздо важнее, чтобы печка грела больничную палату, чем все эти погонные вопросы. А в других случаях, может быть, и хвалили, а я знал, что хвалят совершенно напрасно. Коль уж до исповеди дошло... когда я был маленьким еще мальчуганом, меня пригласили в один дом; нас несколько человек играло в мячик в столовой, и этим мячиком мы разбили какую-то вазу, — после чего мы притихли. Нас, помню, мамаша моего товарища хвалила за то, что мы такие тихие, и так прекрасно себя вели, и я был примерным гостем. Я потом *драл* домой с чувством: как бы успеть сойти с лестницы раньше, чем она эту вазу обнаружит... Вот вам второй пример: хвалили, и тихий я был, предельно тихий, только, к сожалению, до этого я успел вазу разбить. Вот что я хотел сказать.

Что касается до забвения себя... Вообще, понятие любви очень расплывчатое; то есть оно охватывает множество вещей, которые мы называем любовью совершенно несправедливо. Мы говорим: Я *люблю* Бога, и употребляем то же самое слово,

если хотим сказать, что страшно *любим* клубнику со сливками. Я не только в виде такой нелепой шутки говорю, это действительно показывает, откуда — куда. С другой стороны, когда мы говорим, что любим человека, что это на самом деле значит? У английского писателя Льюиса есть книга писем старого беса своему племяннику (по типу литературы это ближе всего к Феофану Затворнику: это книга действительно о духовной жизни, только наизнанку). И вот этот старый черт дает профессиональные советы молодому чертенку, который только что выпущен в свет, о том, как надо относиться к людям, что надо делать для того, чтобы их соблазнить и погубить. И между прочим он говорит в одном из писем с недоумением: Не могу понять, — Христос говорит, что любит людей, а сам оставляет их свободными; как же совместить это?.. И продолжает: *Я тебя люблю*; но что это значит? Это значит, что я хочу тебя взять в свои когти, тебя так держать, чтобы ты от меня никогда не удрал, тебя *поглотить*, из тебя сделать свою пищу, тебя переварить так, чтобы от тебя не осталось ничего вне меня. Вот что я, — говорит старый черт, — называю любовью. А Христос (продолжает он) — любит — и отпускает на свободу...

Так вот — тоже "любовь". Христова любовь, Божественная любовь — или человеческая, когда она делается сколько-то подлинной — это такая любовь, когда предмет моей любви является одновременно предметом моего уважения, вдумчивого отношения, когда ради любимого человека я готов собой пожертвовать, в большей или меньшей мере; в конечном итоге, говорит Христос, никто не имеет большей любви, чем тот, который свою душу положит за друзей своих (Ин.15,13). В конечном итоге, любовь означает, что другой настолько для тебя значителен, так централен в твоей жизни, что ты с собой и считаться не собираешься — ради него. Это совершенно другая форма отношений, нежели та; и когда я говорил, что любить — значит себя до конца забыть, я не чувствовал противоречия с тем, что я сначала сказал: что нельзя давать себя на съедение. Дать себя на съедение вовсе не значит сделать другого человека центральным в своей жизни; мы отдаем себя на съедение большей частью по мягкотелости, а вовсе не по жертвенности; человек, который дает себя так дешево на растерзание, обыкновенно не хочет бороться за что-то высшее. Вот где, мне кажется, вопрос.

Владыко, что вы можете сказать о своем отношении к учению, которое говорит, что грешники будут прощены в конечном итоге, и ад несовместим с представлением о вечности? В частности, Бердяев, которого вы упомянули,

настаивал на том, что учение об аде имеет скорее психологическое значение, чем богословское.

В двух словах я могу ответить так: уверенность в спасении всех не может быть уверенностью веры в том смысле, что в Священном Писании нет ясного, доказательного утверждения об этом, но это **может быть** уверенностью надежды, потому что, *зная* Бога, Каким мы Его знаем, мы имеем право на все надеяться. Это **очень** коротко (и где-то такое точно) выражает то, что я думаю.

Если немного это развить, я думаю, что можно сказать несколько основных вещей. Во-первых, в языковом порядке. По-русски, когда мы говорим "вечное", мы имеем в виду разные вещи; мы говорим, что Бог "вечен", и мы говорим "свой век вековать". В одном случае мы говорим о Боге, указывая, что у Него нет ни начала, ни конца, что вечность Божия беспредельна, вневременна, надвременна; во втором случае "век вековать", "свой век коротать" значит прожить ограниченное количество времени. И когда вы читаете Священное Писание и Отцов, встает вопрос о том, что мы хотим сказать, когда употребляем слово "вечность", применяя его к Богу или к твари. В некотором смысле нет соизмеримости между Божией вечностью и тварной вечностью; тварная вечность укладывается в пределы времени; Божия вечность никакого отношения ко времени не имеет. Когда мы говорим, что Бог вечен, мы не говорим о каком-то длении, это одно из выражений, которое значит: Бог, какой Он есть.

Если обратиться к Священному Писанию — когда говорят о Суде, постоянно приводится тот или другой текст, как будто он единственный и самодовлеющий. Текст, который всегда приводится, это притча о козлицах и об овцах (Мф. 25, 31 — 46). Если же мы себе ставим вопрос об этой притче, мне кажется, что мы ошибаемся, если думаем, будто центр тяжести, смысл этой притчи — описать вечную судьбу одних или других. Центр тяжести притчи не в том, чтобы сказать, что одни пойдут в огонь вечный, а другие в радость вечную, а чтобы указать, на каком основании этот суд происходит. Прочтите, и вы увидите, что тема поставлена драматически, как суд; но урок, который извлекается (больных не посещал, голодных не кормил и т.д.) можно свести к такой фразе: если ты человеческим не был, просто — *человеком* не был, не воображай, что ты божественным будешь.

Вот, в сущности, мне кажется самая тема этой притчи, гораздо более чем описание овец и козлиц; но если принять эту притчу как притчу о критериях суда — что мне кажется более верным, — а не просто о суде, то надо ее сопоставить с другими притчами, другими высказываниями Христа. Христос же

и с тем же авторитетом нам говорит: совещайся со своим соперником, пока ты на пути, как бы он тебя не предал судье, и судья — истязателю, и не посадил бы тебя в темницу, и не выйдешь ты из нее, пока не выплатишь последнюю полушку (Лк. 12, 58 — 59). Это уже вовсе не говорит о том, что грех имеет своим результатом вечное мучение. Из этой дилеммы католики выходят тем, что козлища и овцы определяют ад и рай, а этот период тюремного заключения — чистилище; но это — измышление; справедливо оно или нет, но это плод человеческого творчества, это не сказано. Если мы принимаем всерьез одно место, мы должны также принимать интегрально серьезно другое. Апостол Павел говорит, что когда все будет завершено, Христос сложит Свою власть в руки Отца, и тогда *будет Бог все во всем* (I Кор. 15, 28); этим он говорит что-то очень определенное: "все во всем" не значит "нечто в некоторых" или "все в немногих". Опять-таки, Иоанн Златоуст выходит из этого положения, объясняя, что те, которые согрешили и будут козлищами, будут как бы призраками, в них не будет реальности, и поэтому Бог будет все во всех — в тех, которые имеют реальность... Если бы такое объяснение не принадлежало Иоанну Златоусту, я бы сказал: это передергивание, потому что текст ничего подобного не говорит; это способ объяснить в пределах предвзятого богословия текст, который иначе не объясним. Но было бы, вероятно, и добросовестнее, и более творчески сказать: Не понимаю!.. И было бы очень просто: и все бы это приняли, потому что никто не ожидает, что все до конца понятно. Есть и другие места, но достаточно и этих трех примеров.

Если же вы берете Отцов Церкви — и богословских, и аскетических, — то видите, во-первых, что они выражали разные мнения, а, во-вторых, что те мнения, которые были приняты или осуждены, были приняты или осуждены без осуждения человека; скажем, учение Григория Нисского о всеобщем спасении было осуждено, вернее, не было принято как учение Церкви, — оно не было анафематствовано, оно и не стало учением Церкви. Если вы вдумаетесь в него, в сущности, очень коротко и упрощенно, оно говорит следующее: Бог, будучи Любвью не может осудить на вечное мучение Свою тварь; поэтому Он всех простит и все войдут в Царство Небесное. Но тут есть нравственный момент, или, если предпочитаете, без-нравственный момент. Зло не может просто потому войти в Царство Божие, что Господь скажет: Я тебя прощаю. Человек, сотворивший зло, должен перемениться для того, чтобы войти в Царство Небесное. Если вы в Царство Небесное введете человека, которому чуждо все содержание этого Царства, он будет в аду; так же как если человека, который ненавидит музыку, посадить в концерт, он будет ерзать от

страдания, и ваша доброта в том, что вы его туда пустили, ему ничем не поможет.

Есть целый ряд других соображений, которые уже относятся к размышлению *на тему*, больше чем к текстам и к недоумениям, которые рождает текст. Возьмите картину Страшного суда, которую дает апостол Павел (правда, не собирательно, а в различных местах своих посланий), картина такова: будет суд, судить будет Христос, — а будет ли это похоже на нормальный, справедливый суд? В любой нормальной стране есть законодательная инстанция, которая вырабатывает законы по принципу какой-то справедливости, может быть, справедливости с определенной точки зрения, но все равно, на принципиальном основании; затем есть судья, который непричастен созиданию закона и не может закон менять, он должен его применять; есть обвинитель, есть виновный; есть защита. А теперь поставим вопрос: похоже ли на этот трафарет наше представление о Божием суде? Законодатель — Бог, судья — Бог, защитник наш — Христос, искупитель наш — Христос, и если весь род человеческий поставить на суд, один из подсудимых — Сын Человеческий, Иисус из Назарета... Какая же это картина суда? Разумеется, Павел никогда и не думал представить суд в таком порядке, но если уж мы хотим говорить о правосудии в человеческой форме, то вот вам и правосудие: кто кого может судить в этом деле, кто кого будет засуживать? Кто создал закон?

И еще: сущность Царства Божия — любовь, сущность царства тьмы — нелюбовь, ненависть, мертвость по отношению к любви. И вот представьте себе Царство Божие, в которое вошли беленькие и остались снаружи черненькие, — скажем, овцы и козлица. Каково будет овцам-то в Царстве Божием? Когда вы думаете теоретически "овцы и козлица", вас это не особенно волнует, потому что вы никогда ни овцой, ни козлом не были; но если себе представить реально: вот тебя пустили в Царство Божие, а твоего мужа, твою мать или сестру определили в царство тьмы, — каково тебе будет в этом Царстве Божием?.. Выйти из положения, как Фома Аквинат выходит, говоря, что тогда мы поймем, что Бог справедлив, и все, что Он делает — правильно, невозможно, недостаточно, потому что я, может быть, и скажу, что Бог во всем прав, а душа-то моя будет разрываться. А если она не будет разрываться, значит во мне любви-то не так уж много, раз я могу забыть самых родных, самых близких, тех, которые для меня были кровью и плотью моей жизни, просто потому что сам в рай попал. Если себе представить это картинно (я, знаете, мыслю все очень примитивно, вы это, наверное, замечали уже): в центре будет Бог, Который есть Любовь, Который создал всех по любви, Который в конце книги Ионы говорит: Вот, ты плачешь об этом деревце, которое в одну ночь вырос-

ло, Мне ли не горевать о целом городе Ниневии, который Я создал? — в центре будет Бог, Который есть совершенная Любовь, Который *безутешно* будет думать о тех, кто вне Царства Божия, потом, по мере того, как концентрическими кругами идут люди с меньшей и меньшей любовью, им будет спокойнее и спокойнее. Единственные, пожалуй, которым будет *ничего*, которые будут совсем спокойны — это те, которые на краю, смотрят через плечо и думают: слава Богу, я не там! (знаете, как человек, который вскочил в автобус в последнюю минуту, колеблется: упадет или не упадет? и радуется, что он в автобусе и не упал на улицу). Это единственные, кого я могу представить, что им хорошо. Простите, это, конечно, плохое богословие, но это мое восприятие вещей.

Конечно, такого рода логических выкладок недостаточно, чтобы решить вопрос; но есть и другие вопросы. Нам говорится в книге Откровения о том, что суд придет, когда завершится полное число избранных, и употребляется по отношению к Израилю цифра сто сорок четыре тысячи (Откр. 7,4; 14,2), но это символика; сто сорок четыре это двенадцать раз двенадцать, двенадцать в себе содержит три и четыре, это комбинации цифр, которые представляет собой символику, — ясно, что это не полное число спасаемых. Далее, когда мы думаем о *избранных*, мы всегда представляем их привилегированными; избраннык — это тот, кому досталось что-то очень хорошее в жизни. Но если мы думаем о *избранничестве* в Новом Завете — тут избранничество заключается в том, что в человечестве, из человечества Бог выбрал людей, которые *согласны* разделить Христову крестную участь; наше избранничество — *крестное* избранничество, а вовсе не избранничество на славу и покой. И тогда можно себе такой вопрос поставить (я его не разрешаю, я просто ставлю вопросы перед вами): не зависит ли спасение мира от того срока, когда земля принесет в дар Богу тех людей, которые вместе со Христом могут поднять тяжесть ее греха и ее спасти? Как? Опять-таки, намек и вопросительный знак. Французский богослов Жан Даниелу говорит в одной из своих книг, что страдание — единственный встречный пункт между злом и невинностью, в том смысле, что зло всегда врзается в человеческую плоть или в человеческую душу, и (и это решающий момент) тот, кто является невинной жертвой, в силу своего страдания, своей невинности получает власть прощать. Христос, умирая на кресте, говорил: Прости им, Отче, они не знают, что творят...

В одном из немецких лагерей, когда американцы его освободили, среди бумаг, оставшихся от замученных людей, нашли клочок оберточной бумаги с молитвой, написанной заключенным-евреем. Я полного текста не помню, но сущ-

ность ее такова: Господи, когда Ты придешь судить землю, вспомни не только людей доброй воли, но и людей злой воли; но вспомни их не для того, чтобы отвергнуть и осудить, а по-миловать. И пусть не вспомнятся перед Тобой их жестокость и наши страдания, а те плоды, которые мы принесли благодаря своему мучению: взаимное товарищество, любовь, единство, великодушие; и пусть память о нас будет для них не ужасом, а спасением... Такую вещь можно сказать, когда сам находишься в таком положении. Я помню другого человека которого я встретил после четырех лет, проведенных им в концентрационном лагере в Германии, — верующего, крепкого человека; я его спросил: что вы вынесли из этого лагеря? Он мне сказал: глубокое смятение души. Я его спросил: неужели вы веру потеряли? Он ответил: нет; но понимаете: пока я сидел в лагере и был предметом истязаний, я мог каждую минуту сказать: Господи, прости им, — и я был уверен, что Бог может услышать и должен услышать мою молитву; а теперь я не страдаю, а они — все равно перед судом Божиим. Они, может, не покаются, а может ли Бог услышать мою молитву теперь, когда я свободен от страдания?.. Вот что он вынес: что в то время, когда он был предметом страдания и истязаний, его молитва имела силу перед Богом, а теперь — что?..

И вот такого рода люди, когда исполнится их число, вместе со Христом,, сказавшим: Прости им, Отче, они не знают, что творят... — может быть, на самом деле и поднимут на своих плечах все зло земли, весь ее грех, весь ужас земли, и тогда ад как-то опустеет.

Если говорить на эту тему еще минутку-другую, думаю, надо тоже обратить внимание вот на что. Отцы Церкви применяют к сатане отрывок из Исаии: Я поставлю престол мой над небесами. Цель сатаны — создать независимое от Бога, самостоятельное вечное царство; вечный ад в этом смысле — победа для сатаны: параллельно с Богом он осуществит то, чего хотел, он будет нераздельный царь вечного, со=вечного ада. Это непонятно.

Есть и другие моменты (я просто сейчас вам даю разные моменты, разные аспекты). Если вы возьмете людей как Исаак Сирий, некоторые места из Ефрема, некоторые места из других Отцов, вы увидите, что и они воспринимали вещи гораздо менее просто и примитивно, чем "козлица" и "овцы". Скажем, Исаак Сирий говорит: Единственный огонь ада — это Божественная любовь... Или — что значит "вечный огонь"? Неужели вопрос в длении, в том, сколько это длится? Мы все знаем выражение "сгореть от стыда", в одно мгновение можно действительно *сгореть* от стыда, и ничего не прибавится от того, что ты будешь гореть часами. Мгновение, когда вдруг тебя сцапали и стыд тебя покрыл, имеет какую-то над людьми

окончательность, вневременную окончательность, которая может быть названа как вечным огнем, так и мгновением, потому что ни то, ни это ничего не значит.

А теперь думайте сами на эту тему и — надейтесь; и если бы мы надеялись больше, то когда нам перепадает страдание, скорбь, унижение и т.д., мы могли бы отзываться так, как древние христиане делали: Слава Богу! Я получил над этим человеком, над этими людьми власть прощения... Как опять-таки другой страдалец писал перед своей смертью: Только мученик в день Страшного суда сможет стать перед престолом Божиим и сказать: Господи, Твоим именем и по Твоему примеру я им простил; Ты не можешь их осудить!.. Это власть, которая нам дана вязать и решить. И всем дана. Подумайте просто об этом. Это не вероучение, это надежда христианская, или во всяком случае надежда некоторых из нас.

Публикация Е.Л.Майданович

РУССКИЕ МИФЫ

(из "Бесконечного тупика")

Сегодня в рубрике "Литература и время" мы публикуем отрывок из книги "Бесконечный тупик", а также интервью с ее автором Дмитрием Галковским. Завершенное шесть лет назад 1000-страничное сочинение, огромный комментарий к неприсутствующему тексту, до сих пор остается "невидимой книгой", постсоветским гуттенбергам она пока не по зубам. Именно поэтому следует сказать несколько слов о внутреннем устройстве "Бесконечного тупика".

"Бесконечный тупик" — произведение, организованное сверхсложно — как формально, так и содержательно. Строкам основного текста (объем его невелик — чуть более ста страниц) сопутствует система примечаний, которые в свою очередь сами обрастают примечаниями. В центрифугу тем "Бесконечного тупика" втянуты русские и евреи, отечественная литература и немецкая разведка, средневековая инквизиция, советская антропофагия и многое другое... Циклопический текст все время балансирует в неустойчивой устойчивости, создающей эффект "разрушения разрушения", который и позволяет выполнить главную задачу книги так, как ее определяет сам Галковский: преодолеть ужас безрелигиозного существования, найти способ выживания личности в русском мире, в русском мифе.

Впрочем, подробнее о "Бесконечном тупике" Галковский сам рассказывает в интервью. И о себе рассказывает тоже.

Публикация отрывков "Бесконечного тупика" в "Новом мире", появление в "Независимой газете" статей Галковского "Андеграунд" и "Разбитый компас указывает путь" сделали имя автора широко известным, вызвали шквальную реакцию: от восторженной (единицы) до злобно ругательной (абсолютное большинство). Авторы негативных откликов принимали позу "обиженных", обвиняя Галковского в тщес-

лавном эпатаже, в скандальности. Авторы хвалебных радовались, что до кого-либо им лично неприятного наконец "добрались" и "обидели". На наш взгляд, такая не слишком адекватная реакция — косвенный результат используемого Галковским метода введения персоналий (будь то Соловьев или Достоевский, Розанов или Чехов, Ленин или Стучка, Солженицын или Горбачев, Мамардашвили или Аверинцев, Окуджава или Ильенков, Золотусский или Немзер) в ту знаковую систему, с помощью которой автор жестко и порой беспощадно выражает свой собственный и достаточно цельный взгляд на мир. Взгляд, формировавшийся во внутреннем противостоянии той культуре и тому способу существования, от которых автор освобождался и к которым все перечисленные лица, а вернее культурные единицы, имеют непосредственное отношение, хотя и в разной степени.

Можно разделять или не разделять суждения Галковского, можно ставить под сомнение сам его метод. Кого-то наверняка шокирует раздражающая прямота формулировок, резкость оценок. Но важнейшая составная часть концепции "Континента" — это уважение к частному мнению, если оно есть результат серьезного отношения к жизни, результат интеллектуального усилия, независимо от какого бы то ни было сознательного ангажемента. Уровень текста, живое движение мысли, профессиональное отношение к слову, мы в этом убеждены, должны обеспечивать автору как минимум право быть выслушанным. Любому автору, в том числе автору "Бесконечного тупика".

Вот почему "Континент", резко выступающий против смещения поисков истины с "разборками" на уровне героев Ильфа и Петрова (А ты кто такой?!) — печатает Галковского, хотя в публикуемых отрывках желающие найдут сколько угодно материала для обвинений в непочтительности. Но мы надеемся, а вернее, доверяя нашему читателю и уважая его, считаем само собой разумеющимся, что и читатели и те, к кому отнесены отнюдь не всегда ласковые оценки автора (к столь нелюбимым Галковским бывшим "шестидесятникам" относится ведь и главный редактор "Континента") не опустятся до подозрений, что "Континент" сводит счеты с кем бы то ни было.

Само собой разумеется, "Континент" готов предоставить свои страницы всем, кто посчитает необходимым полемизировать с Дмитрием Галковским, если эта полемика будет содержательна и серьезна. Последнее условие обяза-

тельно, поскольку, как уже сказано, "галковская тема" в отечественной критике находится на уровне нервного выяснения отношений "обиженного и обижальщика". "Патриоты" клеймят Галковского русофобом и сионистом, нигилистом и разрушителем (ультра-правая газета "Русский вестник" даже объявила 33-летнего философа "антихристом русского народа"). "Либералы" обвиняют в мракобесии, антисемитизме и ругают, заодно с патриотами, "королем нигилистов". Галковский действительно "двух станом не боец", но, несомненно, и не "гость случайный" в новой русской литературе.

310. Примечание к № 299

Как тут не вспомнить одного из героев рассказа Бабеля "Карл-Янкель".

Бабель мой любимый советский писатель. Вот какой была бы советская культура, если бы не органическая неспособность евреев господствовать (не просто управлять, а властвовать).

Главка "Иваны" из "Конармии". Холодно и злобно, очень узко, но взгляд правильный, верный. Бабель зацепил основу языка. Иван Акинфеев купается в русском языке, барахтается на нагретом солнце мелководе. Каждое слово сочно, масляно. Акинфеев, развалясь в мерно покачивающейся телеге, говорит своей обреченно сгорбившейся за вожжами жертве — своему тезке дьякону Ивану Аггееву:

"Вань, а Вань... Большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дать, надругаюсь..."

Это, по словам Бабеля, "нескончаемое бормотание" продолжается сутками. Акинфеев, измываясь над жертвой, постоянно стреляет над ухом Аггеева из револьвера, заставляет лечить себе сифилис. Дьякон, этот высший расовый тип, с "громадой лысеющего черепа", пытается по-русски сопротивляться, прижимается к Богу. Но в этом мире Бог распят. Аггееву никак не удастся заслониться Богом, и его сдувает гнилой ветер разлагающегося языка.

Аггеев говорит:

"Меня высший суд судить будет. Ты надо мной, Иван, не поставлен".

Но мир рухнул:

"— Теперь каждый каждого судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И на смерть присуждает, очень просто..."

— Или того лучше, — произнес Аггеев и выпрямился, — убей меня, Иван.

— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков... — Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришел бы тебя, как утку, и не крикнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу..."

На Западе преступление совершается молча, а здесь сам процесс преступления обговаривается, юродски обыгрывается, ловко поворачивается в мозгу при помощи филологических рычагов. Русское преступление словесно. Слово — преступление. Преступление Раскольникова начинается с написания статьи. Как Достоевский смог найти всему "этому" слово! — "Проба". Раскольников идет на "пробу". Это проба языка. Убийце в "Преступлении и наказании" явно не хватает диалога с жертвой. Поэтому он так и летит на огонек беседы с заместителем жертвы — Порфирием Петровичем. Русское убийство вполне морально. Убийца, убивающий свою жертву, морализует, доказывает ей, что убийство в конечном счете совершается для ее же пользы. И русский палач, как Пьер из "Приглашения на казнь", очень нежен, раним, зависим от своей жертвы, с которой вступил в бесконечный морализующий диалог.

" — Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь...

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. — Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя советская...

— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руки на плечо, — не бойся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань..."

"Иваны", эти несколько страничек, произведение гениальное. Тут вся суть революции и гражданской войны. Вообще в "Иванах", как и во всей "Конармии" можно выделить четыре слоя:

1. Поэма о революции, воспевание радостно-животной революционной стихии.

2. Издевательство над захлестнувшим Россию варварством большевизма.

3. Издевательство, но утонченное, над русской культурой и русским народом вообще. (Соответственно в 1, 2, и 3 пунктах превозносится еврейский биологизм, еврейское организующее начало и еврейский логос.) И наконец —

4. (Неясное и непонятное автору) Выражение гнилости русского языка и русского сознания, показанное путем его укрупненного, натуралистического переживания, растворения языка, обговаривания мира. Персонажи "Конармии" не могут говорить, как не могут говорить гунны или монголо-татары. Это орда, масса человеческих насекомых, все сжигающих на своем пути, заливающих все вокруг терпкой вонью своих выделений, липких личинок и разлагающихся трупиков. Но герои Бабеля говорят, более того, через разговор все и показано, и сам Бабель включается в эти диалоги, растворяется в них, превращается в неуклюжее очкастое насекомое, живущее частицей хитиновой коллективной жизни. Персонажи постепенно материализуются, превращаются в людей, по мере того как сам язык разлагается, превращается в тухлое мясо. Рефрен "Иванов" — зеленая от гнили воловья нога, постепенно разрезаемая и пожираемая героями рассказа. В конце концов сам автор не выдерживает этой гнили и материализуется. Рассказ кончается:

"Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята — сказал я, — счастливо вам."

А вслед Бабеля неслось с телеги: "Ваня, а Вань".

Тут еврейская радость преступления. Забежать за черту как можно дальше, а потом вернуться. Набрать воздуха и побегать внутри колпака с выкаченным воздухом или нырнуть в мутно-зеленую глубину. А потом снова выбежать и снова выпрыгнуть.

Лишь четвертый слой делает Бабеля подлинно русским писателем. Иностранец бы до четвертого уровня не донырнул, не понял бы. Его и нельзя понять. Можно почувствовать, даже почуять.

Но тут же и отличие. Еврей "забегает" в жизни, русский — в мечтах. Бабель сказал о Набокове: "Хороший писатель, только писать ему не о чем". Конечно, Набоков никуда не забегал, не "собирал материал". Ему это и не нужно было. Преступление и предательство совершалось в уме. У Бабеля в сердце. Его "Конармия" строго документальна.

Бабель сидит в одной телеге с Иваном. Но он набрал воздуха из иного мира, и он еще вернется туда. Автор живет запасами того воздуха и поэтому слышит трупный запах гнилого мяса. Его русские собеседники живут в этом мире и уже притерпелись, приняхались, их ноздри не чуют тлена языка. Они разрушаются и гибнут вместе с языком. Бабель предстает перед ними человеком иного мира, гордым и скучающим марсианином, наблюдающим любопытную популяцию земных позвоночных. Он едет на телеге, но вот там, за пригорком, его ждет уютная летающая тарелка. К нему и относятся как к высшему существу, режиссеру этой драмы:

"Дьякон схватил мою руку и поцеловал ее. — Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух.

— Прошу вас свободной минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачит обо мне...

И упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом."

Но Бабель холоден, описателен. Как и всякий еврей на вершине господства, он теряет тысячелетиями истончаемое чутье, инстинкт самосохранения. Ему недоступен пятый слой происходящего, а именно, недоступен надрыв русского человека, который не хочет и не может жить в гнилом мире и начинает все вокруг ломать, жечь, разбивать, "чтоб врагу не досталось".

Чувство само- и все-сожжения хорошо показано в "Войне и мире". Сцена сдачи Смоленска:

"Купец Ферапонтов схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом.

— Тащи все, ребята! Не доставайся дьяволам! — закричал он сам, хватая мешки и выкидывая их на улицу...

— Решилась! Россия!... Сам запалю. Решилась..."

И вот уже пожар разгорелся:

"— Урруру! — вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя вспыхнуло и осветило оживленно радостные и измученные лица людей, стоявших вокруг пожара.

Хозяин, подняв кверху руку, кричал:

— Важно! Пошла драть! Ребята, важно!.."

По всей "Конармии" разлит этот неясный самому Бабелю надрыв смоленского купца: "Кончилась Россия!" Все герои повести — смертники, и если и живут, то лишь для того, чтобы убивать. А убивая, сами смерти ищут. Но автор настолько слеп, что аккуратно записал даже эпизод, ясно, в лоб указывающий его будущую судьбу: эпизод ссоры с Акинфиевым в рассказе-главе "После боя". Иван бросился на него, стал раздирать грязными пальцами рот и кричать: "Ты Бога считаешь, изменник". То есть хочешь остаться чистеньким, хорошим, когда все пропало. Нам нельзя, а тебе значит можно? Мы погибнем, а ты жить будешь? Нет, вр-решь!..

Тут дело серьезное пошло. Не успеете, тов. Бабель, до тарелочки-то добежать. А то: "Прощайте, ребята, счастливо вам". Раз, — и спрыгнул с телеги. Не-ет. "Любишь кататься, люби и саночки возить". Ничего-то еврею в русской истории не поняли. Удивительная слепота!

(Набоков) это самый философичный русский писатель...
после нелюбимого Набоковым Достоевского.

Набоков — гениальный философ. И его философское произведение (одно-единственное) посвящено одной великой теме — доказательству бытия Божия. Если бы я был свободен, если бы у меня были все книги Набокова, если бы я был нужен людям (пародийные слезы застилают глаза), я бы с математической точностью выверил кривизну его сверхромана изогнутым зеркалом рассудка. И произошло бы чудо.

В "Приглашении на казнь" говорится о "нетках" — абсолютно нелепых рисунках, которые при помощи специально кривого зеркала превращались в нечто существенное и реальное:

"Зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу, то есть, когда вы такой непонятный и уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно; нет на нет давало да, все восстанавливалось, все было хорошо, — и вот из бесформенной пестряди, получался в зеркале чудный стройный образ: цветы, корабль, какой-нибудь пейзаж."

Но этого не будет. "Бесконечный тупик" это серия неток, серия ненаписанных книг, пожухших от ненужности. И коротко о ненаписанном здесь можно сказать так:

а) Набокова — ученого и художника — всегда привлекала тема мимики. Он писал в "Даре":

"(Существует) невероятное художественное остроумие мимики, которая не объяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих (мало разборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых), и словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека."

Тема мимики привлекала Набокова-ученого, так как являлась для него своего рода ясной и наглядной демонстрацией пронизанности природы единым и совершенно неподвластным человеческому разуму законом. Законом дремотного наложения, подразумевания, когда все угадывается во всем и мысли превращаются в конкретные символы. Происходит нарушение мышления, слияние кажущегося восприятия и кажущегося мышления. Ясная, но совершенно необъяснимая рационально повторяемость тем живой природы, буквально тычет человека в осуществляемость жизни, в то, что жизнь кем-то осуществляется, кем-то претворяется. Притворство жизни — мимикрия, — это указание на претворение в жизнь определенной Программы. Такой вывод из прикладной энтомологии крайне важен и для Набокова-художника.

б) Родной сестрой мимикрии является пародия. В том же месте "Дара" герой романа рассказывает, о том, что отец "учил меня, как разобрать муравейник, чтобы найти гусеницу голубянки, там заключившую с жителями варварский союз, и я видел, как, жадно щекоча сжжками один из сегментов ее неповоротливого, слизнеподобного тельца, муравей заставлял ее выделить каплю пьяного сока, тут же поглощаемую им, — а за то предоставлял ей в пищу свои же личинки, так, как если б коровы нам давали шартрез, а мы — им на съедение младенцев."

Но вспомним, что пародия невозможна без ключевого текста, на котором она паразитирует. И смысл муравьиной пародии был раскрыт лишь через 200 000 000 лет после ее возникновения. Лишь с возникновением человеческого общества была достигнута нужная степень оборачиваемости, делающая смысл происходящего в муравейнике абсолютно понятным. Итак, в муравьях природа указала на человеческое общество, причем до смешных нюансов и оттенков. Это модель, блик, возникший от еще не возникшего человечества, колдовское "опережающее отражение". Муравейник мучительно, пародийно далек от подлинно человеческого, но далек именно от него, точно, до доли миллиметра далек от него, а не от другого. За 200 000 000 лет, но по идеальной прямой.

в) Но прямую можно провести не только из прошлого в настоящее, но и из настоящего в будущее. Подлинный смысл муравейника, например, некоему одинокому разуму, смотрящему со стороны на земные дела 200 миллионов лет назад, был неясен. И так же неясен сейчас высший смысл и собственно человеческой деятельности. Центральная тема Набокова-художника, соединяющая его с Набоковым-философом, это тема "Художник и Бог". Творческая тварь и Творец. Художник — это убогий муравей Бога, его творчество — это пародия на творение, а его создания — это модели Божественного мироздания, так же несоприкасающиеся с миром Бога, как мир муравья не соприкасается с нашим миром. При сходимости в мимикрии, в пародийном изгибе. Отсюда смысл тяжкого пути познания по Набокову — в раскрытии мимикричности мира, его пародийности и злорадства. Сам он этого в силу закона пародийного жанра не понимал, то есть тоже стал жертвой какой-то сатанинской пародии. Причем даром художника, интуитивным постижением вещей, он чувствовал, — если пародировать его стиль, — свою гибельную интеллигентность.

г) Оборачиваемость его прозы имитирует оборачиваемость мира и пародирует процесс человеческого познания (его фатальный эмпиризм, фатальную пустоту).

Страницы набоковских романов переполнены примерами предусмотренного времени, постигаемого нами, читателями,

при помощи медленно, как в замедленной съемке, распускающихся символов. Так само название романа "Камера-обскура" оборачиваемо, то есть ничего не говорит в начале чтения, и все — в конце. При этом читатель, поскольку он погружается в ткань повествования, превращается в существо слабое и зависимое — в одного из персонажей романа, также подчиняющегося чьему-то замыслу. Автор, заранее знающий разгадку, нависает над читающим, направляет его мысль по своему желанию. Автор в романах Набокова — Бог или дьявол, но никак не человек. Человек — читатель.

д) Символическая структура романов Набокова совершенно не воспринимается на уровне сознания. Читатель сбивается с толку идеальностью возникающих образов. На первый взгляд пространство романов наивно натуралистично, и лишь постепенно для изощренного глаза сквозь по-гоголевски плотные и яркие вещи проступает сатанинская ухмылка пустоты, невидимого, абсолютно невидимого режиссера, водящего читателя за нос.

Набоков, вслед за Достоевским, самый преступный писатель, писатель, ощущавший всю преступность и греховность творческого акта, передразнивающего акт божественный. "Дьявол — обезьяна Бога".

В "Камеру-обскуру" введен персонаж Горн. Это двойник автора и одновременно двойник читателя. Читатель постепенно вовлекается в преступление, становится его соучастником. Автор книги иногда позволяет ему уловить намеки, элемент истины, делает его более зрячим, чем мечущиеся в темноте неведения прочие персонажи. Но и это лишь игра, пародия. Читатель так же водится за нос и по мере того, как происходит оборачиваемость постепенно читаемого текста, возникает чувство непоправимости, невозможности возврата — прочтения вновь.

Герой "Камеры" — искусствовед Бруно Кречмар — помещается автором в темную камеру кинотеатра, где смотрит конец фильма. Он попадает в зал слишком рано, и перед ним прокручивается конец картины предыдущего сеанса. Его охватывает скука и грусть:

"Глядеть на экран было сейчас ни к чему, — все равно это было непонятное разрешение каких-то событий, которых он еще не знал (...кто-то плечистый, слепо шел на пятившуюся женщину...). Было странно подумать, что эти непонятные персонажи и непонятные действия их станут понятными и совершенно иначе им воспринимаемыми, если он просмотрит картину сначала."

В полусумраке зала Кречмар видит прекрасную юную девушку, работающую в этом кинотеатре. Впоследствии она становится его любовницей. Кречмар попадает в автомобильную катастрофу и слепнет. Ослепление служит началом ду-

шевного прозрения, и герой догадывается, что его возлюбленная — низкая, ничтожная женщина. Слепой, он пытается ее убить, но при этом погибает.

Сам по себе сюжет чрезвычайно банален. Еще хуже то, что сюжет приторно нравоучителен. Но Набоков отказывается от нравоучений. От легкомысленного поведения отца гибнет дочка Кречмара — Ирма. Но в тексте нет ни одного предложения, ни одного слова, которое бы констатировало факт "нехорошего поведения". Более того, героям романа подлинные обстоятельства болезни Ирмы так и не открываются. Моральное негодование как бы выносится за рамки повествования и перекладывается на плечи рассказчика. Но "за кадром" никаких титров нет. Можно пойти по стопам многочисленных эмигрантских критиков Набокова и обвинить его в "холодном эстетизме" (то есть, грубо говоря, в некотором цинизме и безнравственности).

Казалось бы, устами автора говорит вкрадчивый Горн, пришедший после смерти Ирмы навестить "друга" (которого он обманывает с его любовницей и своей сообщницей):

"Художник по моему мнению должен руководиться только чувством прекрасного, — оно никогда не обманывает... Изюминка, пуанта жизни заключается иногда именно в смерти."

Но дальше Набоков дает следующую характеристику Горна:

"Горн в такие минуты говорил, не останавливаясь, — плавно выдумывая случаи с никогда не существовавшими знакомыми, подбирая мысли, не слишком глубокие для ума слушателя, придавая словам сомнительное изящество. Образование было у него пестрое, ум — хваткий и пронизательный, тяга к разыгрыванию ближних непреодолимая. Единственно быть может подлинное в нем была бессознательная вера в то, что все созданное людьми в области искусства и науки только более или менее остроумный фокус, очаровательное шарлатанство... Когда он говорил совсем серьезно о книге или картине, у Горна было приятное чувство, что он — участник заговора, сообщник того или иного гениального гаера — создателя картины, автора книги. Жадно следя за тем, как Кречмар страдает и как будто считает, что дошел до самых вершин человеческого страдания — следя за этим, Горн с удовольствием думал, что это еще не все, далеко не все, а только первый номер в программе превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе. Директор же сего заведения не был ни Бог, ни дьявол. Первый был слишком стар и мастит и ничего не понимал в новом искусстве, второй же, обрюзгший черт, обожравшийся чужими грехами, был нестерпимо скучен, скучен как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика. Директор, предоставивший Горну ложу, был существом

трудно уловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе, — переливчатым магическим призраком...

То есть был автором. Да, Набоков знал, что он "эстет", но его знание было в миллион раз глубже идиотских упреков. Горн — специальный, писательский черт (чем и должна была закончиться литературная чертология). Набоков чувствовал горновское в себе, вообще в писателе как таковом. Не случайно Горн внезапно получает поддержку от писателя Зегелькранца, который выводит в своем романе любовный диалог двух незнакомцев, подслушанный в вагоне, а потом зачитывает этот отрывок встреченному на станции другу — Кречмару. Кречмар же узнает в героях Зегелькранца свою любовницу и Горна и, потрясенный, попадает в аварию.

"Оказывалось, что жизнь мстит тому, кто пытается хоть на мгновение ее запечатлеть... Зегелькранц был теперь в таком состоянии нервного ужаса, что ему казалось, он сойдет с ума. Рукопись он свою разорвал с такой силой, что чуть не вывихнул себе пальцев, по ночам его терзали кошмары: он видел Кречмара с полуоторванным черепом, с висящими на красных нитках глазами, который кланялся ему в пояс и слащаво и страшно приговаривал: "спасибо, старый друг, спасибо".

То, что Зегелькранца ужасает, Горна только радует. Своей писательской властью над реальностью он наслаждается. Живя в одном доме с Кречмаром (незримо для него), Горн вслед за классиком драматургии подговаривает любовницу перепутать описание цвета обоев, мебели, а также расположение многих комнат. И жалкий слепец, привыкнув к новой обстановке, думал иногда, что видит мебель и предметы, но видел их "совсем в другом свете". Горн ходил по вилле голый, загоревший, поросший семитской шерстью, и высшим наслаждением для него было, повыв эоловой арфой на крыше, сойти потом вниз и щекотать травинкой мучительно прислушивающегося слепого, и беззвучно смеяться над ним, смеяться. Или от своего имени Горн написал Кречмару издевательское письмо, где соболезнуя его горю, попутно упомянул о "прозрачной красоте красок", чем вызвал у калеки приступ обреченного ужаса.

Но ведь в конечном счете мучает своего героя автор. Конечно "понарошку", конечно для читательского "катарсиса". Но ведь эти фантазии, они показательны.

Вот в чем "Камера-обскура". Это даже не погруженный в вечную темноту мозг героя, озаренный предсмертным прозрением. Это понимание того, что сам человек (вообще) живет в темноте неведомо злорадного мира. А также понимание, что проявлена эта злорадность в максимальной степени в акте человеческого творения. И быть может наиболее явно в акте

творчества писателя. Ведь литература сама по себе наиболее жестокий и идиотический вид искусства. (Не случайно Горн — карикатурист. Карикатура самый литературный вид живописи, часто просто дополняющей словом, сливающейся с ним в единое целое.) Писатель — одновременно и Кречмар и Горн, и палач и жертва

485. Примечание к стр.29 "Бесконечного тупика"

Мне и представить немислимо его мир (мир детства Набокова).

Исключение подтверждает правило, и в одном пункте наш детский опыт до смешного схож.

Набоков писал в "Других берегах":

"Сидя на корточках перед неудобно низкой полкой в галерее усадьбы, в полумраке, как бы умышленно мешающем мне в моих тайных исследованиях, я разыскивал значение всяких темных, темно соблазнительных и раздражительных терминов в 82-томной Брокгаузовской энциклопедии. В видах экономии: заглавное слово замещалось на протяжении соответствующей статьи его начальной буквой, так что к плохому освещению, пыли и мелкоте шрифта примешивалось маскарадное мелькание прописной буквы, означающее малоизвестное слово, которое пряталось в сером петите от молодого (12-летнего) читателя..."

Сходство удивительнейшее, вплоть до впечатления от исчезающего в тексте главного слова. Но здесь же таится и фатальное различие. То, что для Набокова было мало-значительным эпизодом, для меня стало судьбой. Начав в молодые годы свое подпольное образование с блестящей статьи "Проституция" (50 полутом), я быстро поднялся, благодаря косвенной отсылке, до статьи "Непотребство" (40 полутом), а потом стал спокойно и удовлетворенно — зная логическую схему — блуждать по отдельным ветвям, будь-то классификационно несовершенно "Извращение полового чувства" (24 полутом) или антично ясный "Конкубинат" (31 полутом).

Вообще схема терминов в русском Брокгаузе бездарная, с явными нестыковками, так что мне приходилось самостоятельно достраивать ее в замкнутую конструкцию. Что вызывало чувство удовлетворения, "познания". Проблема же собственно познания даже не воспринималась. Уже тогда я безнадежно прельстился схемой, формой. Сладострастные образы черпались в юридической терминологии.

С другой стороны, самые абстрактные области свободного мышления в таинственной глубине своей приобретали эротическую окраску. Все пропиталось эротикой, так что даже в период "юношеской гиперсексуальности" я редко видел

сексуальные сны (как прямо сексуальные, так и с грубой фрейдистской символикой бесконечных лестниц, темных коридоров и окровавленных ножниц). Раствор символизации был крепок и тонок и не поддавался обратному разложению на первичные элементы.

Розанов мне близок и разлившейся по всем его книгам густой эротичностью. Все остальные отечественные философы удивительно неэротичны и даже несексуальны. Бердяев или Соловьев много говорили о "проблеме пола", но настолько вымученно и абстрактно, насколько это вообще возможно для русских, этого самого чопорного и идиотического народа в мире — в своей "официальной", "деловой", "профессорской" жизни.

Розанов же вывернул свою бытовую жизнь в официально-философскую область. Получилось так интимно, так искренне, так глубоко.

Розанов назвал Гоголя некрофилом, определил по произведениям как некрофила. Гоголь его вообще бесил, и наверное потому, что Гоголь это Антирозанов. Он так же пронизывающе эротичен, только его эротика мертвая, вурдалачья, дьявольская. А эротизм Розанова тепел и человечен. Когда В.В.Гиппиус женился, то Мережковские встретили это событие "завыванием": "Как мог он, читая Ницше, вдруг жениться, подобно всем смертным". А Розанов на партсобрании литературной ячейки наклонился к нему и прошептал: "С законным браком, батенька!" И так это было легко, так хорошо.

Да. Но при разности в знаках само напряжение гоголевского и розановского эроса одинаково. Жизнь Акакия Акакиевича Башмачкина, как и его автора, пугающе асексуальна, но по своей сути Башмачкин, как и Гоголь, эротоман. Башмачкин это великий мечтатель, человек, способный к великой изнуряющей мечте. Для ее осуществления он готов швырнуть на чашу весов все, включая и саму жизнь. Но это делает и жизнь и мечту убийственной бессмыслицей. (Что вызывает бессмысленность жизни как таковой.) Поставьте вместо "шинели" например "Бога", и страшный смысл повести станет яснее. Но станет яснее и прекрасный смысл этой же повести — гимна верующему человеку.

Впрочем, остановимся сейчас на собственно эротике "Шинели". Как только Башмачкин решил шить шинель и начал копить деньги, жизнь его преобразилась:

"Он стал питаться духовно,нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой

вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само-собою сомнение, нерешительность, словом — все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник?"

И вот с новой шинелью Башмачкин идет в гости (кутеж! Дон Жуан! Ловелас!):

"Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши таким образом всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своей дорожкой. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой однако же все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: "Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того..."

И все это действительно "того", какое-то междометие, схема, а вовсе не реальная любовь. Идея любви как чисто волевого влечения, поднимаясь в реальность, кристаллизуется в чисто асексуальных схемах, просыпающихся кормовой солью на цементный пол. Одиноким жизни.

496. Примечание к № 108

Пугачев попал в страшный свержкарнавал-сон.

Может быть русская история так ужасна потому, что слишком серьезна. Разве можно сравнить русскую масленицу с западным карнавалом? Масленица слишком пьяна, слишком легковесна и проста. Ну, выпили, поплясали, блинов поели. А на Западе целая культура "карнавализма". Русские не умеют играть, сразу заигрываются.

Принц Виртенбергский в своих записках о восстании декабристов роскошную деталь сохранил для потомков. Было смешно и смешано — междоусобица. Как пересменок в пионерлагере. Народ на улицах пьяненький. И тут в принца какой-то стал снежками кидать. Виртембергский:

"Наскочив на виновного и опрокинув его конем, я закричал:

— Ты что делаешь?

— Сами не знаем. Шутим-с мы, барин, — отвечал опрокинутый, еще не поднявшись с земли."

500. Примечание к № 422

Я всегда завидовал людям, которые способны вызывать жалость, а потом хладнокровно утилизировать ее.

Какая удивительная сила вознесла наверх Горбачева? Что дало ему в номенклатурной грызне дополнительный шанс, в чем его фора? Я смотрел, смотрел в телевизор, хотел понять, что это за человек, и вдруг меня как обухом по голове — жалость! Этот человек в высшей степени наделен даром вызывать к себе жалость. При прочих равных условиях — выдержке, коварстве, умении орать и стучать кулачищем по столу, или расстелиться по стене незаметной камбалой, — при всех этих качествах, таких же как и у других партпрофессионалов (а пожалуй, и чуточку поменьше — немножко нервен. Такого, если щипать под столом за ногу, он на 15-й минуте взорвется), при этом еще гигантская способность приbedнения. Способность природная, как дар Божий.

Никогда не забуду сцены встречи Горбачева с персоналом советского посольства в Женеве. Все выстроились во дворике с китайскими улыбками на холеных европейских лицах и как вести себя совсем не знают — новый человек. А Горбачев идет к ним навстречу по мокрому асфальту (осень, листья на дорожках), в плаще, нелепой шляпе. И как-то у него плечи чуть-чуть опущены и тоска в глазах. И вдруг все захлопали. Пауза. Он стоит один, руки сложил, а вокруг улыбки в ужасе тянут. И вот он как-то нелепо рукой махнул, совершенно не мотивированно (даже не запомнил как, помню только ощущение нелепости; вообще сцена не совсем такой была, мне просто так запомнилось, запомнилось главное — общий тон). Махнул рукой и говорит: "Ну, что, скоро домой". В толпе чуть не попадали: в три шеи и так сразу — крутенок! А он просто хотел сказать: вот, мол, по Родине соскучились, ничего, не переживайте. "Родина ждет". И стоит так, грустно улыбается. Душегуб.

Все нелепо, неправильно, а нет чувства злости. Хочется помочь, поправить. Ну и ясно, как было. Очередной конкурент думал: ну, что, топну сапогом по грибу этому, только шляпка под каблуком скрипнет. Пусть живет. А гриб-то, глядишь, за один день под дождичком — через три ступеньки. И проморгавшему нюне пенделя. Чувство жалости — это карьера-сь.

506. Примечание к № 411

Тебе пайку дали, а ты не ешь всю.

Существует один человек, о котором в "Бесконечном тупике" даже не упоминается (вот здесь только, в № 506), но без произведений которого ход мысли будет темен. Я имею в виду Александра Солженицына.

В сущности, советская культура дала только одного великого писателя — автора "Архипелага". У него звериная мудрость и страшная грубость мышления — тотальное, не оставляющее просвета морализование. Несомненно, это архетипическая фигура, и поэтому Солженицын смешон. В нем сбылась мечта и миф русского писателя, и "Архипелаг", его щедринская подозрительность ко всему и вся, есть фиксированная форма нового русского сознания. Это, так сказать, опытный Щедрин, Щедрин не на авось трогающий вещи и смеющийся над ними, а знающий, что вещи злы и "специальные". Но в основе-то нелепость.

Нелепо. Нелепо. Сейчас почувствуете. Достоевский и Солженицын — нелепо. Солженицын груб. Когда человеку плюют в лицо, суют голову в унитаз, морят клопами — не наказывают, не карают, а мучают, изводят... то что тут сказать? Нарушена мера страдания. Боль — сжатые челюсти, бисер пота, напряжение мышц — это высокая пластика. Но вот болевой порог сорван, и человек визжит, корчится, смеется, прыгает. Солженицын писал, как одному заключенному били дубинкой по седалищному нерву. С первого удара он обломал ногти о ковер рюминского кабинета, а со второго потерял сознание. Его привели в камеру — зад у него распух и штаны не застегивались. Несколько дней у него был понос. Он сидел на параше и хохотал. Потом его били сапогом в живот, пробили брюшину, и наружу вывалились кишки. Он ползал и вправлял их внутрь. Его увезли в тюремную больницу, и он выжил. Зачем? Как об этом писать? Какая мысль? "Бить по седалищному нерву и пробивать живот сапогом нехорошо"? Богато! У Достоевского гармония. Темы все солженицыновские в "Записках из мертвого дома". Но "Записки" это ад Микельанджело, а "Архипелаг" даже не Пикассо, а китч. "Архипелаг" злораден (не над жертвами конечно, а злорадством повествования), "Записки" совсем не злорадны, спокойны. Если бы Достоевский все выдумал, то все равно это было бы хорошее произведение. Если бы Солженицын выдумал "Архипелаг", это было бы бездарно. Бездарно в целом — не по художественному исполнению, а по замыслу.

Но Солженицын тем не менее вполне органично входит в сонм Великих Русских Писателей. Он сказал, что если бы зрители чеховских "Сестер" в начале века узнали о своем будущем, то весь зал пошел бы в сумасшедший дом. Но это не верно. Чехов органичное звено в развитии русской культуры, русской мысли и русской истории. И как бы он ни был

чужероден последующей России, именно она в скрытом виде в нем содержалась, и именно она связана в своем развитии с Чеховым миллионами нитей (реплика Солженицына тоже ведь порождена Чеховым, даже и буквально: "Палата №6"). Соответственно солженицыновской нелепицей все и должно было закончиться. Солженицын счастливчик русской литературы, баловень судьбы. В нем русская литература и русский язык нашли свою форму, предмет и цель. У Гоголя фантастическое противоречие между целью и средством. Цель — спасение России и мира. Средство — литературный дар, да к тому же сюрреалистического свойства. В Солженицыне же грезы сошлись и осуществились. "Все при всем". Да, спасение России, да, при помощи литературы и литературы глумливой. И действительно получилось. И получилось наяву и серьезно. Когда я читал его книги, то не просто читал — переживал. Многие обороты воспринимались на физиологическом уровне и просто стали частью моего языка: "был хорошо устроен в зоне", "ничего, берем" или "ты тоже умирать будешь". И тон, тон.

517. Примечание к № 409

Чердынцев, написав свою книгу, испытывает удивительное чувство освобождения и сбывания своей мечты.

Кто я по сравнению с Набоковым, с Годуновым-Чердынцевым? — "Гадун-Чадинцев". У него стройное, благородное детство — у меня хаотично разъятое, униженное, жалкое. У него светлая трагедия, гибель отца и потеря Родины, — у меня отец, умерший от рака мочевого пузыря и низменное, ничтожное прозябание в десятистепенном государстве, в бессмысленной, раздувшейся с полпланеты замухрышечной Албании. У него юношеская любовь — у меня постыдная пустота. У него умная, любящая жена — у меня опять-таки ноль. Он гениальный писатель, я же ничтожество, "непризнанный гений". И все же сходство по миллионнолетней прямой. Я в "Даре" люблю свою несбывшуюся жизнь, прекрасную, удивительную сказку-быль.

Но извне все дешифруется как огромная карикатура на "Дар". Один из слоев пародийного пространства "Бесконечного тупика" ориентирован именно на это произведение Набокова.

545. Примечание к № 488

То что с ними спорят, доказывают — это для них опора, хлеб. А вот если одернуть.

Почему спорить не надо? Правда — это неотъемлемое условие научного знания. Но сама правда выше науки. Она дана свыше, ее нельзя определить. Это своеобразная этическая конвенция. Следствием этого является невозможность уличения кого-либо во лжи, если эта ложь тотальна. Вы пошли в гости, и у вас в прихожей украли галоши. Вы видели — кто и говорите: "Положи на место". А укравший говорит: "А я не брал". Что тут делать! "Не брал" и все! Вы-то хотели может быть сказать, что вот воровать нехорошо и т.д. Но ваш собеседник не вор, он не брал галош и сам об этом говорит вам русским языком. В глаза. Вы ему уже ничего не докажете, никогда. Он "не брал", "не видел", "не знает". Поэтому спорить с такими людьми просто невозможно. Они в известный момент нарушили негласную этическую конвенцию. А поскольку эта конвенция тотальна, первична, то единственной формой борьбы с подобными людьми является их игнорирование. Или же перевод взаимоотношений в иную плоскость, более им доступную и понятную.

Возможно, все это является еще одним доказательством загадочности проблемы бытия Божия, которую нельзя решить. Ведь получается, что наука, и особенно философия — так как здесь нет "фактов" в научном смысле, нет "улик", — построены на такой вроде бы неясной и смешной вещи, как правда и честность. А что такое правда, люди не знают. Это невыразимо. Если дать дефиницию правды: правда есть то-то и то-то — то эта дефиниция сама может быть правдой, а может и не быть. А почему — уже никто не узнает. Правда это субъективное и невыразимое чувство: чувство гармонии, соразмерности. Научная истина это лишь частное и наиболее материальное проявление правды. Сама наука и этична и не(вне)этична. Врать там вроде бы трудно, но правдивость науки лишь частность, эманация этической добродетели ученого. Можно построить абсолютную лженауку, где будет все: и "верификация", и "фальсификация", и все, все, все. А правды не будет.

551. Примечание к № 545

правда... дана свыше, ее нельзя определить

Свое философское образование я начал в 17 лет. Начал с изучения Ленина и проштудировал все 55 томов его собрания сочинений. Это оказало на меня колоссальное влияние. И первое, что я понял, это беззащитность и хрупкость человеческой мысли, которая конечно же основывается не на мощном фундаменте аристотелевской аналитики и не на трактатах Канта и Гегеля, а висит на странном и до смешного расплывчатом и инфантильном гвоздике — широте души,

доброжелательности, вообще "хорошести", "благостности", доброте. Доброте и правдивости. На этом туманном гвоздике, гвоздике-облачке висит тяжелое и старое полотно человеческой мысли. Философия-то стоит попросту говоря на детской считалочке: мирись, мирись, мирись и больше не дерись... Если эту глупую считалочку нарушают, то в рамках, именно в рамках философии ничего доказать нельзя. "А я не брал" (калош). И все. Можно плакать, кричать, биться лбом о стену — ничего, ничегошеньки не докажешь. Скорее уж тебе "докажут".

554. Примечание к № 543

По-русски самоанализ, покаяние — всегда глубоко, а собственно анализ, обвинение — плоско и мелко.

На Западе виноват "кто-то". В России — "сам виноват". Раскаяние по-русски глубоко, глядячи плакать хочется. Обвинение же всегда поверхностно, риторично. Да просто недостойно. Мечется русский интеллигентик, бьет своими кулаченками по гранитным пьедесталам — так и видишь его в пенсне, борода клинышком, визгливый голосок: "Ах, сука, полтинник за щекой спрятал! По мордасам его, ребята! Пэ глазам, пэ глазам, падло!" И все. Вот и вся критика, вот и весь "критический реализм". А раскаяние — это, извините... Тут даже Смердяков вырастает до размеров необычайных.

Персонафикации зла нет. Я зла не вижу. Где оно? Кто виноват в моих мучениях? Объективного зла нет. Зло во мне. Зло-качественность.

Назовите отрицательный персонаж в русской классической литературе. Его нет. Кто? Евгений Онегин? Чичиков? Печорин? Лужин? Валковский? Раскольников? Беликов? Или образ "диалектичен", размыт, или слишком приземлен, локален, статичен. А следовательно мертв, куколен. Гигантское, сложное и страшное зло, вроде Мефистофеля, в отечественной культуре совершенно не выражено.

И реальная жизнь проявляется в кровавой ванне мозга злорадством. Какую тему своей жизни я ни возьму, мне хочется бросится на землю и рыдать, рыдать. Я пытаюсь проследить ее развитие, и меня ужасает ее зловещесть.

560. Примечание к № 526

Про любовь же мне ничего не сказали.

Но почему про это кто-то должен говорить? Мне же никто не говорил: "Думай; читай Платона". Я до этого своим умом дошел. Нет, дело здесь не в отце и не в советской "школе".

Точнее, и отец и школа это лишь проявления, манифестации некоторой изначальной порочности русской культуры.

Суть русского отношения к любви, суть русского эроса и секса, суть русского устройства в мире этой сферы человеческой жизни выявлена в "Женитьбе" Гоголя, произведении поистине архетипическом. С психоаналитиком, который не читал "Женитьбы" и берется при этом судить о специфике русской сексуальной жизни, и говорить не стоит. Я бы ему даже руки не подал. А если этот человек, например, взялся за лечение невротика из русских эмигрантов, то его следовало бы дисквалифицировать, как шарлатана.

Гоголь в своей пьесе альфу и омегу дал. Суть.

Кочкарев: Ну, а как будет у тебя жена, так ты, просто, ни себя, ничего не узнаешь: тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделье... И, вообрази, ты сидишь на диване — и вдруг к тебе подсядет бабеночка, хорошенькая эдакая и ручкой тебя...

Подколесин: А, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко.

Кочкарев: Куды тебе! Будто у них только что ручки!.. У них, брат... Ну, да что и говорить; у них, брат, просто черт знает чего нет.

Подколесин: А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая.

Кочкарев: Ну, видишь, сам раскусил."

Позвольте, чего же Подколесин "раскусил"? С ним рядом "хорошенькая сидит" и он знает, что она сидит, и думает, что вот она сидит. А у нее "ручки". А еще? Ну, что еще-то? "У них, брат..." — Ну-ну — "Ну, да что и говорить..."

Кажется придирка, частность. Однако пойдем дальше:

"Кочкарев: Вообрази, около тебя будут ребятишки, ведь не то, что двое или трое, а может целых шестеро, и все на тебя, как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник какой, Бог тебя ведает; а тогда, вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие эдакие канальчонки, и какой-нибудь постреленок, протянувши ручонки, будет теревить тебя за бакенбарды, а только будешь ему по-сабачьи: ав, ав, ау! Ну есть ли что-нибудь лучше этого, скажи сам?

Подколесин: Да ведь они только шалуны большие: будут все портить, разбросают бумаги.

Кочкарев: Пусть шалят, да ведь все на тебя похожи — вот штука.

Подколесин: А оно и в самом деле даже смешно, черт побери: этаким какой-нибудь пышка, щенок эдаким, и уж на тебя похож.

Кочкарев: Как не смешно, — конечно смешно."

Если оформить брак, подписать бумаги, то можно будет получить проценты с тебя: человек начинает размножаться. Прямым делением (то один надворный советник, а то — двое, трое, шестеро). В результате получаются маленькие копии. Мужеского пола (о девочках и помину нет; как и о жене — жены тоже нет, есть "женитьба", а жена промелькнула абстракцией "с ручками" и исчезла). Мужеского пола и уже в маленьких мундирчиках и с маленькими бакенбардами. Эдакие "экспедиторчонки". Но тут опасность: "они разбросают бумаги". Да, конечно, не разбросают, начнут "своими ручонками" переписывать их и подшивать в папины папки.

Но есть и второй слой, для нерусского глаза незаметный. Это глумление. Кочкарев глумится над Подколесиним, юродствует. — "Ты ему будешь по-собачьи: ав, ав, ау!.. Ну есть ли что-нибудь лучше этого, скажи сам?" А Подколесин подхватывает на лету: "Щенок эдакий". Подходит щ-щенок и за бакенбарды дергает. "Ну есть ли что-нибудь лучше?"

Вообще, если интерпретировать "Женитьбу" в традициях современной режиссуры, то я бы, во-первых, выпустил на сцену Агафью Тихоновну совершенно голой (только сережки и бусы). Причем артистку бы подобрал кустодиевского телосложения. Чтобы по-русски всего много было: плечи, грудь, зад. И чтобы никто на сцене этого не замечал: никаких смешков, подмигиваний, похлопываний. Все очень чопорно, официально. Окружающие вместо голой женщины видят голую абстракцию. И сама она ничего не замечает. Все прочие персонажи, наоборот, должны быть слишком одеты: френчи, толстые пиджаки с красным флажком на лацкане. И столы, столы. Стульчики, конечно. Двери. Можно звонки вызовов. Настольные лампы.

Кульминационная сцена — "признание в любви":

"Подколесин (после паузы): Какой это смелый русский народ!

Агафья Тихоновна: Как?

Подколесин: А работники стоят на самой верхушке... Я проходил мимо дома, так щекотуртся штукатурит и не боится ничего.

Агафья Тихоновна: Да-с. Так это в каком месте?

Подколесин: А вот по дороге, по которой я хожу в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность.

(Молчание. Подколесин опять начинает барабанить пальцами, наконец берется за шляпу и раскланивается.)"

Однако нашлись люди, оформили документы. Подколесин испытывает чувство законной гордости и глубокой благодарности:

"Благодарю, брат. Именно наконец теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь передо мною открылся совершенно новый мир. Теперь я вот вижу, что все это движется, живет,

чувствует, эдак как-то испаряется, как-то эдак, не знаешь даже сам, что делается, а прежде я ничего этого не видел, не понимал, то есть просто был лишенный всякого сведения человек, не рассуждал, не углублялся и жил вот, как и всякий другой человек живет."

Не углублялся и жил. Как его поставили, так всю жизнь в этом положении и прожил. Привели на лужок и забыли. Он траву ел, ел. Всю съел вокруг. И умер. "Какой это смелый русский народ!"

"В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Ну, каков был мой холостой век? Что я значил, что я делал? Жил, жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал, словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек (а если женится, то необыкновенный, — дьявол Гоголь опять юродствует: "Какой хороший человек Иван Иванович" — О.¹). Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся; а ведь если рассмотреть, какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека."

"Если бы я был государь" — сакраментальная русская фраза (имеет она еще более сильный вариант, никогда прямо не высказываемый и даже "не вымысливаемый": "Если бы я был Бог (Христос)").

"Я бы психоанализику, не читавшему Гоголя, руки не подал". Но это к слову. Вот фраза из "Опавших листьев":

"Если бы в государственных учреждениях была 1/10 доля ума..., то конечно, не только разрешен бы был брак гимназистам и гимназисткам, но он вообще сделан обязательным для 16-ти (юношам) и 14 1/2 (чтобы не испортилось именно воображение) лет девушкам; и чтобы соблюдение этого было предоставлено согласованным усилиям родителей и начальств учебных заведений, и обеими сторонами — непременно исполнено, без чего не дается "свидетельство об окончании курса".

Розанов это просто женившийся Подколесин, Подколесин, так и не выпрыгнувший из окошка. Подколесин-Гоголь выпрыгнул (все-таки, действительно, "русский народ смелый"). Чего же я переживаю (чувство, что меня обделили, чего-то не додали, отняли)? Русский в своем громадном, окончательном развитии, в своем развертывании до упора, когда гармошка плоской становится, — он такой и есть. Сильный расовый тип испанца — Дон Жуан. Сильный тип русского — Подколесин. Если и есть примеры счастливой русской половой жизни (что-

¹ О. — Одинокое, лирический герой "Бесконечного тупика"

то я не встречал), то это за счет русской недоразвитости субъекта, его слабости.

Подколесину перед самым венчанием говорят:

"Брак это есть такое дело... Это не то, что взял извозчика, да и поехал куды-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность... теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность."

575. Примечание к № 571

И вот русские полезли в этот реактор.

Достоевский писал в "Дневнике писателя" за 1873 год:

"Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит — гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не натурально выходит."

И пошел, пошел дальше развивать кругами злорадную мысль:

"Мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России... нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче..."

Достоевский летел:

"Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно. Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь... Возьмите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседних элементов), возьмите и сообразите: во скольких стратегических точках мы стратегически уязвимы?... Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно."

Вот в этом пункте и Достоевскому не хватило нужного напряжения злорадства. Федор Михайлович свел дальше все на военную технику ("Лет через 15, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какою-нибудь всеожигающею электрическою струею из машины".) На технику и на то, что мы все более отстаем от Запада в технической области, а следовательно необходимо бросить колоссальные средства на образование и т. д. Ход мысли безупречен, и предвидение верно. Но не хватает злорадного напряжения для окончательного предвидения.

Конечно, в Европе техника, разработанная на научной основе тактика и стратегия. Но не надо забывать и о собственно европейском уме. Дело не только в мускулах, орудиях и отточенных приемах охоты, но и в уме. Да чтобы воевать с умным государством, нужно еще до него добраться! Ведь получится так: полез (абстрактный пример) на Англию, а воевать-то придется с Турцией и Ираном. Сама по себе война с серьезным государством это уже большая честь. Серьезное государство с дураками не связывается: "из двух ссорящихся виноват тот, кто умнее". Пошлют против дурака другого дурака. "Туда умного не надо". А когда дураки вдосталь надерутся, умный-то и выйдет, помирит. И оба дурака еще рады будут, будут считать умного своим отцом-благодетелем.

Герцен обливался слезами умиления по поводу лондонской полиции (в "Былом и думах"). "Сильнее кошки зверя нет". Наивняк и не подозревал, что кроме блестяще поставленной полицейской службы, в Соединенном королевстве есть и другие, пускай и менее заметные, но не менее совершенные организации, например институт разведки и контрразведки. И вот в этой организации, в определенном месте хранится в том числе и папочка на одного русского политического эмигранта. И эмигрант этот там со всеми потрохами расписан не то что по дням, а по часам своей глупой жизни.

В "Подростке" у Достоевского герой выигрывает кучу денег, и у него зажуливают одну ассигнацию. Он думает: а, мелочь, не стоит связываться. И тут все вокруг — ага, "дает", с ним можно! — начинают вырывать из рук кто во что горазд. С русскими "можно". На Западе это поняли где-то во время Крыма. До этого, прав Достоевский, европейцы плохо знали Россию, путались в элементарных вещах: национальной кухне, одежде, быте, устройстве важнейших деталей государственного аппарата. И вот к середине XIX века наконец выяснили структуру. "Ах вот как! Ну, это барахло мы "сделаем". Потом уже мы воевали только с турками и японцами. А как дошло дело до мировой поножовщины, то сначала "использовали", а потом выбросили на лестничную клетку. Пинком — "Пшла дура!"

Типично европейское оружие — шпага. Тут весь характер европейца сказался: длинная упругая игла-мысль. На пороге вылез нестриженный мужик с топором, стал красную косоворотку на себе рвать — "Не замай!" — Точный, еле заметный глазу укол. Орущая гора мяса, натолкнувшись на невидимую преграду, как-то ойкнула, подпрыгнула и, перевернувшись в воздухе, грузно шмякнулась об пол. "Туда умного не надо". Пошлем петрушку в plombированном вагоне. И шпагу кружевным платочком вытерли: "Не было этого". В Азии — кривые ножики, ятаганы, бердыши: летят отрубленные руки, ноги, головы, режут напополам, с хрустом вспарывают живо-

ты — идет разделка мяса. А тут у сердца маленькое, с пятчок, пятнышко крови — его не видно на рубаше. — Серьезная, европейская работа!

Розанов писал в 1918 году в письме к Э. Голлербаху:

"Получив 5 миллиардов контрибуции с Франции, Германия 2 ¹/₂ миллиарда потратила умно на поднятие германской промышленности и 2 ¹/₂ миллиарда на "аванс победы над Россией". На 2 ¹/₂, то есть на проценты с пятисот миллионов, можно было кормить всю ненасытную печать и Германии, с "Форвертс" ("Вперед"), и России. И вот "расцвет" и "хороший платеж" и журналов Стасюлевича, Михайловского, Щедрина, Гольцева. Расцвет и вообще устойчивость, твердость русских социал-демократических течений. Разумеется, Германия предпочитала не платить там, где служили "из добродетели", но несомненно при малейшем недостатке "добродетели" она сейчас же начинала платить. Вы знаете, что почти в первый же день объявления войны Германией Францией, "предательская рука просунулась в окно ресторана и застрелила французского социал-демократа, шумевшего в парламенте". "Тризна прошла по всей Европе". "Кто смел убить такого благородного защитника неимущих классов". Между тем убили только рептилию германской полиции, и кто убивал — знал, с кем он имеет дело. Между тем рептилия шумела на всю Европу, — русская печать захлебывалась от перевода его речей. (От рептилии захлебываются до сих пор — Розанов ведет речь о Жане Жоресе — О.)"

"Вы помните эти заявления, эти перепечатки в русских газетах: "в рейхстаге германский представитель социал-демократической фракции сделал заявление". Все они вечно делали заявления, и вообще шли и ходили вечно под рекламой, именно — под красным флагом, и никак не меньше. Помните и знаете "торжества 1-го мая". Они гремели на всю Европу, и германское правительство делало вид, что им испугано... Далее: кадетер-социализм. "Социализм овладел наукою", "университетом". Русские дурачки профессора зашевелились. "Тут и А.И.Гучков" и "Янжул". Пошли скакать "Русские ведомости".

Дело не в пушках и танках. Это все на поверхности, производное. А вот Гегель. И ему против России одним плавником шевельнуть, — и, так, боковым, третьестепенным, — и корабль дураков накренится. А нам какого "Пересвета" супротив выставить? Белинского? Да тот будет орать и не поймет даже, что его в микроскоп рассматривают. Как и случилось с Герценом. У нас чтобы тогда это понять, нужно было иметь семь пядей во лбу. До "этого" додумывались такие гении, как Достоевский, Леонтьев. Ведь голые, голенькие перед европейским логосом. Так "сделают", что и не поймут русачки "откудава и чаво". Будут бить и плакать не дадут.

Петр I ввел европейское чиновничество, армию, технику. Не смог "ввести" европейского ума. Сего циркуляром не приобретешь, на "сие" столетия надобны. И пока очухались, пока у кутят глаза прорезались, все уже было сделано. Славянофилы — лучшее, что дала Россия в интеллектуальном отношении — это такая беспросветная глупость, такое малиновое прекраснотушение... А дальше — Леонтьев, Достоевский, Розанов. Но это уже когда гвозди в крышку вбивали. И сказали они в сущности мало — так, "вскользь"...

Конечно, немецкая разведка — это гегелевский полет фантазии: инициатива и масштаб неслыханный. Тут тотальный философский анализ. Но в этом новаторстве и органический порок: слишком по-юношески дерзко, слишком самовлюбленно. У англичан точечная и менее фатальная система. Это умудренный опытом старец, консерватор. Не создавать многомиллионное провокационное "движение за мир", призванное сорвать мобилизацию и морально разоружить правительство вражеского государства, а проникновение в уже созданный врагом аппарат и даже не разрушение его изнутри, а контр-использование. Меньше флагов и лозунгов, меньше взрывов военных складов, больше единичных и точечных убийств. У Франции — Женераль сюрте, на порядок слабее, но все-таки европейская традиция. Да, звезд с неба не хватает, но шлепнуть своего гада еще сумела. Япония. Конечно, Азия, но первое, что она украла у Запада, это систему шпионажа. И только в России, кроме классической узко-военной разведки и дипломатического корпуса — ничего не было. (Как потом маятник качнулся!).

Русские смеялись над немцами: "Я ест исучаль русский ясык". Он "исучаль" и "исучиль", а русские свиньи свою родину прохрюкали.

Из меморандума немецких профессоров, дипломатов и высших правительственных чиновников рейсканцлеру Бетман-Гольвегу 20.06.1915 г. Строго конфиденциально:

"На нашей восточной границе неслыханными темпами — на 2,5-3 млн. человек в год — увеличивается население Российской империи. В течение одного поколения население возрастет до 250 млн. человек. Германия может выстоять против такой подавляющей силы на нашем восточном фланге — несомненно, самой большой опасности для будущего Германии и Европы, — если только, с одной стороны, будет создан мощный пограничный вал как на пути незаметно происходящей в мирное время славянизации, так и против насильственной военной угрозы, а с другой стороны, всеми средствами будет сохраняться здоровый рост и развитие нашего собственного народа. Однако пограничный вал и основу для сохранения роста нашего населения составят земли, которые Россия должна уступить. Это должны быть земли, пригодные

для сельского хозяйства и заселения. Земли, которые дадут нам здоровых крестьян, этот источник молодости и силы народа и государства. Земли, которые в состоянии принять часть прироста нашего населения и станут для немецких эмигрантов, желающих покинуть враждебную Россию, новой родиной в их исконно родной стороне. Земли, которые усилят экономическую независимость Германии от заграницы путем создания собственных возможностей для продовольственного снабжения, станут необходимым противовесом развивающейся индустриализации и урбанизации нашего народа..."

И т.д. Какой бы "меморандум" наши профессора составили? Можно легко реконструировать наиболее возможный вариант:

1. Выдать всем значки и воздушные шарик.
2. Выплатить русскому еврейству 1 миллиард рублей.
3. Прибавить 3% к жалованию.

581. Примечание к № 472

Горн ходил по вилле голый, загоревший, поросший семитской шерстью.

Горн это псевдоним меньшевика Громана, осужденного в 1931 г. по делу меньшевистского центра. О Горне Ленин писал в 1907 году:

"Г-н Горн только чуточку пооткровеннее и чуточку больше обнажился, но его отличие... ничуть не больше, чем отличие г.Струве от г.Набокова."

И процитирую дальше, так как тут излюбленная ленинская тема пошла:

"Не в словечке ведь дело, не в названии вещи "слиянием" или "соглашением". Дело в том, каково реальное содержание этого "совокупления". Дело в том, за какую цену предлагаете вы РСДРП стать содержанкой либерализма. Цена определена ясно... Что касается формы выступления г-на Горна, то она донельзя характерна для нашего времени, когда "образованное общество", отрекаясь от революции, хватается за порнографию."

587. Примечание к № 472

Писатель — одновременно и Кречмар и Горн, и палач и жертва.

Горн конечно мощен, это почти дьявол. Даже его трусость — предикат дьявола. Кречмар слишком ничтожен, чтобы бороться с ним (гибнет при первой же попытке). Так что в "Камере-обскуре" явной антитезы дьявольскому началу нет.

Божественная природа творчества скрыта. А ее Набоков чувствовал не менее, чем природу дьявольскую. Уже в первом романе ("Машенька") герой, вспоминая свое детство, горделиво назван "богом, воссоздающим погибший мир".

Своеобразной альтернативой "Камеры" является "Защита Лужина". Здесь, наоборот, дьявольские силы деперсонифицированы и выступают в виде каких-то абстрактных "шахматных богов" (даже не "бога"). Правда, мелькает на периферии повествования горновская фигура шахматного антрепренера Валентинова. Но это эпизодическая эфемерида. Зло абстрактно. Ему же противостоит фигура незаурядная, даже гениальная.

Но гений Лужина — гений писательский, шахматный. Трагедия его в перенесении законов шахматной игры на реальный мир. Он задумал сыграть партию с миром. То есть с самим Автором. В результате — смерть. Судьба Лужина это гибель русского сознания, потерявшего связь с реальностью, но пытающегося создать реальность искусственную. Но искусственная реальность, поскольку она некоторым образом действительно реальность, вырывается из-под контроля, ставит "под контроль" самого создателя.

Лужин живет в разумном клетчатом мире — безумном, бесполом. Но возникают некоторые нарушения. С одной стороны, прямое перенесение шахматных законов на реальность, так что герою хотелось "липой, стоящей на озаренном скате, ходом коня взять вон тот телеграфный столп". А с другой — все же человеческая природа — любовь к женщине. Мир Лужина сморщивается, и он внезапно вспоминает свое прошлое, детство, хотя раньше "единственное, что он знал достоверно, это то, что покой века играет в шахматы". Возникает категория времени. Но единственная форма времени, доступная Лужину, — время шахматное. Нечто весьма и весьма конечное, линейное и напрямую, как шагреновая кожа, зависящее от поведения игрока. Игроков. После болезни (нервного срыва) Лужин встречает школьного товарища. Со школой же связана психическая травма, так что внезапная встреча ужасает. Более того, ум Лужина понимает, что в мире с включенным временем ничего не происходит случайно, что ведется партия и ведется она против него. Кем?

"Не сама встреча была страшна, а что-то другое, — тайный смысл этой встречи, который следовало разгадать. Он стал по ночам напряженно думать, как бывало думал Шерлок над сигарным пеплом, — постепенно ему стало казаться, что комбинация еще сложнее, чем он думал сперва, что встреча... только продолжение чего-то и что нужно искать глубже, вернуться назад, переиграть все ходы жизни от болезни..."

Ведется следствие. Нужно твердое алиби, защита. А для этого — контрмина контрследствия. Но сначала прикинуться, прощупать противника:

"Затишье, но скрытые приготовления. Оно желает меня взять врасплох. Концентрироваться и наблюдать."

В шахматы маленького Лужина научила играть тетка, любовница отца. В эмиграции к его жене из России приезжает знакомая и, узнав, что Лужин шахматист, рассказывает о своей подруге, которая научила своего племянника играть и тот потом стал гроссмейстером. Именно здесь гениальный игрок нащупал убийственную тактику противника:

"И нахлынул на него мутный и тяжкий ужас. Как в живой игре на доске бывает, что неясно повторяется какая-нибудь заданная комбинация, теоретически известная, — так намечалось в его теперешней жизни последовательное повторение известной схемы... Лужин содрогнулся. Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощренно, как гибко повторялись за это время, ход за ходом, образы его детства (и усадьба, и город, и школа, и петербургская тетя), но еще не совсем понимал, чем это комбинационное повторение так для его души ужасно. Одно он живо чувствовал: некоторую досаду, что так долго не замечал хитрого сочетания ходов, и теперь, вспоминая какую-нибудь мелочь — а их было так много, и иногда искусно поданных, что почти скрывалось повторение, — Лужин негодовал на себя, что не спохватился, не взял инициативы, а в доверчивой слепоте позволил комбинации развиваться. Теперь же он решил быть осмотрительнее, следить за дальнейшим развитием ходов, если таковое будет, — и конечно, конечно, держать открытие свое в непроницаемой тайне, быть веселым, чрезвычайно веселым. Но с этого дня покоя для него не было — нужно было придумать, пожалуй, защиту против этой коварной комбинации, освободиться от нее, а для этого следовало предугадать ее конечную цель, роковое направление, но это еще не представлялось возможным. И мысль, что повторение будет, вероятно, продолжаться, была так страшна, что ему хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру, застыть, и при этом он не замечал, что продолжает существовать, что-то готовится, ползет, развивается, и он не властен прекратить движение".

Нащупав тактику противника, Лужин пытается сопротивляться:

"Ему пришел в голову любопытный прием, которым, пожалуй, можно было обмануть козни таинственного противника. Прием состоял в том, чтобы по своей воле совершить какое-нибудь нелепое, но неожиданное действие, которое выпадало из общей плановости жизни и таким образом путало бы дальнейшее сочетание ходов, задуманных противником.

Защита была пробная, защита, так сказать, наудачу, — но Лужин, шалея от ужаса перед неизбежностью следующего повторения, ничего не мог найти лучшего."

Защита конечно была слабой, "на авось", и скорее напоминала агонию. Лужин решил купить восковой бюст в дамской парикмахерской, но с ужасом почувствовал, что кукла "уже была" (оказалась похожа на шахматную тетку). И тут же герой встречается с шахматным антрепренером Валентиновым, цель которого ясна — снова вовлечь его в турнирную игру, а от этого снова болезнь и смерть.

"Что он мог предпринять теперь? Его защита оказалась ошибочной. Эту ошибку предвидел противник, и неумолимый ход, подготавливаемый давно, был теперь сделан."

Лужин стал творцом своей жизни, взрослым — и гибнет.

"Единственный выход, — нужно выпасть из игры".

Его еще может спасти жена, но автор нажимает на звонок ("простосердечный звонок аккуратного гостя" — злорадствует Набоков) и Лужин, заперевшись в своей комнате, выпадает из окна.

Через 35 лет после выхода романа Набоков сказал:

"Сочинять книгу было нелегко, но мне доставляло большое удовольствие пользоваться теми или другими образами и положениями, дабы ввести роковое предначертание в жизнь Лужина и придать очертанию сада, поездки, череды обиходных событий подобие тонко-замысловатой игры, а в конечных главах — настоящей шахматной атаки, разрушающей до основания душевное здоровье моего бедного героя."

Но насколько его герой является его героем? Не есть ли все его поведение — борьба с автором и сюжетом? В сущности, Лужин догадывается о сюжетности и предумышленности своей жизни. Но конечно догадка не может быть ничем иным; его хаотическая "борьба" лишь прихотливый изгиб сюжетной линии. Автор могуществен. Но, с другой стороны, автор же и конечен. Он сам Лужин по отношению к некоему подлинному Автору своей жизни. Произведение-то теологическое и философское. Что есть свобода воли и как она сочетается с божественным предопределением. И не умозрительно-терминологически, а реально. Как выглядит, как это чувствуется (пред-). Как это могло быть при реальности существования Высшего Мира. И в какой степени человек может догадываться о возможности такового. Не в той ли, в какой Лужин догадывался о существовании Набокова?

594. Примечание к стр.34 "Бесконечного тупика"

Ради свободы духа Набоков задушил в себе... русское мышление.

Следовательно, Набоков отказался от самопознания. Человек, в высшей степени способный к самопознанию, он никогда не поставил в центр повествования самого себя. Его мемуары чисто внешние, описательные. Он отшатнулся от себя. Россия потеряла гениального философа, но приобрела счастливого человека. Ведь судьба Набокова максимально счастлива для русских его поколения.

612. Примечание к № 575

в России, кроме классической узко-военной разведки и дипломатического корпуса — ничего не было

Где хоть один русский разведчик XIX — начала XX века? Назовите. Сам вопрос смешон. А во всех европейских странах есть такие имена (напр. полковник Лоуренс). Русским с избытком хватило биографий "пламенных революционеров". Более того. Нет и ни одного соответствующего литературного персонажа. В богатейшей русской литературе столь выигрышная и интересная тема отсутствует напрочь. Даже сыщиков, каких-нибудь Шерлок Холмсов и Пинкертонов, нет. Нет совсем (не считать же таковым метафизический образ Порфирия Петровича). А русские — прирожденные шпионы — с их-то скрытностью и переимчивостью. Вот где может быть сердцевина гнилости царской России. Прирожденному пласуну, музыканту порвали гармошку. Душа тосковала, плакала. Нашлись люди "с другого берега", купили. Он и пошел наяривать — за версту стекла вышибало.

А после революции... Где центр отечественного мироздания? Какая ось? Кто объявлен святым? У кого "чистые руки"? Кто рыцарь без страха и упрека? Кому подражать, с кого "делать жизнь" "юноше, обдумывающему житье"?..

То есть оттянули маятник до упора, он качнулся и пошел в разнос. — Русская история.

616. Примечание к № 588

сама эта книга — мечта

Сон, утопия. В одном исследовании по истории утопий говорится, что

"цивилизация вряд ли способна будет выжить в течение продолжительного времени без утопических фантазий, как и отдельный человек не может существовать без сновидений".

"Бесконечный тупик" вовсе не бесполезен. Для меня. Но не думаю, что его следует читать другим. Это дополнение моей жизни, придающее ей устойчивость. Само по себе ложное. Но это "ложное" — единственное, что есть у меня, кроме самого

меня. Следовательно — единственное, что я могу продать. Больше у меня просто ничего нет. Но "публикация" книги, ее "обнародование" очень обидно. Даже в абстрактно-этическом, правовом смысле — нехорошо. "Продавец снов". Но все равно продаж (гибну). И очень дешево. Последнее, что еще внутренне благородно, для меня самого не опошлено.

643. Примечание к № 621

русский человек органически не способен выполнять мелкую, второстепенную работу

Вообще при истерическом, импульсивном характере русского труда, мы навряд ли догоним западные страны по уровню жизни. Несмотря на колоссальные льготы в виде территории, уникальных природных ресурсов и т.д. даже при гениальной экономической политике навряд ли уровень жизни в России будет составлять 3/4 от среднезападного. Никогда не превзойдем мы Запад и по уровню научных исследований. И здесь русских ожидает максимум твердая "четверка". Однако в области литературы и искусства Россия может стать великой державой. А что касается областей культурной жизни, наиболее связанных с имитацией, издевательством, комедиантством и вообще развлечением, то тут наша страна весь мир задавит, только волю дайте. Отечественный театр и кинематограф превратит театр и кинематограф западный в смешной аппендикс. Русский человек плохо умеет развлекаться, но гениально умеет развлекать. Провоцировать.

А теперь учтите, что эру техники и науки постепенно сменяет эра развлечения, эпоха всемирного спектакля. Тут и не надо никакой атомной войны. Весь мир у ног будет.

658. Примечание к № 506

Солженицын счастливчик русской литературы, баловень судьбы.

Ну, еще о Солженицыне. Ему все удалось. Даже вечный двигатель, и тот у Солженицына удался. "Шарага", которая спасла его от смерти, занималась какими-то неосуществимыми проектами — "аппаратом для товарища Сталина". Это был, видимо, единственный в истории случай создания Института Вечного Двигателя — некоего магического сообщества, целью которого было создание фантомов. И фантомов очень жизнеспособных, совершенных — речь шла о жизни и смерти. И люди там подобрались конечно талантливейшие. Сама обстановка "шарашки" была гениальна. Именно там Солженицын сформировался (не в школе же сталинской). Иг-

ра — цена которой жизнь. И игра не на понижение, как в случае с лысенковцами, а на повышение.

664. Примечание к № 590

Таких господ... выводят.

Мое негодование смешно. Потешное негодование прозелита. Что такое Россия Соловьева с ее тысячами и тысячами церквей, с огромным сословием священников? Фигура священника была так же обычна, как сейчас фигура слесаря. Соловьев выбросил иконы — подумаешь, их в стране были десятки миллионов. Фамильярно говорил о церковной жизни, шутил. Да и как не шутить по поводу повседневного, частного быта. Набоков заметил, что "здоровое кощунство" Чернышевского в церкви (заигрывал с невестой) вовсе не было признаком атеизма, как это стали подавать в советское время, а скорее напоминало аристократическую вольность. Для Чернышевского, выросшего в церкви, церковь была просто домом, как и для сына короля корона — игрушка. Соловьев не церемонился с религией, потому что это было его. Его, а не мое. Чернышевский в эпоху самого своего разатеизма был просто физически неизмеримо ближе к церкви, чем я сейчас.

"Вывел" я тут только себя. Но читатель, я думаю, давно уже догадался, что в этой книге я говорю только о себе.

726. Примечание к № 680

"Туркин все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии"
(А. Чехов)

Если для Щедрина нарочитость языка была все же литературным приемом, то для Чехова она стала в значительной мере формой стилизованного существования (как и для его Туркина). Невозможно представить, чтобы в реальности дворянин Салтыков говорил на фельетонном языке своих произведений. Речь Чехова вся построена на интеллигентских при- сказках и прибаутках.

Следующая ступень разложения языка — творчество Заболоцкого и Хармса. Для них филологическое юродство стало не просто плоским литературным приемом, как у Щедрина, и даже не поведением, как у Чехова, а определенным взглядом на мир:

Иногда во тьме ночной
Приносят длинную гармошку
Извлекают резкие продолжительные звуки
И на травке молодой

Скачут страшными прыжками,
Взявшись за руки, толпой.

Это уже порча вполне сознательная, но, в отличие от дореволюционной литературы, к тому же крайне продуктивная, т.к. совпадает с общей порчей мира.

Завершает этот процесс Андрей Платонов. В его произведениях происходит не просто разложение литературной формы и языка, но и распадение способа осмысливания мира. Распад достигает своего логического предела. И, совпадая с максимальным распадом окружающего мира, становится максимально оправданным. Если Щедрин верх неестественности, то Платонов верх естественности, органичности. Он не менее органичен, чем классическая проза Чехова.

В "Котловане" девочка Настя говорит про медведя-пролетария:

— Смотри, Чиклин, он весь седой!"

А Чиклин отвечает:

— Жил с людьми — вот и поседел от горя."

Разве это не похоже на чеховских "Мужиков":

"На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогац белая кошка.

— Кис, кис! — поманила ее Саша, — Кис!

— Она у нас не слышит, — сказала девочка. — Ogлохла.

— Отчего?

— Так. Побили."

Ритм идентичен, и я часто повторяю про себя и тот и другой отрывок. Что же касается содержания, то Платонов явно продолжает чеховскую традицию, чеховское отношение к "вейкаму уускому наооду" (в данном случае грассирование дворянское или местечковое на выбор, все равно). Чехов:

"На Воздвиженье, 14 сентября, был Храмовой праздник... Как раз в это время на террасе сидел инженер с семьей и пил чай...

(Пришел из деревни крестьянин Лычков с палкой в руках) — Ваше благородие, барин... — начал Лычков и заплакал. — Явите божескую милость, вступитесь... Житья нет от сына... Разорил сын, дерется... Ваше благородие...

Вошел и Лычков-сын, без шапки, тоже с палкой; он остановился и вперил пьяный, бессмысленный взгляд на террасу.

— Не мое дело разбирать вас, — сказал инженер, — Ступай к земскому или к становому...

(Лычков-отец) поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и все стучали друг друга по головам, и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру."

Это вполне платоновский сюжет. Легко представить себе соответствующую сцену в одной из его повестей. Только лексику деформировать, и все:

"1 мая был всемирный праздник международного трудящегося. Как раз в это время на террасе сидел инженер с семьей и совершал процесс питания.

К нему пришел из нашей советской деревни зажиточный крестьянин Лычков с орудием палкой в руках. — Гражданин работник умственного труда... — начал Лычков и заплакал. — Явите сочувствие к сочувствующему генеральной линии... Житья нет от сына... Разорил сын, дерется...

Вошел и Лычков-сын, без шапки, тоже с орудием труда; он кончил факт движения и под углом классового чутья сделал взгляд на террасу.

— Генеральная линия партии взяла курс на мою смерть, — сказал инженер. — Ступайте к секретарю или к милиционеру..."

А следующий абзац можно вообще дословно переписывать.

Толстой был очень недоволен "Мужиками":

"У Горького есть что-то свое, а у Чехова часто нет идеи, нет цельности, не знаешь, зачем писано. Рассказ "Мужики" — это грех перед народом. Он не знает народа..."

"Если бы русские мужики были действительно таковы, то мы бы давно перестали существовать."

И перестали. Показ Чеховым отрицательных сторон деревенской жизни, разрушающий миф русской литературы о добродетельных поселянах (в полном единодушии создаваемый не выносившими друг друга Тургеневым, Достоевским и Толстым), был началом разрушения и самой русской литературы. Но у Чехова, а затем в еще большей степени у Бунина, деформировалась литературная идеология. Сама лексика была еще вполне классической. "Обериуты" лексику разрушили, на них "хорошая литература" кончается. Но своей идеологии, своего мифа-мира они не создали, да еще и не могли создать. Платонов же — это реидеологизация литературы. Возвращение к ее назидательности и дидактичности, но возвращение вторичное, опирающееся на разрушенный левый язык. Платонов кристаллизовался из леворадикального газетного месива. В этом смысле он еще русский писатель. Корни его логоса доходят до 60-х годов XIX в. Это логическое завершение интеллигентского инфантильного языка, в конце концов сбывшегося и послужившего адекватным выражением апокалипсиса коллективизации. Наверное, правый язык и не годился для подобной задачи. Не могу себе представить Бунина, пишущего о деревне 30-х.

Между прочим, Достоевский однажды действительно провел форменное литературное расследование и раскрыл литературное преступление, уличив некоего литератора и тут же подвергнув оного литературному наказанию (печатному разоблачению).

В 103-м номере "Русского мира" в 1873 г. появилась заметка, упрекающая Достоевского в незнании церковных обычаев. Заметка была подписана: свящ. П.Касторский. В "Дневнике писателя" скоро появился ответ. Первая его часть состояла в фактическом опровержении, причем опровержение сопровождалось язвительными замечаниями, вроде:

"А между тем вы просто-запросто подтасовали дело, и я преспокойно ловлю вас на плутне. Но вы немножко ошиблись, батюшка, и рассчитали без хозяина."

Или:

"Не знаете дела, батюшка, а еще духовное лицо".

Или:

"Духовное лицо, а так раздражительны! Стыдно, г-н Касторский."

Но эта часть статьи Достоевского представляет собой лишь преамбулу, так сказать, выуживание у подследственного ценного фактического материала с параллельным внушением некой якобы надежной и спасительной линии обороны: "Фактики-то, г-н Достоевский может быть и опровергли частично, мы и сами готовы это признать, но ведь увлеклись, стали глумиться над духовным лицом — материальчик-с на себя дали-с."

Но тут Федор Михайлович, усыпив бдительность противника, наносит удар с неожиданной стороны:

"А вы знаете, ведь вы вовсе не г-н Касторский, а уж тем более не священник Касторский, и все это подделка и вздор. Вы ряженный."

И дальше, довольный, уже эффект усиливает, доворачивает, куражась:

"И, знаете, что еще? Ни единой-то самой маленькой минутки я не пробыл в обмане; тотчас же узнал ряженого и вменяю себе это в удовольствие, ибо вижу отсюда ваш длинный нос: вы вполне были уверены, что я шутовскую маску, вывесочной работы, приму за лицо настоящее. Знайте же, что я и отвечал вам немного уже слишком развязно единственно потому, что сейчас же узнал переряженного. Если бы вы были в самом деле священником, я несмотря на все ваши грубости, которые в конце вашей статьи доходят до какого-то победоносно-семинаристского ржанья, все-таки ответил бы вам "с

соблюдением" — не из личного к вам уважения, а из уважения к вашему высокому сану, к высокой идее, которая в нем заключается..."

Патетикой-с, патетикой-с его. Ну, а закончить покамест тираду приговором:

"Но так как вы всего только ряженный, то и должны понести наказание. Наказание начну с того, что объясню вам подробно, почему вас узнал (между нами, я даже предугадал, кто именно под маской скрывается; но имя вслух не объявлю, а оставлю при себе до времени), и это вам, естественно, будет очень досадно..."

Намекнуть и на окончательное разоблачение. Но сразу главный козырь не выкладывать, а завалить ворохом косвенных улик, "доказать":

"Во-первых, г-н ряженный, у вас пересолено. Знаете ли вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я вам сейчас объясню. Современный "писатель-художник", дающий типы и отмежевывающий себе какою-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужиков и проч.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот номеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец али солдат в романе говорят эссенциями... Драгоценное правило, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое, давно-давно уже не в привычках наших художников."

И далее Достоевский как дважды два доказывает, что заметка Касторского есть грубая имитация лексики священнослужителя. Слишком густо идут архаичные обороты, много нарочито неграмотных выражений, для современного священника неправдоподобных и т.д. Все подробно объясняется. Тягуче, логично. Юридический ум. В конце заключительный укус. Федор Михайлович "недоумевает", как это, ругая редактора "Дневника писателя", автор заметки в противоположность ему хвалит не себя, а г-на Лескова.

Замечу, что по сути в полемике прав все-таки Лесков. Но это переодевание... И у Достоевского, и у Лескова. При чем здесь христианство? Это элита, захваченная порождением нового мира. Люди, научившиеся говорить, но еще не умеющие говорить. Тут явно серьезная ошибка слишком долго промолчавшей культуры — ее хитроумие. Избыточность. Достоевскому сказали: статью написал Лесков. Он нафантазировал "разоблачение" на 14 страницах. Почему в свою очередь и Лескову потребовалась злорадная мистификация? Сейчас,

через 100 с лишним лет видно — "хотелось". Хотелось безумного словоговорения революционной макулатуры, Государственной Думы, бесконечных судебных процессов. Хотелось в конце концов Крыленко и Вышинского. Побольше серьезности. Больше, еще больше. Чтобы от слова жизнь и смерть зависела. Чтобы кончалось смертным приговором. А чем дальше, тем зависело меньше и уже просто были подхвачены люди, все общество словесным вихрем и низвергнуто в пропасть. И ведь не под реквием — петрушкиным фарсом все кончилось. Дебильным апломбом последнего семинариста.

767. Примечание к № 726

В его (А.Платонова) произведениях происходит не просто разложение литературной формы и языка, но и распадение способа осмысления мира.

Русской литературе был свойственен анимализм. Стремление взглянуть на мир глазами крестьянина. Предполагалось, что это более "реально", более "подлинно", чем взгляд на мир образованного человека. "Реально", то есть материально, механистично. Но механицизм это вид сюрреализма. Кубизм, абстракционизм. Платонов действительно взглянул на мир глазами крестьянина (а не наряженного крестьянином Тургенева или Толстого). Но это распад, чернила, проволоочный станок. Нечто гораздо менее человеческое. А можно бусинкой беличьего глаза и фасетчатым глазом кузнечика посмотреть. Но ведь это ненависть к литературе, неуважение к слову. В самом "реализме" таится неуважение.

Провиденциально, что удача русского реализма совпала с демонтажем мира.

771. Примечание к № 572

Ну, несколько бы замешкался со сбором и вывозом дневников, конспектов, множества книг с аппаратом пометок.

Как сказал один молчаливый народ, разговор только портит беседу. Насколько благороднее была бы II часть без этой III. То есть чтобы III была в уме, только подразумевалась. Соответственно I часть — "Закругленный мир" — без II, тоже подразумеваемой, это уже почти величие. Ну, а вообще "Бесконечный тупик" ненаписанный или навечно погребенный в письменном столе — это действительно нечто психологически сопоставимое со смертью отца.

Если уж зашла речь: я бы мог написать и IV часть. С соответствующим увеличением объема. Да в значительной степени она уже написана. Так, конспекты, на которые я опирался,

составят 1500 страниц. Дневники около 500 (написанные конспективно они легко разворачиваются в 10 раз). Всякого рода рукописи, не вошедшие в окончательный текст — страниц 500. И, главное, аппарат пометок и записей на полях сотен книг. Его полное воспроизведение и развертка как раз и составит 30000 страниц. Набралось бы. Некоторые части, кстати, я вполне реально хочу отпочковать. Вот, например, думаю около 1/10 пометок из ПСС Ленина перепечатать под заголовком "1600 (условно) отрывков из произведений и писем В.Ленина". Наверное, сделаю — такая механическая работа хорошо заслоняет от ощущения бессмысленности моей жизни.

Конечно, здесь, в "IV части" грань, за которой осуществление личности исчезает, заменяется другими текстами. Личностное начало становится слишком косвенным, так что объем переходит в безличную немоту. Но в принципе написать можно было бы. 70 "двадцать девятых томов". Плюс система примечаний.

Менее всего меня можно упрекнуть в легкомыслии. Мое мышление очень авторитарно, и я всегда ищу для любого своего мнения зацепку авторитета. К которому я равнодушен, но который я тем не менее всегда приберегаю "на черный день".

Кюстин писал, что жители Петербурга напоминают ему шахматные фигуры, "которые приводит в движение один лишь человек, имея своим незримым противником все человечество". В общем это и смысл моего существования. Я спорю с некой абстракцией, причем спорю очень древними, архаичными методами. Возможно "все было бы хорошо", если бы я всерьез в своей жизни прочел только одну книгу. Я же Библию заменил библиотекой.

Трудолюбие, все ломающее интеллектуальное упорство, бешеное, застилающее глаза кровавой пеленой честолюбие, серьезное, пожалуй излишне серьезное отношение к миру — и все зря. Все — "никому не нужно". Кто-то дал мне дар сопоставления несопоставимого, дар насмешки над собой, дар совершать громоздкую мыслительную работу, постоянную и... бессмысленную. Бессмысленную, ибо я абсолютно бездарен в цели. Зачем, для чего — для меня это безобразное чавканье филологического болота. Я никогда не мог найти цель в жизни. Долго постановка цели казалась мне грубой, напоминала злобный огонек в глазах шимпанзе, "увидевшего" сложено висящий апельсин — "цель поставлена". Но потом я понял, что что-то порвано сзади моих глаз, и они просто ослаблены, все видят, но ничего не могут "увидеть". Чисто созерцательное отношение к миру. Но, в этом и боль, при потенциальной способности понимания мира и при постоянном механическом перебирании его моим мозгом. У меня голова болит.

Провиденциально, что удача русского реализма совпала с демонтажем мира.

Во всем есть и позитивный момент. Раскрытие, ломание человеческого организма как цель — безумие, садизм. Но как средство, паталогоанатомия, — кто же спорит, — ценность ее необыкновенна. Платонов действительно реалист, материалист (другое дело, что любая реальность сюрреальна), и он показал подоплеку. Как это в лоб. Не извне, как Бабель, и не стиль, как Хармс, ибо у Хармса стиль, загоразивание стилем от реальности, а действительно в лоб. Так называемая "правда". Вот отец. Он лежит на грязном холодном столе с разрезанным животом — не есть ли это предел реальности? Вот разломать отца и посмотреть у него внутри, что под оболочкой — печень, легкие. В этом весь Платонов:

"На его дороге лежал опрокинутый человек. Он вспухал с такой быстротой, что было видно движение растущего тела, лицо же медленно темнело, как будто человек заваливался в тьму... Скоро человек возрос до того, что Дванов стал бояться: он мог лопнуть и брызнуть своею жидкостью жизни, и Дванов отступил от него; но человек начал спадать и светлеть — он, наверное, уже давно умер, в нем беспокоились лишь мертвые вещества.

Один красноармеец сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда темным давленным вином выходила кровь; красноармеец бледнел лицом, подсаживал себя рукою, чтобы встать, и замедляющимися словами просил кровь:

— Перестань, собака, ведь я же ослабну!

Но кровь густела до ощущения ее вкуса, а затем пошла с чернотой и совсем прекратилась; красноармеец свалился навзничь и тихо сказал — и с такой искренностью, когда не ждут ответа:

— Ох, и скучно мне — нету никого со мной!

Дванов близко подошел к красноармейцу, и он сознательно попросил его:

— Закрой мне зрение! — и глядел, не моргая, засыхающими глазами, без всякой дрожи век.

— А что? — спросил Александр и забеспокоился от стыда.

— Режет... — объяснил красноармеец и сжал зубы, чтобы закрыть глаза. Но глаза не закрывались, а выгорали и выцветали, превращаясь в мутный минерал. В его умерших глазах явственно пошли отражения облачного неба — как будто природа возвратилась в человека после мешавшей ей встречной жизни и красноармеец, чтобы не мучиться, приспособился к ней смертью."

Для прозы Платонова характерна постоянная "минерализация" языка, его обездушивание и затем постепенное угасание. Иллюзия жизни достигается за счет все большего и большего ломания жизни. Люди и вещи мерцают — рушатся, разбиваются, раздавливаются; но из-за непрерывности этого процесса он воспринимается именно как процесс, движение, жизнь. Люди друг друга убивают, но при этом все время разговаривают и смерть превращается в разделку осьминогов, постоянно регенирирующих все новые и новые щупальца. Книги Платонова это постоянный регенирирующий диалог. Люди погибают, а беседа продолжается:

"Они били войско кирпичами и разожгли на околице соломенные костры, из которых брали мелкий жар руками и бросали его в морды резвых кавалерийских лошадей...

— Ты чего огнем дерешься? — спросил... подоспевший солдат на коне. — Я тебя сейчас убью!

— Убивай, — сказал Яков Титыч. — Телом вас не одолеешь, а железа у нас нету...

— Дай я разгонюсь, чтоб ты смерти не заметил.

— Разгоняйся. Уж сколько людей померло, а смерть никто не считает.

Солдат отдалился, взял разбег не коне и срубил стоячего Якова Титыча...

— Я ему говорил, что убью, и зарубил, — обратился к Сербинову кавалерист, вытирая саблю о шерсть коня. — Пускай лучше огнем не дерется!

Кавалерист не спешил воевать, он искал глазами, кого бы еще убить и кто был виноват. Сербинов поднял на него револьвер.

— Ты чего? — не поверил солдат. — Я ж тебя не трогаю!

Сербинов подумал, что солдат говорит верно, и спрятал револьвер. А кавалерист вывернул лошадь и бросил ее на Сербинова. Симон упал от удара копытом в живот и почувствовал, как сердце отошло вдаль и оттуда стремилось снова пробиться в жизнь. Симон проследил за сердцем и не особо желал ему успеха, ведь Софья Александровна останется жить, пусть она хранит в себе след его тела и продолжает существование. Солдат, нагнувшись, без взмаха разрезал ему саблей живот, и оттуда ничего не вышло — ни крови, ни внутренностей.

— Сам лез стрелять, — сказал кавалерист. — Если б ты первый не спешил, то сейчас остался бы..

Дванов бежал с двумя наганами...

— Ты куда? — остановил Дванова солдат, убивший Сербинова.

Дванов без ответа сшиб его с коня из обоих наганов..."

Вот чисто русское убийство. И это не Бабель, сидящий в кустах с блокнотом, и не Хармс, шутник и панк. Это изнутри. Да глубже еще. Платонов до илистого дна донырнул:

— Никиток, делай его насквозь! — приказал густой голос...

Дванов увидел вспышку напряженного беззвучного огня и покатился с бровки оврага на дно, как будто сбитый ломом по ноге...

— Страхуй его, Никиток от огня жизни! Одежда твоя...

Подошел Никиток и попробовал за лоб: тепел ли еще? Рука была большая и горячая. Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающуюся ладонь. Но Дванов знал, что проверял Никиток, и помог ему:

— Бей в голову, Никита. Расклинивай череп скорей!..

— Ай ты цел? Я тебя не расклиню, а разошью: зачем тебе сразу помирать — ай ты не человек? — помучайся, полежи...

Подошли ноги лошади вождя. Густой голос резко осадил Никитка:

— Если ты, сволочь, будешь еще издеваться над человеком, я тебя самого в могилу вошью. Сказано — кончай, одежда твоя...

— Как ваша фамилия? (сказал лежащий Дванов)

Вождь засмеялся:

— А тебе сейчас не все равно? Мрачинский!

Дванов забыл про смерть. Он читал "Приключения современного Агасфера" Мрачинского. Не этот ли всадник сочинил ту книгу?

— Вы писатель! Я читал вашу книгу. Мне все равно, только книга ваша мне нравилась...

— А сами-то вы сочувствуете идее книги? Вы помните ее? — допытывался вождь. — Там есть человек, живущий один на самой чрте горизонта.

— Нет, — заявил Дванов. — Идею там я забыл, но зато она выдумана интересно. Так бывает. Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот, и вышло для чтения хорошо.

Вождь от внимательного удивления поднялся на седле — Это любопытно... Никиток, мы возьмем коммуниста до Лиманского хутора, там его получишь сполна.

— А одежда? — огорчился Никита.

Помирился Дванов с Никитой на том, что согласился доживать голым. Вождь не возражал и ограничился указанием Никите:

— Смотри, не испортить мне его на ветру! Это большевистский интеллигент — редкий тип.

Отряд тронулся. Дванов схватился за стремя лошади Никиты и старался идти на одной левой ноге... Тянуло ночным

ветром, голый Дванов усердно подскакивал на одной ноге, и это его грело.

Никита хозяйственно перебирал белье Дванова на седле.

— Обмочился, дьявол! — сказал без злобы Никита. — Смотрю я на вас: прямо как дети малые! Ни одного у меня чистого не было: все моментально гадят, хоть в сортир сначала посылай... Только один был хороший мужик, комиссар волостной: бей, говорит, огарок, прощайте, партия и дети. У того белье осталось чистым. Специальный был мужик!

Дванов представил себе этого специального большевика и сказал Никите:

— Скоро и вас расстреливать будут — совсем с одеждой и бельем. Мы с покойников не одеваемся."

Пис-с-сатели...

783. Примечание к № 771

Я... Библию заменил библиотекой.

И пытаюсь теперь из тысяч прочитанных книг сделать себе Книгу. Розанов сказал: "Ветхий завет — нескончаемость. Евангелие — тупик."

"Бесконечный тупик". Смешно. Не получится. Жизнь пропала.

ИНТЕРВЬЮ С ДМИТРИЕМ ГАЛКОВСКИМ

— Дмитрий Евгеньевич, первый вопрос: Вы есть? Я спрашиваю, потому что недавно была высказана мысль, кажется, на страницах "Независимой газеты", что Вас нет, что Галковский это "собирательный образ" вроде Кукрыниксов...

— Тогда уж — вроде Козьмы Пруtkова...

— Или генерала Бурбаки. Я по специальности логик, и мне ближе этот пример. Вы знаете, что группа французских математиков выбрала себе коллективный псевдоним по имени второстепенного французского генерала XIX века?

— Ну да, только тогда я генерал МВД. Какой-то критик сделал предположение, что я глава международной организации, женатый на дочери генерала МВД и живущий в Лос-Анджелесе.

— Вы имеете в виду статью Немзера? Но это он в виде иронии...

— Да я понимаю...

— А как, кстати, Вы отнеслись к этой статье? Он там на Вас прямо матом ругается.

— Но это ведь он в виде иронии... А если говорить более серьезно, мне кажется, что Немзер очень несчастен. Он всерьез поверил в советскую легенду о функциональной значимости человека. Сам человек, "по себе", не имеет права даже на элементарное существование. Важны и полезны функции: человек-слесарь, человек-врач, человек-чиновник. Но что такое в контексте подобного восприятия "литературный критик"? Это же не профессия. Это времяпровождение дилетанта. Добродушного и богатого человека, собирающего коллекцию саксонского фарфора. О фарфоре он написал любопытную монографию, да кому она нужна? И Немзер свое детское увлечение изящной словесностью пытается в собственных же глазах оправдать. Как? Он пытается убедить себя в том, что собирание фарфора есть вещь крайне необходимая и важная для миллионов людей. Он не бесполезный член общества, он приносит людям ПОЛЬЗУ. Есть "многомиллионная читающая аудитория", и есть писатели. Но аудитория сама по себе писателей не поймет. Для объяснения нужен полезный Немзер. Опровергая истину, хорошо известную еще в античности, — "не нужно быть Цезарем, чтобы понимать Цезаря", Немзер считает, что читатель нуждается в разжевывании и интерпретации литературных текстов, вполне Немзеру понятных, но читателями понимаемых неправильно. Пафос его статьи в том, что Галковского могут понять неправильно, что впечатление от его статьи будет неверным. Но впечатление не может быть неверным или верным — это впечатление. Отклик Немзера — это тоже впечатление, причем впечатление литературного поденщика.

— Вы отвергаете значение литературной критики?

— Критик какое-то подобие интереса у читателя может вызвать "комментариями", "дополнительной информацией". "Вот вы читали Пушкина, вам понравилось, а знаете, что это за человек был — его на дуэли убили". Но Немзер не обладает никакой информацией обо мне: о моих пристрастиях, личной жизни, биографии. поэтому желая все-таки оправдать свое существование, Немзер эти факты выдумывает, а поскольку получается совсем плоско, то в довершение всего он заявляет, что меня вообще нет.

— Что, насколько я вижу, неверно.

— А Вы не горячитесь. После этого интервью возможно скажут, что и Вас нет.

— Может быть, это связано с темой "лишнего человека" или темой двойничества, столь характерной для русской литературы?

— Ну да. Для советской интеллигенции я теневой двойник. Претендент на ЗАНЯТОЕ МЕСТО. Показательно, что после публикации письма к Шемякину, посвященного проблеме шестидесятничества, критик в "Московском комсомольце" возмущенно недоумевал: Почему Галковский поднимает этот вопрос? Ведь еще задолго до Галковского была проведена дискуссия, где все обговорили, обговорили "культурно", "чинчинарем". Это было гомерически смешно. Действительно, шестидесятнические боссы пригласили на такое обсуждение своих юных родственников, и те, стоя по струнке, почтительно "обсуждали" крестных отцов в стиле: "Спасибо товарищу Евтушенко за наше счастливое детство". И вот тема закрыта, мероприятие провели, отчитались, и вдруг появляется какой-то Галковский. Конечно, его нет. То есть, тут ситуация, которая в психоанализе называется КРИЗИСОМ ИДЕНТИЧНОСТИ. А это вещь серьезная, тут шутки в сторону.

— Но в этом есть и обратная сторона. Если кто-то считает Вас угрозой понятности и определенности своего существования, то кто-то хочет, наоборот, идентифицироваться, занять сходную позицию и решить свой кризис таким способом.

— Это сделать довольно трудно. Я последовательно отстаиваю принцип индивидуального существования, принцип "я", объединенного в КОРПОРАЦИЮ, а не безличного амебообразного "мы", заключенного в стальной панцирь ПАРТИИ, то есть "круговой поруки". Меня всегда забавлял стиль доверительной беседы советского человека. Недавно одна дама, видимо с филологическим образованием, написала по поводу моего творчества статью, заканчивающуюся обобщением, что "мы же все блевали в тамбуре". В "Пигмалионе" отец Элизы Дулиттл пришел к мистеру Хиггенсу продавать свою дочь за 86 рублей 46 копеек. Закурив сигару и закинув ногу на ногу, начал с вводного предложения: "Сэр, мы же с вами интеллигентные люди". Шутка Шоу вызвала взрыв хохота в зале. Сейчас приходит филолог и эстет и на страницах столичной газеты для интеллигентов начинает изображать из себя Хиггенса в гостях у лондонского мусорщика: "Слушай, старик, мы же все блевали в тамбуре". Не блевал я в тамбуре, я вообще не пью. И если и был мусорщиком, то не по своей воле, поэтому поддерживать мусорщицкие разговоры и фамильярности не намерен. Более того, приложу все усилия, чтобы сегодняшние "советские ученые" вернулись к родной метле. И там, пожалуйста, можете блевать в тамбуре и т.д. Вас за это хозяин будет бить палкой, вы униженно будете устраиваться на работу и снова блевать, снова получать палкой по голове —

так весело жизнь "маленького трудолюбивого народца" и пойдет дальше на обочине русской цивилизации.

— Вы говорите о статье Шамборант, тоже опубликованной в "Независимой газете". Мне показалось, что Шамборант написала о Вас в сочувственных тонах.

— Представьте себе: жил профессор — его ни за что ни про что выгнали из собственного дома, швырнули в тюрьму. Он через 20 лет вернулся и устроился дворником при своем доме. В доме живут дети и внуки его палачей. Палачи добрые. Дети палачей "дядю Колю" любят. Дома скучно: то дед пьяный матом ругается, Сталина защищает, то еще что. А "дядя Коля" интересный. То про греков чего-нибудь расскажет, то книжку интересную посоветует почитать. "Дядю Колю" в "истеблишмент" включают — как неопасного дурачка: "Да пусть живет. Вообще он сумасшедший и бывший каторжник, но мы добрые. В любой культуре должен быть АНДЕРГРАУНД". То, что меня советская интеллигенция определила как "представителя андерграунда", это ЦИНИЗМ. Почему "Бесконечный тупик" назвали проявлением "андерграунда"? Ведь я посвятил свое произведение отцу. Если брать этический смысл "Бесконечного тупика", то это возвращение одинокого и брошенного в мир сознания к отцу. Разве "Возвращение блудного сына" — тема, решаемая стилем "Герники"? Внешняя хаотичность формы "Тупика" есть на самом деле издевательство над хаосом, трагическое преодоление бесформенности. Эта книга модернистская только в том смысле, что я издеваюсь над модернизмом, высмеиваю модернизм. Что в основе мировоззрения автора? "Верую, потому что это абсурдно". Но это же преодоление абсурда: любовь к отцу, который этой любви не достоин, но любовь, возвращающая достоинство любящей личности. Меня назвали разрушителем идеалов, тогда как в книге все идеалы остаются неизблемыми, более того, они последовательно освобождаются от искажений. И в личной жизни, и это могут подтвердить люди со мной общающиеся, а таких много, я совершенно не андерграундный человек. Никто никогда не видел меня пьяным, кричащим, развратничающим. Я не люблю андерграунд. Он лжет в главном. В главном не надо лгать. Не надо "экспериментировать" над своей ЖИЗНЬЮ. Ведь эксперимент это что-то маленькое; локальное. А жизнь у человека одна.

— Может быть, Вы так не любите андерграунд, потому что чувствуете некоторую склонность к нему и прежде всего сами себя убеждаете в обратном. Вы мне представляетесь по своему темпераменту спорщиком, полемистом. Вам свойственен провокационный тип мышления.

— Понимаете, я все-таки философ. Не в том смысле, в каком философ считает себя любой советский человек, выпра-

вивший соответствующую справку, а у меня ТИП ЛИЧНОСТИ философа. А какой в философии может быть андерграунд? Каждый, кто всерьез занимался изучением философии, знает, насколько слаб и наивен человеческий разум, как трудно сохранить ясность и последовательность изложения мысли хотя бы на двух-трех страницах. И у величайших мыслителей мира при предельной интеллектуальной концентрации, при духовном сосредоточении мысль вихляет и ветвится, растекается по мировому древу суетливой белкой. Даже при трезвом образе жизни, при безусловной и почти абсолютной интеллектуальной честности человек-мыслитель просто пьян. Куда уж тут специально-то еще шататься, кокетничать. Надо потихонечку, по-стеночке, осторожно...

— Да, переспорить Вас трудно. Давайте переменим тему разговора. Вам не кажется, что Ваши нашумевшие статьи в "Независимой газете" — "Андерграунд", "Разбитый компас указывает путь" — несколько, ну что ли, "желтоваты"?

— Ну, конечно же. Это же газетные фельетоны, со всеми вытекающими отсюда последствиями: безапелляционностью, грубостью, переходом на личности. Собственно, я возрождаю забытый жанр. Между фельетоном обычным и фельетоном советским есть огромная разница. Советский фельетон это "переход на личности" ГОСУДАРСТВА. Государство орало человеку в барабанную перепонку, и "фельетонируемый", обливаясь кровью, падал на пол. Вы знаете, что в журналистике 30-50-х годов журналист вообще называл себя в третьем лице: "Мы встретились с бойцами N-ской части". На "я" перешли только после смерти Сталина. Но это "я" означало "я, член КПСС", "я, член редакции", то есть "я" как часть целого, которое не может ошибаться. Мне кажется, что даже "прогрессивные журналисты" у нас до сих пор не понимают, что они частные люди и их мнение — это мнение частных людей. Я всегда подчеркиваю, что мое мнение есть мнение частного человека и, как правило, тоже по поводу частных людей. Ведь всегда было так — нападали на частное лицо коллективом, и "частное лицо" униженно ползало на коленях, сходило с ума, вешалось, прошмыгивало вдоль стены под плевки. Мнение же этой частной жертвы было не интересно никому. Его просто не слушали. А я хочу приучить читателя к выслушиванию именно частного, ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО мнения. Когда возникнет, наконец, чАстное мнение, тогда будет и чЕстное мнение. Честное выражение своей личной позиции частного человека. Только из совокупности этих частных мнений может возникнуть мнение общественное, которого так нам всем не хватает, из-за отсутствия которого нет в стране оппозиции власти, нет. ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Я говорю от своего имени, я говорю по-человечески — это нор-

мальный русский язык нормального человека, а не канцелярский бред. Может быть, весь эффект в этом — через 75 лет это показалось настолько необычно! И другие, полемизируя со мной, волей-неволей тоже встают на человеческую точку зрения. И по этим искаженным и визжащим лицам видно, что вот он — момент истины. До этого они притворялись. Сейчас — искренни. Что — ЛУЧШЕ.

— В статье "Андерграунд" Вы резко полемизируете с Окуджавой и Золотусским. Это "собираательные образы" шестидесятников или у Вас к ним личные претензии?

— К Окуджаве нет. Для меня Окуджава — молодой застенчивый паренек в бедном, но аккуратном костюмчике, паренек, которого ОБИДЕЛИ (история с дебютом). Паренек, у которого нет голоса и почти нет слуха, но который берет восточной задушевностью, восточным инфантилизмом. И это на фоне металлического хамства сталинских маршей было заметно, было событием, было с благодарностью услышано интеллигенцией... Но когда эта стилистика остается неизменной и в 40 и 60 лет, то тут свое "НЕ ВЕРЮ" скажет не только Станиславский, но и худрук из сельского клуба. Не верю я, что шестидесятнический "авторитет", друг министров, может искренне проецировать на себя и свое окружение образ лирического героя далекой юности. Собственно, это единственное обвинение, единственная претензия. Пел негритянский паренек жалобные спиричуэлс, прошло 40 лет, стал миллионером, другом президентов. К нему пришел за помощью другой паренек, а он спел ему жалобную песенку и выставил на улицу.

— "Другой паренек" это Галковский что ли?

— Да кто угодно. "Время разбрасывать камни и время собирать". Вот Золотусский. История с ним весьма показательна, и о ней стоит рассказать поподробнее. Золотусский меня разыскал в 1991 году, пригласил к себе в кабинет, чуть не плача полез с фамильярностями, рассказывал, как его били в детском доме. Опубликовал отрывок из "Бесконечного тупика" в "Литературной газете"... И потом поместил гнусную заметку Зиновия Паперного, где ни много ни мало я обвинялся в ГОМОСЕКСУАЛИЗМЕ. В своей книге я сказал, что коммунизм построен на игнорировании естественного чувства собственности, которое в достаточно развитой форме присуще даже животным. Попробуйте у собаки отнять кость — эта кость ЕЕ, и она вас покусает. В этом смысле советское общество, построенное на идее отрицания и высмеивания самого понятия частной собственности, есть общество извращенное, что-то вроде Союза Советских Гомосексуалистических Республик. Из этого Зиновий Паперный, которому показалось, что Галковский вырывает у него родного Чехова, которого он

глодал всю жизнь, сделал блестящий вывод: "Сам такой". Парный тут, конечно, не при чем. В 1952 году он бился в истерике у входа в Кремль: "Пустите меня к товарищу Сталину! Товарищ Сталин должен жить вечно!! Я должен стать личным врачом товарища Сталина!!!" Его с трудом скрутили четыре охранника, но дали не срок, а таблетки: "Всем бы такими космополитами быть". С тех пор Паперному доверили курирование русской литературы — что он с успехом и делал на протяжении сорока лет. Дело не в Паперном — это человек с ограниченной вменяемостью, и все это знают. Со стороны Золотусского тут была расчетливая литературная подлость. Блатари собрались на толковище и решили Галковского "опустить". Опустить подло, не своими руками. Золотусский написал вводную статью, "о некоторых очернителях, огульно охаивающих наше наследие", где о Галковском конкретно ничего не говорилось, а рядом дал "конкретику" Паперного, с которого взятки гладки. Умный Золотусский все рассчитал правильно. Но я спрошу его: Вы же литератор, знаете, что такое ПЕРВАЯ РЕЦЕНЗИЯ. В круг печатающихся авторов попасть в СССР можно было только по чьей-либо рекомендации. Первая рецензия решала очень многое, так сказать вводила автора в "номенклатурный список". Потом можно было писать все что угодно, но первый резко отрицательный отклик закрывал дорогу к публикациям на многие годы. (Напомню, дело было еще до августа 1991-го.) Зачем Вам понадобилось издеваться над беззащитным человеком? Я живу с мамой в небольшой квартирке. Она всю жизнь переживала, что я неудачник. На работе женщины ее возраста хвастались: у одной сын инженер, работает по контракту в Бангладеш, у другой — уже зам. начальника автобазы, у третьей — дом двухэтажный построил. И спрашивали: "А твой-то что, говорила, что ученым станет?" И мать краснела, выдумывала: "Он в аспирантуре учится". Выдумывала, чтобы не узнали правду: что сын-то ее никчемный неудачник, в 30 лет — бесполезный приживал при матери, всю жизнь работающей на двух работах без отпусков. И вдруг опубликовали — сразу в нескольких журналах и газетах. Она побежала на работу показывать. Для нее праздник. Она простая женщина. И вот ей принесли хохоча статью Золотусского — Паперного: "Валь, посмотри, тут про твоего Димку пишут". Мне-то что, я философ и ко всему этому советскому безобразию отношусь по-философски. А вот видеть СЛЕЗЫ МАТЕРИ как?

— Вы знаете, в журналистике, как и в любом другом виде деятельности, есть своя профессиональная этика. Если литератор делает свою карьеру на разоблачении сексуальных аномалий и скрывааемых родственников еврейского происхождения, то это уже все, на такого человека рукой ма-

шут. Я поражен, что уважаемый литератор опустился до такого уровня.

— А я считаю, что не опустился, а поднялся. Это для него звездный час. Ведь главное в том, что это ПЕРВАЯ РЕЦЕНЗИЯ на "Бесконечный тупик", и она останется таковой навсегда. Это идеальный случай для литературного критика — "открыть новое имя". Раз в жизни бывает. И Золотусский "открыл". Это вершина, "прыжок с шестом". До этого он всю жизнь примеривался, переминался с ноги на ногу, прикидывал, как прыгнуть. И наконец — прыгнул. Таким и войдет в историю — выхваченный фотовспышкой злополучной публикации в "Литературной газете". Блаженно улыбающимся, в семейных трусах парящим над взятой планкой: "Пидарасы Чехова обижают".

— О причинах ненависти к Вам Золотусского, и, как мне кажется, не его одного, Вы говорили выше. Ваше превалярующее чувство к этим людям? Тоже ненависть?

— Люди как люди. Обычные. Талант всегда унижает. За что любить Галковского? Человек на "отлично" писал школьные сочинения, закончил литинститут с красным дипломом, стал зав. отделом, а потом замом главного редактора крупного столичного журнала. Нарботал систему связей, добился выхода первой книжки, добротной и скромной. Книга получила несколько положительных рецензий от уважаемых людей. Вот уже упомянули раз в "обойме". И тут в редакцию пришел Галковский — близорукий толстяк в нелепом френче — и все бросились к нему. Обидно? — Конечно. Говорю без тени иронии. Ведь Галковский во все эти игры не играл вообще. И вдруг, заглянув на ярмарку тщеславия, купил все. Ярмарка закрылась. Гад. За что меня любить-то? И не любил никто никогда. И правильно — я с уважением отношусь к чужой жизненной ситуации. Но и вы отнеситесь к моей ситуации с уважением. Ну что тут поделаешь — люди разные. Один быка кулаком убивает, другой консервную банку открыть не может. Природа любит шутить. Не Галковский это придумал. Простите мне мой ум, мой талант. Мне ничего не нужно от жизни. Я просто хочу издавать свои книги. Разве это так много? ПРОСТИТЕ, ЧТО Я ЕСТЬ. На Западе, таких как я, великодушно прощают. Им дают деньги (немного) и их изолируют от разъяренной толпы трудолюбивых посредственностей защитным экраном популярности и авторитета. Почему я не могу издать свою книгу? В значительной степени просто потому, что я должен сотрудничать с людьми, которые МЕНЯ НЕНАВИДЯТ. Ведь я веду переговоры об издании с редакторами, а это литераторы-неудачники, от которых зависит мое материальное благополучие и которые сами материально от издания моей книги совершенно не зависят. Поло-

жительный результат тут возможен только при наличии сильной и постоянной протекции. Которой у меня нет. О чем я писал в письме Шемякину и что не поняли демонстративно: корпоративность. Галковский пишет "не то", но пишет хорошо. Надо помочь. В конце концов, если уж на то пошло, это благородный способ устранения сильного конкурента. Превратить из конкурента в союзника. По крайней мере, вернуть ему в голову предохранитель благодарности. По-моему, это должно быть понятно даже пастуху из Горной Шории. Но этого великодушия, доброты взрослого человека я не увидел ни у кого из "шестидесятников". Исключение, подтверждающее правило, — Кожин.

— *Насколько я знаю, Вадим Кожин впервые упомянул о Вас в печати.*

— Да, летом 90-го года. И он, несмотря на то, что по своим взглядам, может быть, расходился со мной даже больше, чем Золотусский, — помог. По крайней мере попытался это сделать. И совершенно бескорыстно — ему ничего не нужно было от меня.

— *В связи со сказанным Вами можно провокационный вопрос?*

— Как говорят пролетарии, "обязательно".

— *Вы счастливый человек? Я спрашиваю вот почему. Примерно год назад, когда Ваше имя еще не было так известно, я беседовал с работником одного из издательств. Речь зашла о Вас, и он сказал: "А, Галковский, это тот, который все время поет". Вы действительно любите "ныть". Это что, амплу, литературная маска или может быть пародирование одного из образов русской литературы XIX века?*

— Я не считаю Ваш вопрос провокационным и отвечу Вам просто — лично я человек глубоко несчастный. Удачен и "преуспевающий" мой способ интеллектуального и эмоционального воздействия на читателей. Но жизнь моя — жизнь неудачника. Даже еще грустнее: жизнь моя — это жизнь человека счастливого, человека которому от природы было дано многое, но который всю свою жизнь употребил на ерунду.

— *Ваша последняя статья "Разбитый компас указывает путь" посвящена советской философии. Вы окончили философский факультет МГУ. Что Вы можете сказать о годах, проведенных в стенах университета?*

— Понимаете, я ведь был вундеркиндом. Вундеркиндом, которого остервеневшие мещане с семи лет били скрипкой по голове. В пролетарской школе на окраине Москвы я десять лет проползал под партами, мне сломали руку, отбили почку. По окончании 10-го класса мне торжественно вручили троечный аттестат и комсомольскую путевку на завод (хотя, а

точнее благодаря тому, что я не был комсомольцем). И вот я, отработав три года рабочим на ЗиЛе, поступил по льготному конкурсу (как "пролетарий") в университет. Радостно билось сердце — я стоял перед огромным университетским зданием: наступал прохладный августовский вечер, загорались огни. Было ощущение начала новой жизни. Я думал — вот ЛЮДИ. Здесь не будет хамства, и моя жизнь, бессмысленная и никому не нужная, наконец получит достоинство, стиль... На первой лекции я увидел на кафедре нашего бригадира. Он был почему-то почти трезвый, не ругался матом и все время улыбался. Свою лекцию (а это была вступительная лекция — напутствие молодым студентам от "профессорско-преподавательского состава") он начал так: "Смотрю я, значит, на вас, ребятки, ничего вы еще в жизни не знаете. Вы, значит, сейчас на кого похожи — знаете, вот есть камушки, они все разные: у одного камушка один краешек остренький, у другого — другой. А вот галька на пляже красивая, гладкая. Я в этом году, значит, был в Алуште и специально привез несколько камушков с собой — все они похожи друг на друга и глаз радуют. Вот и вы такими, значит, должны стать через пять лет..." Сначала я успокаивал себя, что это не все, что есть другое. Но месяца через два понял — другого не будет. "Бригадир" удивительно точно передал общий уровень. Умные люди на факультете были — но как исключение — не "благодаря", а "несмотря на". Не было главного, что и делает университет университетом — среды. Я как-то пытался в университете притворяться дебилом, но не очень успешно. Во время защиты диплома украинец-преподаватель, некто Густырь, стал надо мной публично издеваться. Мне сказали, что стены философского факультета со дня его основания не видели такого ничтожества. Это сказали мне БУКВАЛЬНО, В ГЛАЗА. Вместо аспирантуры — я был обречен на жизнь ничтожного приживала, "тунеядца". За что мне такое?

— Я знаю Густыря, он после начала перестройки пошел работать в Моссовет, в комиссию по приватизации жилья.

— Да бог с ним, пускай занимается хоть усыплением животных в московском зоопарке... Написал я книгу. Ее отрывки опубликовали в двух десятках изданий. Что в результате? Опять ругань, сбор денег и т.д. Злоба, ненависть. Вот — успех в России. Мне кажется, что духовной вершины своей жизни я достиг в 20 — 25 лет — это было предельное сосредоточение. Потом произошла расконцентрация. Сейчас я живу по инерции. Последние шесть лет вообще прошли позорно и бездарно. "Публикую книгу". Шесть лет! Мои силы не бесконечны. Я работаю по 16 часов в сутки без выходных и отпусков всю жизнь. Но я не могу делать все. И писать книги, и зарабатывать деньги для их издания, и издавать, и распространять тираж. В своей области, в области магии слов, я силен,

и реальность мне подчиняется. Но в "практической жизни" я беспомощен. Когда я попытался сам собрать деньги на издание "Бесконечного тупика", то споткнулся о первый же камень. Поверил какому-то негодяю, генеральному директору инновационного агентства "Бибигон" Александру Морозову. Он сагитировал дать накопленные средства в оборот, чтобы спасти от инфляции. И своровал. Я к нему прихожу, говорю: верни хотя бы часть. А он хохочет: "А чего ты мне сделаешь, дурак? Расписки-то у тебя нет".

— *Вы называли Россию страной неудачников?*

— Не Россию, а СССР. Хотя, не знаю, может быть это характер русского человека. Американцы любят смеяться и "не подавать вида". Русские "вид подавать" очень любят. Обратите внимание на дневники русских людей даже начала XX века — везде публичный плач по самым ничтожным поводам. Я не говорю, что это хорошо. Просто я думаю, что грустный, несчастный американец, "американец-страдалец" невыносим. Веселый русский, русский оптимист — чудовищен. Я почему-то видя веселого русского вспоминаю Ильича с его идиотским хохотом. Как известно, он мог хохотать по 20 минут кряду, до истерики, и хохотал часто. Вообще жизнь человека трагична. У нас за годы советской власти взяли гнусную моду не говорить молодежи о страданиях и смерти, а давать ей в руки барабан и отправлять на народные стройки. Человеческого слова не было. Никто 12 — 16-летнему человеку не говорил ПО-ЛЮДСКИ: "Ты смертен. Ты родился в грязи маленьким орущим комочком и в такой же грязи таким же голым и несчастным ты из этого мира уйдешь. ПОДУМАЙ НАД ЭТИМ". Я был неглупым, много читал, но мне никто никогда не говорил про смерть. И когда я в 15 — 16 лет столкнулся лицом со смертью, это было шоком, крахом самого взгляда на мир. Я не знал, не только "как быть", но и "как себя вести". На Западе существует мощная культура "поведения", причем поведения "белого человека". Русские — варвары и притворяться веселыми не могут. Искусственное веселье русского — это "купить" и "нажраться". Упал без сознания в лужу — вот и все веселье. Русские веселые песни — глупы и похабны. Русские грустные песни — величественны и красивы... А вообще у философа, конечно, естественных чувств уже быть не может.

— *Напомню, что в конце "Андерграунда" Вы обещали извести своих литературных противников насмерть. Что, пока получается наоборот?*

— Ну, вычеркнуть меня из литературы довольно сложно. По двум причинам. Во-первых, я сам прошел жесточайший кризис идентичности и пережил его успешно. Я решил те проблемы, которые поставила передо мной судьба. Розанов

однажды сказал примерно следующее: "Киреевские, Хомяков, Аксаковы были при замечательной красоте души и глубине мысли как-то бездеятельны, не живы. Все — "милые рассуждающие Обломовы". Все с чудовищной головой и без ног. И их, бедных, затоптал безмозглый Чернышевский, потому что у него было ПЯТЬ ног. Но у меня, который полюбил этих тихих и милых славянофилов, ног тоже пять". (Я бы добавил — "и пять голов"). Так вот, у Галковского сколько голов не знаю, думаю две-три точно есть, а вот с ногами из-за советской гравитации совсем хорошо. Их у меня, я так думаю, штук пятьдесят. Поэтому когда это "стадо" по советской культурочке пробежит своими ноженьками, не останется ничего. Вообще ничего, вот увидите.

— Это во-вторых?

— Нет, это во-первых. А во-вторых, я действую сознательно. Мои действия — это действия философа в стране с низким развитием интеллектуальной культуры, но с гипертрофированным развитием, скажем так, "средств передачи эмоций". Я для себя делаю умозаключения, но доношу их до читательской аудитории на другом языке — на языке русской литературы. Иными словами, у меня есть сверхзадача, и я вижу ОБЩИЙ ПЛАН. Мои оппоненты действуют на уровне элементарных эмоций и допускают постоянные ошибки. Даже более того, они осознают, что эти ошибки допускают, но не могут их не совершать. Критик Архангельский недавно сказал, что меня замалчивать надо. Верно. Но одновременно это же является ХУДШЕЙ из возможных ошибок, и любой критик это знает. Это и есть выигрыш. В социальной жизни выигрывает не тот, кому "повезло", а тот, кто умеет создавать БЕСПРОИГРЫШНЫЕ СИТУАЦИИ, то есть ситуации, когда любое действие противника, а равно и его бездействие, все равно приносит пользу. Тогда автор ситуации просто совпадает с реальностью, превращается в "природу". А какому чудаку придет в голову спорить с природой?

— Вы упомянули выше о френче. Вас уже так и называют "человек в коричневом френче". Почему Вы его носите?

— Во-первых, у меня два френча. Коричневый — это повседневный. А есть еще парадный — зеленый. А почему ношу... вы знаете, я всегда очень уважительно относился к собственному подсознанию — с природой спорить нельзя. Однажды оно пришло ко мне и сказало: "Сталиным хочу быть". Я не закричал, не затопал ногами, а ласково усадил подсознание в кресло, поговорил, угостил чайком. "Сталиным не могу, а френч — пожалуйста". На этом пока и договорились. Я считаю, что это не худший компромисс.

— Да, могло быть гораздо хуже.

— Я тоже так считаю.

— Как Вы относитесь к творчеству Бродского?

— Почему Вы задали этот вопрос?

— Мне кажется, он не вписывается в изложенную в "Андерграунде" концепцию местечково-пролетарского происхождения советской интеллигенции...

— Я не излагаю свои концепции в газетных фельетонах, и, кроме того, происхождение советской интеллигенции меня волнует мало.

— Вы ушли от вопроса о Бродском.

— Бродский... Понимаете, поэзия избыточна. Невозможно представить себе человека, "залпом" прочитавшего "Евгения Онегина". Поэзия густа, нужно время для "переваривания". Проза пресна, и ее всегда будет мало. За три дня можно прочесть и пережить "Войну и мир". Собственно, русская поэзия в XIX веке представлена всего несколькими именами. Но ее кажется вполне достаточно. Пушкин, Лермонтов. Уже так много. А еще Тютчев, Фет, Баратынский... От избыточности серебряного века голова кружится: и Анненский, и Блок, и Вл. Соловьев. Дальше идет пресыщение. Мандельштам уже думаешь, читать или не читать. Учитывая трагическую судьбу, запретность, огромные (совершенно, кстати, не относящиеся к делу) комментарии парижского 4-томника, решаешь — читать. Парижская школа поэтов 30-х уже кажется экзотической. Дальше — невозможно. Поэзия себя исчерпала. Бродский талантливый человек, человек тонко чувствующий, но читать его, ей-Богу, не хочется. Поэтический период литературы давно завершился. Читать современную поэзию неприлично. Собственно, и проза исчерпала себя, но там огромное количество пограничных жанров. Я с удовольствием прочел его статьи, предисловие к 5-томнику Цветаевой. Мне близка его социальная драма, драма белого человека в советском "Ленинграде". Когда я читал в "Огоньке" стенограмму суда над Бродским, то был поражен точным воспроизводством всего набора советской лексики, в котором я жил: "огульно охаивает", "наш гулена", "справка где?".

— Вы сказали об исчерпании прозы...

— Да. По моему глубокому убеждению, литература как форма овладения реальностью исчерпала себя даже в России — самой литературной стране мира. Собственно, двусмысленность "Бесконечного тупика" только в одном — это ХУДОЖЕСТВЕННОЕ произведение написал НЕ ПИСАТЕЛЬ и написал сознательно, чтобы поняли ВНЕЛИТЕРАТУРНОЕ содержание, для которого нет в русском языке адекватной формы выражения. Русская литература кончилась.

— Дмитрий Евгеньевич, но даже если принять вашу точку зрения, мы убираем таким образом последнюю опору

русской цивилизации. Ругаем, что у табуретки три ноги и вывинчиваем оставшиеся. Позиция неудобная.

— Вам никогда не приходило в голову, что цивилизация, построенная на художественной литературе, порочна. Истерична, взбалмошна, лжива. Наконец — чудовищно глупа. Это вообще. Но кроме того и сама русская литература как таковая имеет черты отвратительные. Например, русская литература **НЕПРИЯТНА**. Вслушайтесь в это словосочетание "Неприятная ИЗЯЩНАЯ словесность". Русская изящная словесность уныла и жестока. Как тенденция это есть уже в Пушкине. Возьмите сюжет "Евгения Онегина". Она Его любит, Он Ее — нет. Он просто так убивает Ленского. Потом Он влюбляется, Она Его любит тоже, зритель поудобнее усаживается в кресле... и тут Татьяна заявляет: "А я не буду". И несчастный читатель плачет от разочарования. Вместо "Мишки на севере" пустой фантик. При всех громадных достоинствах поэмы ее сюжет — неприятен. Сложная, полная аллюзий, реминисценций и иронии поэтическая форма заканчивается холодным и упрямым "нет". По сути это холодное и расчетливое интеллектуальное кокетство. Сравните удивительно похожего по форме байроновского "Дон-Жуана" с его богатейшей и прихотливейшей сюжетной линией и "Евгения Онегина", и вам станет не по себе от пушкинской педантичной скупости и жестокости. Это своеобразная русская эстетика. Все должно оканчиваться неудачей. Даже какие-нибудь юмористические и до звона "совковые" "Двенадцать стульев". Шутки, хохот, а в конце — бритвой по горлу и все бриллианты советской власти. "Реализм". Когда трагедия заканчивается смертью — это трагедия; когда смертью заканчивается драма или водеvil — это садизм, издевательство над читателем или зрителем. Заплатили за одно, а вместо "шутки в пяти действиях" получили, хе-хе, совсем другое. Как бы русский писатель написал "Три мушкетера"? Уж конечно бы, вся великолепная четверка утонула у него, возвращаясь из Англии во Францию. Вместе с подвесками. Последняя строка романа: "Взошло солнце. На подернутой рябью серой воде Ла-Манша мерно покачивая перьями плыли четыре шляпы." Что-то уж очень критический реализм получается. "Тургенев волшебник слова, эстет, поэтическая проза". А от этой поэтической прозы Дракула расплатится. Сюжет "Отцов и детей" я вам напомню. Молодой дурачок хотел море зажечь, да однажды заразился трупным ядом и помер. А на могиле лопухи выросли. Ну, как сюжетец? Умно? А с другой стороны, Тургенев-то и угадал тенденцию русской истории, то есть пошлая выдумка обернулась "предвосхищением" и "символом". Поэтому-то Бальзак и Диккенс по сравнению с Достоевским ничтожества, забавляющие читающую публику многотомными мелодрами.

— *Вы подтверждаете мою мысль.*

— Ничего подобного. Стоит ли молодому человеку строить свое образование на изучении русской литературы? Я сам воспитался на русской литературе, приходил с завода и читал Достоевского. Но потом я познакомился с философией, диалогами Платона. Меня поразила их, по сравнению с русской литературой, простота, ясность и БЛАГОРОДСТВО. Трагедия, но трагедия высокая. Не "умер от заражения крови и лопухи выросли", и не "старушку убил, да подлой роли не выдержал", а осуждение и смерть Сократа. Проще, яснее, наконец — умнее. Нельзя быть образованным русским, не читая Достоевского и Гоголя. Но это не вообще, а из-за особенностей русской цивилизации, ее исключительно эстетического, "литературного" характера. Вообще же это ошибка и слабость. Сейчас говорят о постмодернизме. Никакого постмодернизма. Я не понимаю этого слова. Что это "посленовейшая литература" что ли? Просто после определенного этапа развития культуры литература становится слишком примитивным орудием для выражения жизни человеческого "я". Все уходит в науку, философию. Даже беллетристика уходит куда-то в боковые виды искусства (кинематограф, в XXI веке, возможно, в электронику). Русским это кажется разрушением устоев из-за их монокультурной цивилизации. Но ничего страшного здесь нет. В средние века литературы практически не было, но было развито богословие, абстрактная философия (схоластика), архитектура. И ничего, "хватало". Россия устала от литературного подхода к жизни, да и после советской литературы подло это. Показательна история с Солженицыным. Во всех его мыслях пафос правды. Но он выбрал для выражения этого пафоса старый и уже давно дискредитированный миф русской художественной литературы. И все художественные страницы его "хауптверка" до слез ложны. Или нет, не то слово — все верно, но ФАЛЬШИВО. Сама форма борьбы с советским миром у Солженицына чисто советская. "Широкое историческое полотно, правдиво отображающее..."

— *Вы считаете, философия придет на смену?*

— Я считаю, что на смену придет здравый смысл. Человек живой бесконечно интереснее и подлиннее самого великого литературного произведения. Русские обтерпелись, принялись, но вы почитайте ахинею русской литературной критики свежим взглядом. Жизнь огромной страны заменена разбором чувств и поступков литературных персонажей: "драма Печорина"; "трагедия Онегина"; "кто лучше — Манилов или Чичиков?"; "Алеша Карамазов с этим бы не согласился". Взрослые люди, а ДУРЬЮ МАЮТСЯ. В XIX это безумие хоть завуалированной антигосударственной пропагандой можно было объяснить. Классическая русская литература имеет огромное ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ значение. Не как способ мыш-

ления, а как способ выражения мыслей, даже обозначения мыслей еще не существующих, но гениально стилизованных. Как бы имеющих место с опережением естественного мыслительного процесса нации на целое поколение. XIX век сформировал удивительное явление — примитивную страну с позорными провалами в культуре, но обладающую совершенным языком. На русский язык невозможно переводить Гегеля или Шеллинга, но любого западного писателя, в том числе и автора философской прозы, можно перевести совершенно адекватно. И наоборот, в мире существует всего пять-шесть языков, на которые можно без понижения уровня перевести Достоевского или Набокова. С точки зрения формы золотой век литературы, конечно, останется навсегда. Повороты мысли, ирония и сарказм, стиль — да. Постановка вечных вопросов, интуитивное выражение реальности — тоже да. Но все эти невыносимые "собираемые образы", интеллектуальные упражнения, в стиле "что бы сказал Печорин, если бы Дмитрий Карамазов избил палкой под пьяную руку Акакия Акакиевича", или монография: "Три судьбы: Поприщин, Николай I и Катюша Маслова"... Люди-то не дураки. То есть русские дураки, но все-таки битые — 60 миллионов в XX веке погибло. Хватит, чтобы догадаться агитационную галиматью литературных критиков швырнуть в печь.

— *Дмитрий Евгеньевич, последний и короткий вопрос: над чем Вы сейчас работаете?*

— Над собой.

Интервью вел Андрей Хлус

Сергей Юрский

О СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ

Мысли этой зимы

В феврале этого года Сергей Юрский, будучи в Женеве, выступил на многолюдном собрании женевского Русского Кружка, организованного при Женевском университете профессором Жоржем Нива, членом редколлегии "Континента". Юрский читал стихи, рассказывал о своей работе, размышлял о современном театре, и эти размышления нашего замечательного артиста и режиссера, показались мне, находившемуся в это время тоже в Женеве и присутствовавшему на вечере Юрского, настолько интересными, существенными, затрагивающими самую суть современной нашей культурной ситуации, что по возвращении в Москву я уговорил его разрешить нам воспользоваться магнитофонной записью и опубликовать в журнале ту часть его беседы, которая была отдана современному театру. К этому тексту, сохраняющему все особенности и стилистику той живой беседы, которая состоялась несколько месяцев назад в одной из самых просторных аудиторий старинного здания Женевского университета в парке Bastions, мы присоединяем еще несколько страниц, обращенных Сергеем Юрским к молодым и посвященным одному из самых популярных артистов предыдущих десятилетий. Страницы эти, нам кажется, хорошо дополняют и развивают тему, поднятую им в его выступлении в Женеве.

Игорь Виноградов

Я выбрал темой сегодняшнего нашего общения — современность.

Я очень много занимался и продолжаю заниматься классикой. Я пытаюсь интересоваться теорией театра и ее применением и думаю, что современность театра должна представлять наибольший интерес.

Рассказ о театре — это невольно рассказ об общественном сознании, о переменах в этике и эстетике, о свободе слова и цензуре, о вкусах и власти. Потому что театр — как ни одно другое учреждение — похож на государство. В нем имеется некое правление. Будь то диктатура, если это сильный режиссер, как это было у нас в Большом Драматическом театре при Товстоногове, будь то демократия, почти всегда мнимая, как и всякая демократия, как, например, в том театре, где я работаю сейчас, в театре имени Моссовета. Имеются свои священники — это главные актеры, имеется свой штат чиновников, имеется сфера обслуживания и, наконец, имеется народ, от которого в конечном счете мы все зависим. И этот народ, как ни в одном другом учреждении, — выявлен: это зрители, которые, с одной стороны, подчинены, им место — всего-навсего сидеть в зале и смотреть, что покажут. С другой же стороны, они могут и взбунтоваться очень легко — просто перестать ходить, проголосовать, как говорится, "ногами"; они могут прийти, а могут уйти и не прийти больше, поощрить театр — или перестать его поощрять, и это одна из главных проблем. Словом, в театре существует все, что существует в государстве: и своя идеология — либо правильно выбранная и потому поддерживаемая, или неправильно выбранная — и тогда кризис; и своя эстетика, своя философия — в каждом театре своя. Поэтому о театре, мне кажется, всегда интересно говорить и людям, не причастным к театру. И именно так мы его рассмотрим.

В 1991-м году я работал в Париже в театре Бобиньи и впервые столь долго отсутствовал и в своем городе (а живу я теперь в Москве), и в стране.

За пять месяцев погружения во франкоязычную среду, в великую, но совершенно отличающуюся от нашей традицию французского театра я острее, чем когда-либо в жизни, ощутил, что у меня есть школа, что — так или иначе — мы, актеры России, обучены особым образом. У нас свое особенное понимание технологии театра, смысла театра, его цели. У нас особые, выработанные двумя без малого столетиями отношения со зрителями, и сами зрители особые. Все это не то чтобы лучше, чем везде, а — иначе.

Важно подчеркнуть: работая во Франции, я осознал и оценил то, что оставил на Родине. Не подумайте — не как идеал!

Скорее наоборот, — осознал, как мало доверяем мы своему пути, как скверно, лениво служим нашему делу, как плохо изучаем нашу теорию. А изучать есть что — золотой клад.

Когда я вернулся в Россию, я застал, может быть, самую критическую точку в жизни театра за всю мою жизнь.

Мы избалованны — мы, артисты больших московских, ленинградских, ныне Санкт-Петербургских театров. Я никогда за первые двадцать лет своей жизни в театре не видел ни одного свободного места. Точно так же было и потом, когда я работал в Москве в театре Моссовета: театр всегда был полон. Эта традиция вообще давно уже присуща хорошим русским театрам. Хорошие русские театры — а их было много всегда и в столицах, и в провинции — тоже не знали этой проблемы.

И вот случилось что-то непонятное: перестройка, свобода, открывшиеся изумительные возможности ставить все, ставить так, как хотим — все это очень быстро, за несколько лет, привело к тому, что театры потеряли зрителя почти полностью. Катастрофа казалась неминуемой — это была весна 91-го года. Некоторые театры (очень многие театры!) прекратили сезоны и сдали свои помещения для проведения конкурсов красоты, биржевых операций — для любых мероприятий, которые были более популярны. Выступления наших экономистов собирали громадные аудитории, а театры не могли собрать зрителя.

Этот период длился все лето 91-го, особенно осень 91-го — и тогда действительно казалось, что все: Россия потеряла театр! А вы — люди либо русские, либо в прошлом даже советские, либо люди, причастные к русской культуре, — вы все наверняка знаете и чувствуете, что театр для России — это нечто другое, чем театр, скажем, даже для тех стран, где он очень хорошо развит. Это что-то большее, потеря театра не может не стать у нас потерей какой-то части народной души. А так как душа наша за последние 8 лет очень ослабла, сморщилась, скукожилась и уже потеряла много своих частей, то потеря еще и этой части могла бы стать настоящей катастрофой...

Что случилось через примерно восемь месяцев? Тс есть зимой, в феврале 92-го года, год назад?

Я не знаю — что. Цены выросли чудовищно, в том числе и на театральные билеты. Чтобы поехать теперь на такси москвичу и ленинградцу, нужно быть очень богатым человеком. Города гигантские, транспорт ходит плохо, да и транспорт городской стоит дорого. В городе преступность, опасно ходить по улицам.

Но вдруг мы стали замечать, что зритель появился опять...

У меня были гастроли в Израиле. Я собирался дать несколько концертов, а мне звонили организаторы моих концер-

тов и причитали, что я не должен рассчитывать на успех, не просил бы много денег, ведь так мало зрителей, никто не придет, скорее всего никто! Я говорю: тогда не надо ехать. — Нет, да там человек восемь все же есть, они хотят, зачем нам обижать людей, они такие люди хорошие! Можно ведь и для восьми человек пару слов сказать!

Но когда я приехал, я увидел, что даже и большие залы битком набиты, и вместо одного концерта в одном городе я стал давать по три концерта. А народу становилось все больше, причем я увидел не новых зрителей, а прежних своих зрителей, из всех городов, где я работал, а я работал в 85-ти городах Советского Союза, — и во многих по многу раз; я объездил, действительно, всю страну!.. Я это понимал и по запискам, и по большим письмам, которые они присылали мне из аудитории. — И тогда я подумал: вот они где, зрители! Я подумал, что они сбежали все, что просто все зрители уехали, и осталась страна без зрителей. А это ведь тоже катастрофа, это тоже очень страшно... Особенно запомнился концерт в Институте Вейцмана. Я вошел в очень большую, битком набитую аудиторию, где была черная доска и не очень удобные условия. Это была научная аудитория. Я им сказал, что я прощаюсь со страной Израиль, я уезжаю, и это последний концерт, и я бы хотел уйти от столь любимого мной академизма. Ведь я человек склада академического. Я воспитан в классической, или, как ее называют в театре, ленинградской манере — холодноватой, суховатой, не позволяющей бегать по залу — я действительно не очень люблю стиль, когда к зрителям сзади подходят актеры, бьют их или обливают водой. Но здесь было еще что-то особенное. Я сказал: "Мне не хотелось бы расставаться так, чтобы только я был предметом рассмотрения, только мое искусство и мои знания. Я хотел бы, чтобы и вы стали объектом моего внимания. Хочу узнать ваши вкусы, желания. Поэтому я вам прочту несколько стихотворений, которые сейчас у меня на душе, потом уйду на пять минут, а вы напишете на доске, каких авторов вы хотите сегодня слушать. Я читаю примерно тридцать авторов. И мой концерт целиком, подряд и в целом, занимает 24 часа. Так что у вас есть и время, и выбор.

И эти люди — москвичи, ленинградцы, томичи, свердловчане, хабаровцы, тбилисцы, литовцы бывшие, латыши — рижане, таллинцы — они мне записали всю доску фамилиями!

Тогда я из этого уже стал выбирать. Я назвал эту форму тогда для себя "Иерусалимский концерт". Свободный концерт, концерт по заявкам, в котором изначально есть доверие к зрителю, уверенность в том, что это вернувшийся зритель — или зритель, который позволил мне к нему вернуться. И не лично мне, а нашему театру.

Я приехал с этим чувством обратно в Москву, и застал удивительную вещь: я-то думал, что зритель весь там, а здесь сейчас мы должны искать какие-то иные возможности, но залы стали наполняться! Не совсем все, по всей стране. Но те театры, которые достойны внимания — и старые, большие, и новые, маленькие — стали наполняться зрителями... Цены — ну, невероятные! Я не хочу начинать сейчас с цен и с цифр, но по ним можно действительно понять, что происходит сейчас у нас, в России. Цены на билеты стали просто чудовищными — не останавливало! Мы думали, что по этим ценам придут только богачи — и будут сидеть нога на ногу и жевать резинку... Нет! Молодежь тоже не отошла от театра, и сейчас поистине происходит самый настоящий новый театральный бум.

Сколько он продержится?

Не знаю.

Почему он?

Он вопреки смыслу. В нем нет никакой логики.

Но в нем для меня лично — единственная надежда, потому что других у меня нет.

Как ни затасканы, как ни противоречивы выражения "театр — второй университет", "театр — кафедра", "театр — храм", — для России они имели реальное содержание. Постоянное давление цензуры, многовековое ограничение свобод, слежка за словом — все это изощряло исполнительское искусство актеров. Интонация могла сказать больше, чем прямой смысл текста. Да, это тяжеловато, перегружало порой игру. Но зато зрители привыкли ждать от театра не только искусства, но откровения, проповеди, взлета духа. Так может быть отмена цензуры, возрождение Церкви, свобода слова и театра — отменяют эту функцию театра?

Может быть. Не исключено! Хотя для моего поколения это было бы крушением самого смысла театра. И однако... не может, не может быть, чтобы столь традиционная существенная форма взаимоотношений рухнула в одночасье только потому, что появилось множество казино и стриптизов! Неужели свобода говорить обесценила недавно еще столь почитаемую сценическую речь?..

Но вернемся ближе к сюжету, мною обозначенному. Итак, зритель снова пошел в театр. Что же он представляет собою — наш современный театр? Рассмотрим его характер в нескольких измерениях. И начнем с того, о котором и зашла у нас речь. Театр и зритель.

Я еще раз повторю: почему зритель отхлынул, я понимаю. Почему он вернулся — абсолютно не понимаю. Я сам ведь тоже зритель, я ведь тоже хожу в театры и знаю, как это мне трудно: я себя заставляю ходить в театр. Не только потому, что на это нужно время и силы. Но еще и потому, что мне

очень многое в театре сегодня не нравится, отталкивает. Зачем же ходить — и заставлять себя мучительно ощущать это? Поэтому когда я выхожу на сцену и вижу, что зрители сидят, и их полно, я думаю: вот наступит конец спектакля, и я не просто поклонюсь, а низко поклонюсь — за то, что они ходят... не понимаю почему!

Сегодняшнему зрителю представляется очень большой выбор — причем далеко не всегда состоящий из доброкачественных вариантов.

В Москве еще совсем недавно было примерно 42 театра, включая маленькие коллективы. Больших театров еще в 85-м году было 23. Потом пришла свобода, экономическая и идеологическая — отсутствие цензуры и свобода организации разных учреждений, в том числе и театров. За один год в Москве стало 300 театров. Сейчас их количество не знает никто. Потому что они никому не подчинены, они просто вывешивают афиши, они находят спонсоров... Теперь это самое популярное слово. "Мой спонсор" — это как "мой отец", "мой дядя", "моя жизнь", "моя любовь"... Мое счастье — мой спонсор! Так вот — благодаря спонсорам — спасибо им, разумеется — возникли сотни театров — и не только в Москве, это произошло и в других городах, я это тоже наблюдаю. Причем поначалу в спонсорах только числились. Это были люди, которые говорили государству: я создал театр, а вы дайте денег! И государство — а именно Союз театральных деятелей, который хотя и общественная структура, но в общем-то, как и все остальные еще недавно, была структурой тоже, в сущности, государственной, ибо все у нас было государственным, как вы это хорошо знаете — итак, государство в лице своих прямо государственных министерств или общественных структур, таких, как Союз театральных деятелей, давало деньги. "Мы создали театр, дайте 200 тысяч. — Натэ 200 тысяч". Без отчета, без всего... Это так понравилось! Это так приятно! На следующий год тоже приходят: мы истратили 200 тысяч. Дайте еще 200. Натэ. Еще 200 тысяч. Или говорят так: нам пришла телеграмма. Из города Лилля. Что они хотят нас посмотреть. Дайте еще 200 тысяч, чтобы мы туда поехали и там показались. Натэ. Еще 200 тысяч...

Ну, разумеется, хватило этого ненадолго. И все разорились. Не только театры, но и организации, которые говорили — натэ вам 200 тысяч...

Но за это время в Москве успело выйти изнутри, из недр подпольное искусство. Как вышла подпольная живопись — и под гром фанфар поехала на Запад. Точно так же и театр: вышел из подполья и развился необыкновенно. Количество таких театров очень велико, среди них есть коллективы действительно талантливые. Иногда это не талантливый театр, а талантливый один спектакль, но и это уже что-нибудь да

значит. Иногда это даже не талантливый спектакль, но интересные люди. И порою это держится долго — как, например, театр на Юго-Западе, возглавляемый Беляковичем, — он держится уже десяток лет. И привлекает постоянное внимание. Он, по-моему, был и в Женеве, а если нет, то будет. Он очень много гастролировал, это действительно интересный театр...

Есть и театры, которые привлекают не столько зрителей, сколько критиков. Но и критиков у нас в Москве тоже очень много. Их почти столько же, сколько актеров, т.е. примерно 8 тысяч. И если раньше наш нормальный театральный зал был 600 мест и более, то сейчас театральный зал может быть на 80 мест, на 50 мест. Это экономически невыгодно, но это не имеет значения — есть "мой спонсор", по счастью, и можно жить.

Вот существует, скажем, "Театр на Красной Пресне" — так он называется. Это театр, вызывающий большие восторги у критиков — как у наших, российских, так и у западных. Театр уже выезжал. В сентябре прошлого года я проводил международный семинар на тему о выживании театра Восточной Европы — о том, какими способами этого можно добиться. Были представители разных стран, высказывались разные точки зрения — и о спонсорах, разумеется, шла речь, и о государственной помощи, и о том, как театру строить свою экономику, и т.п. И вот мы все вместе, всем семинаром пошли в этот театр и посмотрели "Чайку" Чехова. Иностранцы — французы, англичане — были в полном упоении, очень им понравилось. Мне не очень понравилось. А потом мы беседовали на семинаре, очень долго выясняли наши разногласия. И я понял, что, конечно, есть тут и момент того взаимного непонимания, которое вряд ли когда-нибудь исчезнет, потому что действительно нам трудно понять друг друга. Нам, русским, не понять толком французский театр, мы его можем только поверхностно оценить, причем нам скорее всего что-то другое совсем понравится, чем то, что нравится французам. Так же и с русским театром.

Но тут дело было не только в этом, и я чуть подробнее расскажу об этом спектакле, потому что это вещь принципиальная.

Чехов сейчас подвергается — так, как ни один другой автор — всевозможному хирургическому вмешательству, всевозможной вивисекции. Именно над ним почему-то упражняются более всего.

Напомню вам, что в первом акте все время ждут Нину Заречную. Все время идут разговоры о том, что будет спектакль, что Нина Заречная должна появиться. И еще говорят о том, что Треплев, автор пьесы, в которой она будет играть, влюблен в нее. И даже, что они любят друг друга. На них приятно смотреть, и сегодня их души сольются в одном спектакле. Он

— постановщик и автор пьесы, а она актриса, играющая в ней.

И у Чехова есть знаменитая сцена, когда Нина наконец прибегает и говорит: я вырвалась от родителей... у меня всего один час... надо ехать обратно, мать будет сердиться, отец будет сердиться... А он говорит — как я рад вас видеть! И целует ей руки. Это — ремарка.

Здесь же происходит и тот знаменитый диалог, когда она говорит: какое это дерево? А он отвечает: вяз. Бессмысленные какие-то слова о деревьях — но это все после поцелуя. Невнятные обрывки слов и перед тем, как поцеловаться, а потом он говорит: дорогая, не уезжайте скоро... Не могу, не могу. Давайте начнем. В вашей пьесе мало действия, пойдемте.

Короткий чеховский диалог, полный нежности, тревоги, потому что Чехов изумительно умеет в простых словах, в ритмах этих слов поселить тревогу. Ведь потом, как вы помните, пьеса кончится самоубийством Треплева — и какой-то странной, совсем не такой, как хотелось, судьбой будущей актрисы Нины Заречной. И все это — уже в этом диалоге, хотя они ни слова не говорят об этом, они говорят только — мне надо скоро уехать... в вашей пьесе мало действия... как я рад, что вы приехали!.. не уезжайте так скоро!.. какое это дерево... вяз... Эти все ритмы — они замечательны! Они трогают, даже если играют средне, даже если просто говорят текст. Потому что Чехов — великий драматург. Он сам звучит, и это прекрасная музыка, хотя можно отличить, кто исполняет ее хуже, кто лучше...

Что же предлагает режиссер того спектакля, который мы видели?

Ну, и до этой сцены происходили несколько странные вещи, очень странные. Но я не буду о них говорить. А здесь стоит Треплев — сцена небольшая, это маленький подвальный театр, — стоит Треплев и говорит — вот Нина.

Актеры, еще раз напоминаю, люди одаренные, это не то что халтура какая-нибудь или какие-нибудь ремесленники. Это играют одаренные люди. Но вся постановка — это определенный склад ума, который я и хочу с вами обсудить, чтобы вы поняли и посочувствовали либо им, либо мне.

Итак, входит Нина. Раздается танго "Утомленное солнце нежно с морем прощалось..." Играет граммофон. Смещение эпох...

Ну что ж, это бывает и само по себе еще ни о чем не говорит. Правда, в этом танго есть та своя музыка, музыка пошловатая, которая с музыкой Чехова довольно трудно сочетается. Но можно, казалось бы, смириться и с этим — бывает ведь и так, немножко ножом по стеклу...

Но вот появляется третье лицо, которое вообще шляется по сцене все время, пока идет сцена. Крепкий молодой человек в

шляпе, который встает спиной к Треплеву, а лицом к Нине. И она говорит — то ли ему, то ли Треплеву через него, — я так хотела приехать, я приехала, отец будет ругаться... И Треплев говорит в ответ — верю, останьтесь, я так рад вас видеть! А тот человек подходит к ней и целует ей руки... Потом они обнимаются, и очень эротично и сексуально целуются. Положение Треплева — как вы думаете, каково ему там, Треплеву? Но — так сделано, так дано. Он стоит. После чего они немножко танцуют танго... А Треплев — танцует в одиночку. А зал ликует — ведь в зале сидят главным образом эстеты, снобы, знатоки, которые знают, что у Чехова не так... Но в том-то ведь и прелесть, что у Чехова не так! А здесь — вот так!

Так что же у автора, у Чехова?

Нина говорит Треплеву — мое сердце полно вами, меня тянет сюда. •

Т р е п л е в. Мы одни.

Н и н а. Кажется, кто-то там...

Т р е п л е в. Никого.

Поцелуй.

Н и н а. Это какое дерево?

Т р е п л е в. Вяз.

Н и н а. Отчего оно такое темное?

Т р е п л е в. Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас.

Н и н а. Нельзя."

Господи, — ну, во-первых, это абсолютно музыкально. Как Моцарт, как Бетховен. И нельзя — грешно — вставлять собственные бемоли и диезы.

А во-вторых... В чем смысл, намерение автора? Минута любви, минута хрупкой взаимности. Больше такой минуты в пьесе не будет. Пойдет разрушение.

Режиссер это и говорит: пойдет разрушение, уже идет разрушение, уже давно все разрушено. А что они говорят нежные слова — так над этим посмеяться можно. Введем третье лицо — говорит же Нина: "Там кто-то есть", — вот он и есть. Он ее и целует, он ее и танцует.

А Чехов-то? Он же написал любовь и крушение любви...

Да Бог с ним, с Чеховым, пусть будет доволен, что на афише стоит его имя. Мы сами знаем про жизнь побольше — и погорше, и посмешнее.

Ой ли?..

Да, в этой сцене печаль медленно проникает в душу Нины. Она уже заложена у Чехова. Но когда ее вытаскивают наружу и торопятся предызобразить ее будущее, меня это оскорбляет. Потому что это уже тавтология, да еще очень грубая.

Что-то подобное, впрочем, я видел в самых знаменитых мировых спектаклях, — и вот уже точно у вас в Швейцарии

было: режиссер Некрошюс и спектакли Литовского молодежного театра — в частности, "Дядя Ваня" и "Нос" — спектакль новый, который они специально для Швейцарии делали...

Очень сложная женщина — героиня пьесы "Дядя Ваня" Елена Андреевна. Но — если б она была наркоманкой или хотя бы склонна к наркомании! Чехов — доктор Чехов, — наверное, он тоже не был таким уж отдаленным от жизни человеком, чтобы не знать, что бывают наркоманы. Он же сам пьесу сочинил. Если б была проституткой Раневская из "Вишневого сада" (Чехов знал, что проститутки случаются в жизни, мало того, у него есть рассказы на эту тему) — он был и написал, что она проститутка. Но он не написал этого. Потому что в этой пьесе о другом речь. И Раневская — не проститутка, и Елена Андреевна не наркоманка. Это просто дежурные штампы сегодняшнего авангарда.

Свобода выявила, мне кажется, в нашем театре не только доброе. Куда в большей мере — его пошлую и худшую часть. Наверное, это явление временное и даже естественное. Вода течет только вниз. Чтобы она была фонтаном, как у вас на озере, нужны очень большие средства и затраты. Но вот вода потекла вниз. Да, освобожденная от ограждений, от системы, от стоков, от жестокой системы, созданной нашим социалистическим государством. Но она просто потекла водопадом вниз, собирая все нечистоты. И зритель смотрит...

Это театр маленький и, еще раз говорю, талантливый. Есть театры и большие, и не талантливые. Есть очень много презентаций, есть очень много заменивших театр явлений. Недаром слово "театр" стало таким необыкновенно модным — "театром" называют себя все. Театр Аллы Пугачевой, где поют просто эстрадные песни, которые сами по себе были бы вроде и ничего, она очень талантливая... Но очень много дыма пускают. Наличие дыма уже есть начало театра. То есть там, где идет дым, мы уже знаем, что это театр, тем более, что в афише это называется театром. В результате — кризис актерского искусства. Несомненный и очень тяжелый. Победила режиссура.

Что я имею в виду?

Здесь нужно чуть-чуть отвлечься в историю, назад.

У нас был великий, запрещенный и расстрелянный режиссер Мейерхольд. У нас был общепризнанный, превращенный в маршала театральных войск Константин Сергеевич Станиславский. Система Станиславского, действительно основополагающая, есть платформа русского драматического театра, на которой стоят и все его успехи в XX веке. Психологическая правда, органика — именно это ценилось всегда зрителем, прежде всего русским, именно это ценилось и за рубежом. От этого гастроли МХАТ, гастроли Малого Театра (в лучшие его времена), гастроли Большого Драматического театра — мно-

гократные многостранные — и проходили с таким успехом: в нашем театре видели особенную какую-то, стоящую на системе Станиславского органику, естественность.

Мейерхольд делал наоборот вещи очень разные.

Если в одной фразе, очень общо, сформулировать, в чем разница между системой (в целом) Станиславского и системой (в целом) Мейерхольда, то она состоит в том, что Станиславский говорил: "Правда чувств в предлагаемых обстоятельствах". Это можно пояснить такой, например, формулой: испугался — и побежал.

Что это значит?

Задача актера, если такова ситуация пьесы, сперва услышать опасность, почувствовать ее (там, за дверью, сейчас), — вообразить ее, наполниться ею и передать ее зрителю.

Мы сидим и не знаем — если сейчас открыть эту дверь, что там? А я, актер, — испугался. И — побежал.

Теперь уже варианты: я могу побежать и в эту сторону от опасности, и в ту, и делать резкие движения, открывая дверь. Навстречу опасности или от нее.

Это — система Станиславского.

Система Мейерхольда обратная. Побежал — и испугался. От физики, от внешнего. Сделай резкое движение, крикни... Просто надо бежать. Четыре раза по кругу, скажем. И у тебя возникает чувство, что ты бежишь от чего-то страшного — и ты передаешь его зрителю.

Возможный вариант?

Возможный. Но он делает актера скорее механизмом. И система биомеханики, как ни говорят о ее психологических больших основаниях — все-таки это система, в которой существует какой-то примат механики, дающий возможность режиссеру быть царем.

Я не большой поклонник Мейерхольда, хотя почитаю этого великого человека. По возрасту я не мог видеть его спектакли, но много говорил с людьми, которые и видели, и играли... Я думаю, что в его системе был один порок, который у него, у гения (а он гений), мог превращаться в достоинство. Но уже при его жизни он выступал со своими докладами "Мейерхольд против Мейерхольдовщины" и говорил о том, что почему-то его последователи делают ужасные вещи, которые ему, самому, Мейерхольду, очень не нравятся, невыносимы просто. Я бы назвал это, вот этот грех Мейерхольда, — я бы назвал этот грех словом "своеволие". А внутри этого лежит еще одно слово: безбожие. Никто мне не хозяин. Никто не Творец. Я сам хозяин. Я сам Творец. Потому он и позволял себе писать: "автор спектакля — Мейерхольд". Пьеса Гоголя, а автор спектакля — Мейерхольд. Пьеса Грибоедова, автор спектакля — Мейерхольд.

Еще раз говорю: он был гений, и недаром люди строго религиозные пожалуй скажут: если он — безбожник и если он сам говорит "Я — Творец", так он Антихрист. Ну что ж, это тоже высокое звание.. А вот мелкие бесы — это страшнее, потому что это целая рать.

Мейерхольд победил в нашем театре. Победил режиссерский театр, победило своеволие. Мой главный упрек сегодняшнему театру — это игра не по нотам. То, что я вам показал с Чеховым, я мог бы показать со многими другими авторами, когда автор является раздражающей нагрузкой, от которой нужно как-нибудь избавиться. Ведь мы-то выдумаем спектакль куда более интересней!

У меня, к сожалению, были уже и конфликты на этот счет. Мы начали репетировать "Скупого" Мольера с одним — я не буду называть фамилию — очень почитаемым, известным режиссером, и я понял, что ему совершенно не интересен Мольер, он не видит в нем ничего смешного! Пьеса не очень смешная, но все-таки в ней есть прелесть. И в русском переводе ее тоже достаточно. Мне было бы интересно сыграть Гарпагона, потому что там есть какая-то правда жизни в условных мольеровских традициях. Но мой режиссер стал сочинять нечто совершенно неправдоподобное рядом с Мольером, Мольер был ему совершенно неинтересен — и мы разошлись. Я не смог этого выдержать.

Вот это своеволие, "игра не по нотам" и представляется мне одной из опасностей сегодняшнего театра и во многом меня раздражает в театре.

Конечно, все не так плохо. Что уж в самом деле, — мне совсем ничего не нравится? И я просто брзужу?

Нет, не все. Обидно немножко, что из чеховского фестиваля, который был в октябре месяце в Москве, для меня самым "чеховским" спектаклем оказался спектакль Питера Штайна и театра Шаубюне из Германии, которые сыграли "Вишневый сад".

Они сыграли в подчеркнуто павильонных декорациях, может быть даже слишком натуральных. Это был немодный "натуралистический" спектакль, но это были хорошие, умелые актеры, и это был режиссер Питер Штайн, который, как мне кажется, почувствовал — он знает, он просто занимался этим, он любит Чехова! — почувствовал ритмы Чехова. И несмотря на то, что это было на немецком языке, это вызвало у меня и сочувствие, и слезы, и смех — все, все те чувства, которые и должен каждый раз вызывать Чехов. Я написал статью, рецензию, в которой выразил свои чувства по отношению к спектаклю — и оказался в абсолютном одиночестве.

Еще раз говорю: здесь у вас бывают разные люди, и вы услышите совершенно другие точки зрения, и вам предоставляется право судить и выбирать, и больше того: всегда лучше

посмотреть и сравнить самим. Но так или иначе, а критика сказала про этот спектакль — и про мою статью заодно с ним — совершенно единое слово свое: Боже мой, как это все давно уже было, так нельзя уже играть Чехова, это все уже анахронизм... И показали нам румынский спектакль, прославленный в Соединенных Штатах, тоже "Вишневый сад", в котором, действительно "все как не было"...

Мой дорогой Большой драматический театр, в котором я не служу уже 15 лет, предъявил на этом фестивале спектакль "Коварство и любовь" Шиллера. И это был — я не скажу, что потрясший меня спектакль — пожалуй, не потрясший: холодноватый, спокойный; в постановке режиссера Чхеидзе. Но это был спектакль высокой театральной культуры, это тоже редкость, и это я оценил.

Однако самая большая надежда, которую я испытываю, связана с последними моими впечатлениями, со школой-студией, с учениками. В декабре, желая понять, насколько мои мысли — вот, примерно те, что я вам высказываю — созвучны с настроениями молодежи, я провел семинар, который длился пять дней подряд. С небольшой группой в 25 человек мы работали над пьесами и обсуждали, как к ним приступить. Называлось это — "Технология дебюта". Как профессиональному актеру начинать работу, как вступать в роль.

Я, во-первых, убедился, что они, несмотря на то, что учатся уже третий год, мало чему научены, потому что они заморочены режиссурой. Еще раз убедился, что актерское дело подавлено. И, во-вторых, я услышал, к сожалению, те самые слова, о которых рассказывал вам. Я говорю ученику: "Почему Вы выбираете такой способ хода? Он противоречит логике". Он говорит: "К сожалению, логический ход — это уже 20 раз все было".

Меня ужасает это. Потому что только нелогичный ход, только опровержение готового, только аттракцион, только, в конце концов, ярмарочное, базарное предъявление женщины с бородой или человека со змеей, или глотанье шпаги, или выдыхание огня — вот что приблизительно происходит при такого рода эстетической ориентации. Я бы назвал это наркотизацией театра и общества. Потому что то, что я говорю о театре, мне кажется, касается и нашей прессы. Пресса, боясь быть пресной, непрерывно ищет все более острые не только сюжеты, но и формы. Я как читатель, как зритель привыкаю к этому — и мне уже скучно читать просто сообщение. Мне уже скучновато видеть просто диалог. Мне нужно что-нибудь остренькое, перченое. Постепенно — это переход к наркотизации, к желанию наркотика во все больших дозах. И мне кажется это крайне опасным.

Но я все-таки закончу этот пассаж выражением надежды. Потому что посмотрев несколько студенческих спектаклей (в

школе-студии МХАТ — Островский, "Поздняя любовь"; там же, в школе-студии МХАТ, на другом курсе — Чехов "Дядя Ваня"; в ГИТИСе Островский, "Волки и овцы"), я вижу, что молодое, совсем молодое поколение, двадцатилетнее — вдруг начинает возвращаться к тому театру, который — еще недавно говорили — уже умер.

Актеры занимают сцену, актеры источают некую волну, которая летит, которая катится, которая заставляет людей смотреть, слушать и входить в пьесу. Актеры начинают играть по нотам — не режиссером придуманным, ломающим все — а им хватает нот великих авторов. И тогда я начинаю думать, что драматический театр еще не умер.

Когда-то Джорджо Стреллер сказал мне — "ну и время пришло! 200 лет существовал литературный театр, который что-то играл, сейчас приходит что-то другое. Я еще принадлежу ему, я еще ставлю "Фауста", но видимо — придет время, и это все умрет".

Я преклоняюсь перед этим великим режиссером, перед его прогнозами, и однако сейчас делаю другой прогноз. Мы знаем, что некоторые великие научные открытия, родившиеся в XX веке, и, казалось бы, дающие возможность создать абсолютный рай для человечества, к концу XX века оказались отравой и смертельной опасностью, причем не только даже, скажем, атомная энергия, но даже и фармакология, которая открыла возможности подавления почти всех болезней и вдруг столкнулась с тем, что к концу XX века вылезли страшные мутанты, новые вирусы и микробы, которые сказали: вы ошиблись, это не была панацея, вы не спаслись. Мы — залог новых болезней, которые нависнут над человечеством, как Дамоклов меч.

Точно так же, мне кажется, и режиссура, которая претендовала на полное обновление театра, сейчас — в этом есть своя диалектика — обнаруживает свое отравляющее действие. И потому спасение театра лично для меня в особенной степени связано с одной конкретной фигурой, хотя я ее никому и не навязываю, потому что надо иметь склонность к этой теории — я имею в виду теорию Михаила Чехова, который обращается к душе актера, а не к его физике. К воображению зрителя, а не к его вниманию, потрясенному какими-либо внешними эффектами.

Я просто хочу сказать, что спасение театра, спасение кинематографа, в котором тоже происходит страшное падение актерского искусства и экран заполняют одни выдумки, одна технология, царство режиссеров, которые почему-то стали глупее (почему-то фильмы 20-летней давности, будь то французский или русский, умнее, нежнее, тоньше, и более мастерские, чем нынешние, обладающие невероятными возможностями) — спасение в том, чтобы поднялось снова актерское ис-

кусство, чтобы не была больше стенкой между зрителями и сценой профессия режиссера...

2

Вы спрашиваете о Плятте?

Да, да, конечно, я расскажу о нем. Я почти готов начать.

Нет, я не забыл. Все помню: от детских экранных впечатлений до первого знакомства за кулисами московского Дома Актера. От первого совместного застолья в Ленинграде в БДТ после спектакля до потрясения от его дуэта с Раневской в эфросовской постановке "Дальше — тишина". Я помню начало нашего союза, нашу "Тему с вариациями" — семь лет совместной игры на сцене, гастроли, долгие веселые разговоры за коньячком в гримерной. Смех его помню, голос его слышу. Помню начало печали и ... не то чтобы расхождения, а отодвижения в разные плоскости. Все более редкие телефонные переговоры. Хуциевское "Послесловие" совсем недавно смотрел в третий или четвертый раз — почти исповедь Артиста; почти — потому что Плятт был слишком деликатен, чтобы говорить совсем "от себя", он создавал характер и говорил от его имени. Помню его могилу — там, на актерской площадке Новодевичьего. Открытие памятной доски на Большой Бронной, жаркое солнце после ливня, площадка, покрытая ковром, цветы, речи под туш занятого своими делами города... Спадает покрывало и обнажается доска с очень крупными издалека видными буквами — ПЛЯТТ. Это уже в нынешней, не касающейся его, жизни.

Помню, помню все... и сейчас расскажу. Начинаю.

Один только вопрос — кому рассказывать? Вам, мои ровесники, мои старшие и чуть младшие товарищи? Но вы сами все знаете.

Достаточно произнести имя — Ростислав Плятт, — и у каждого возникнет свой ряд очень личных взаимоотношений с одним из самых популярных людей многих десятилетий. Озорство, насмешливость, обаятельное дуракаваляние сменилось другим амплуа, другим стилем — ролями "профессорского" типа. Плятт стал олицетворением интеллигентности на экране и на сцене. В этом качестве его эксплуатировали. Тексты, произносимые им, чаще всего не были высшего качества, мысли авторов вовсе не отличались глубиной. Однако Ростислав Янович убеждал. Он воспринимался и мудрецом, и эталоном нравственности. Тут все имело значение — и неординарная внешность, и рост; в еще большей степени голос, интонация, правильная речь — такая редкость в жизни и на сцене; юмор, легкость, полное отсутствие актерского эгоизма, самовыпячивания — словом, все слагаемые большого таланта. Но было и еще одно — Плятт действительно, в самом

деле, был интеллигентом в полном и лучшем смысле этого слова. Это был не создаваемый образ, не слепленный в определенных целях имидж, это была суть, обнажение души. И поэтому менее важно было, что говорится, определяло — как говорится и, самое главное, — кто?

Плятт говорит.

Это — гарантия непритворства, подлинности. Задумываясь или нет, но так верили миллионы зрителей, и сердца открывались навстречу артисту. Ему верили. Вы, мои ровесники, знаете это.

А что нам рассказать молодым? Те из вас, кто захочет читать историю театра, конечно узнают кое-что о Плятте. Но другие и многие не поверят вовсе ни историкам искусства сталинского и застойного периода, ни героям этих историков. Изредка будут идти старые фильмы. Вдруг пронзит роммовская "Мечта" с невероятной Раневской... и Плятт, Плятт, конечно, тоже мелькнет. "Весна"... Вряд ли уже когда-нибудь "Убийство на улице Данте" или "Семнадцать мгновений весны", хотя, — может быть — в ретроспективах... А театр... театр вообще уходит. Тот театр, где основой был диалог, где при всех цензурных заслонах, главным было слово, театр, в котором высшим достижением считалось перевоплощение при сохранении органики. Этот театр, одним из крупнейших мастеров которого был Плятт, уходит и уже почти исчез.

На смену пришло что-то несомненно более яркое и талантливое. И очень смелое. Нахально, непозволительно смелое. Какие там намеки, подтексты, аллюзии! Все покровы сорваны, да порой и кожа содрана — все видать до сердцевины. Совершенно невозможно поверить, что новое искусство произошло от того, кажущегося теперь таким прекрасным, театра, который занимал и сцены и умы 20 и еще 10 лет назад! Да и не произошло вовсе одно от другого. Новый театр выскочил на нас из-за угла — или из люка. И тогда это были даже знакомые люди, но... как говорит один из персонажей Ионеско: "Ах, мадам, вы все та же, но только с совершенно другим лицом".

Но если одно не произошло от другого, то мучает вопрос, когда-то сформулированный Иосифом Бродским: "В этот мир, куда он подевался?" Может быть провалился в тар-тарары? В общую яму, про которую говорят теперь с брезгливостью затертой уже фразой: "70 лет нас отучали от..." Или: "70 лет нам внушали, что..."

Из этих проклятых 70 лет по крайней мере 50 Ростислав Плятт был на виду. Его голосом говорило официальное искусство. К подпольному он не принадлежал. Может быть с опозданием, может быть недостаточно, но он был обласкан властью имущими. Ему среди не очень многих других позволили быть знаменитым. Значит, это и он среди других "70 лет

внушал нам, что..." Вроде так получается. Коли не диссидент, значит конформист?

Да нет, не так. Много активистов тоталитарного режима легко и (странно) естественно стали активистами перестройки, а потом и нынешней демократии. Творят, выступают, поддерживают — и их поддерживают.

Плятт был в стороне от общественных выявлений. Его авторитет, несомненно очень высокий, стоял только на его актерской деятельности. Его любили все. Кто сейчас может похвастаться этим? Он был особенной фигурой. По стечению тысяч обстоятельств, в конечном счете — по велению судьбы — эта особенность стала общепризнанной. Его не только все любили, его все уважали, даже... даже начальство, даже верхи. Ростислав Янович никогда не подлаживался под принятый тогда "панибратский", "свойский" стиль — органически не мог. И вместе с тем — столь же органически не мог "важничать", утверждая себя в общении с кем бы то ни было. И однако все и всегда были к нему почтительны. От пьяноватого развязного зрителя у входа в театр где-нибудь на провинциальных гастролях до членов политбюро.

В обществе, где все ангажировано, подчинено, он был (среди немногих) абсолютно автономной фигурой. Он исповедовал простую человечность. Многое в окружающей жизни было для него неприемлемо. Плятт сознавал это, но он не был создан для того, чтобы изменить мир. С горечью, которая росла с годами, он признавал за государственным уродством и общественной фальшью непреодолимую силу. Он оградил себя пространством своего искусства — искусства исполнительского, а, значит, вторичного, подчиненного. Но феномен Плятта в том, что на этом ограниченном пространстве все было чисто — чисты помыслы, святы труды, надежно слово, деликатны отношения. А над всем этим была магия большого таланта. И именно потому не уходом в себя, а примером и надеждой для многих стала его жизнь.

Дорогой мой Ростислав Янович верил, что по природе человек добр. Конечно Руссо, а не Фрейд был ближе к его философии. Все, что скверно, все, что ужасно — это лишь искажения добра и справедливости.

Дорогой мой, мудрый Ростислав Янович был наивным человеком. Совсем уж ясным становится, что демоны правят миром, что и "социализм с человеческим лицом", и "добро с кулаками", и даже сама долгожданная неведомая еще свобода открывают в человеке новое, но вовсе не лучшее. Такая ненасытность, такая распоясанность идет на смену рухнувшим фальшивым идеалам материализма! Прав был Фрейд в своих открытиях, тревогах и предсказаниях...

Вот только... вот только иногда то тут, то там, пусть редко... проявляется в людях что-то совершенно противоположное этой правоте.

В искусство ворвался хаос подсознания. Оглушает, ослепляет своей необузданностью, мерзкой откровенностью, шокирует и опасно манят бездны, открывшиеся под сорванными табу. И уж совсем кажется, что там, в бездне, и есть истина. Но не истина там, а скрытая прежде часть реальности. Часть! И не только в человеческой душе, но и в человеческом бытии — теплота, наивность, целомудренность чувств, справедливость, вера в силу сознания, вера в слово и логику, вера, наконец, в возможность гармонии — тоже не сказка, а реальность.

Таким чувствовался Плятт. Таким запомнился.

Забавные истории о его розыгрышах, примеры его рыцарского служения сцене, рассказы о технологии его высочайшего мастерства я отложу до другого раза.

Сегодня мне хочется только, чтобы не погас у нового поколения интерес к этой личности.

В последний раз мы виделись в коридоре гримерных третьего этажа у нас в театре. Мимолетно. Ростислав Янович сидел у себя за столом. Мрачный. Дверь была распахнута. Заговорили о том, о сем. Разговор не клеился. Я спросил, чем он огорчен. Помолчав довольно долго, он сказал: "... знаете, нет у меня уверенности, что то, чему мы служили, было правильным. Вот что".

Это в его характере — свою награду чувствовать, как общую, общую вину чувствовать — как свою.

Сейчас через горький, непостижимый умом порог смерти, я отвечаю ему — Дорогой Ростислав Янович, вы сделали больше, чем могли. Вы чисты, и Ваш долг исполнен.

* * *

Молодые коллеги — когда будете проходить мимо дома на углу Большой и Малой Бронных и увидите доску с именем "ПЛЯТТ" — снимите шляпу или просто замедлите шаг и задумайтесь.

О МАВЗОЛЕЕ ЛЕНИНА

Любой русский, независимо от политических убеждений, если он четко и честно осознал радикальность изменений, в последнее время пережитых и все еще болезненно переживаемых его страной, и любой иностранец, относящийся к России с участием и пониманием, оказавшись в сердце Москвы — на Красной площади — и проходя мимо усеченной мраморной пирамиды ленинского мавзолея, испытывают сегодня неловкость и недоумение. Неважно, как человек расценивает деятельность того, чьи останки лежат в этом мавзолее: ведь каждому ясно, что начавшийся в октябре 1917 года исторический цикл, связанный с именем его главного зачинателя — Ленина, сегодня завершился, хотя воздействие этого цикла на настоящее и на будущее не перечеркнуть, и что некритичному, а вернее — апологетическому отношению к нему, которое десятилетиями составляло ядро господствующей идеологии, уже не может быть места.

Эта идеология, сохраняющаяся только у немногочисленных фанатиков и безраздельно поддерживаемая только пережитками касты, превратившей ее в источник своей власти и привилегий, уже мертва, и даже для тех, кто не окончательно от нее отказался, она уже лишилась своей абсолютности благодаря усилиям свободной исторической мысли и неопровержимости документов, вследствие чего более чем семидесятилетний революционный цикл предстает в новом и трагическом свете. Если идол Сталина был выброшен из алтарей революционного культа по инициативе самих его соратников, озабоченных сохранением культа революции и очистивших его от кровавых сталинских эксцессов, то мифизация Ленина, наоборот, стала нарастать, поскольку идеализированный и фальсифицированный ленинский образ был средоточием этого культа, его персонифицированной легитимизацией. Но уже давно становится все более очевидным, что миф Ленина тоже подошел к своему закату.

Вот почему, проходя мимо мавзолея вождя большевистской революции, чувствуешь себя неуютно. Конечно, верующие в него и любопытствующие выстраиваются в очередь, чтобы увидеть его восковую фигуру, а туристы ждут смены караула, чтобы щелкнуть на память фотоаппаратом. Но очевидно, что дела обстоят уже не как раньше и время все глубже и глубже будет менять уже изменившуюся ситуацию. Недавно уже раздавались голоса, предлагавшие вынести из

мавзолея тело Ленина, как было со Сталиным. Однако в ленинском случае это была бы совсем иная операция, потому хотя бы, что решение о переносе останков исходило бы не от всесильной Партии, которая в свое время из соображений внутренней политики постановила выселить прах Сталина и похоронить его в иерархически менее важном, хотя и официально высокопрестижном месте у кремлевской стены. Этой всесильной партии уже нет, и решение прекратить такой абсурд, как выставление напоказ мумии в сердце российской столицы на этот раз исходило бы от законной власти новой и демократической России при поддержке широких кругов общественного мнения. Это не было бы актом глумления над прахом человека, который, при всей суровости оценки его деяний, остается одной из решающих фигур российской и мировой истории нашего столетия. Выразить адекватную оценку деятельности Ленина — дело историков, как и отдельных граждан. Однако речь идет о том, чтобы положить конец постыдному культу, по крайней мере сейчас, когда эпоха, этот культ создавшая, ушла в прошлое, и нормально похоронить Владимира Ульянова на кладбище, рядом с могилами его родных.

На что же предназначить освободившийся мавзолей, поскольку это своего рода исторический памятник, вписавшийся в ансамбль того архитектурного пространства, на котором находится, и, следовательно, достойный того, чтобы его сохранили? Наиболее благородным и уместным было бы превратить его в мемориальный музей жертв октябрьской революции 1917 года. В прошлом говорилось о необходимости создания проекта памятника жертвам семи десятилетий коммунистического господства, число которых насчитывается десятками и десятками миллионов. Но любой памятник воспринимался бы как нечто искусственное рядом с возможностью превратить находящийся в сердце столицы ленинский мавзолей в символ новой России, которая не хочет и не может зачеркнуть историческую память о своем недавнем трагическом прошлом, но которая, когда, наконец, об этом прошлом можно узнать полную правду, справедливо смотрит на него не с точки зрения палачей, а глазами их жертв (в числе которых оказались и многие бывшие палачи, и многие заблуждавшиеся и обманутые их соучастники).

Если Красной площади суждено оставаться символическим сердцем России, а следовательно местом публичных церемоний, составляющих существенную часть гражданской жизни каждого народа, мемориал жертв революции в бывшем мавзолее вождя революции не только был бы знаком исторической справедливости, но и сделал бы это место средоточием исторической памяти новой демократической России, которая, преодолев недавнее прошлое, сохраняет кровавые шрамы, вы-

несенные из своего трагического опыта. Усеченная пирамида красного мрамора в центре Москвы, преобразованная в мемориальный музей тех, кто страдал, подготовляя освобождение России, стала бы местом паломничества, не имеющего ничего общего с суеверным и одновременно кощунственным культом последних лет, — паломничества свободных граждан свободной страны, не желающих игнорировать собственное прошлое, строя свое настоящее и будущее.

Витторио Страда

С письмом члена редколлегии "Континента", известного итальянского ученого Витторио Страда редакция журнала познакомила академика Дмитрия Сергеевича Лихачева и попросила его прокомментировать предложения, высказанные в этом письме. Дмитрий Сергеевич сообщил нам, что он безусловно поддерживает главную идею письма Витторио Страда, считая, что его предложение наилучшим образом решает проблему, вокруг которой было так много споров. Д.С.Лихачев считает однако, что реализация этой идеи никоим образом не должна означать устройство на главной площади России, в этом историческом ее сердце, какого-либо подобия кладбища — тем более кладбища, на котором бы палачи лежали рядом с жертвами. Все захоронения у Кремлевской стены и в Кремлевской стене должны быть вынесены за пределы Красной площади — может быть, в специально отведенное для этого место, а мемориал жертв революции тоже должен быть лишен каких бы то ни было элементов кладбищенской натуральности. Это должен быть символический памятник-мемориал, в котором стоит, может быть, создать что-то вроде символической карты-памятника "Архипелага Гулаг", где каждый из многочисленных его лагерей получит свое обозначение, свой памятный символ, свое место памяти и скорби, — наподобие того, как это сделали белорусы в память об их Катыни. Д.С.Лихачев считает также, что важно было бы, может быть, предусмотреть, чтобы этот памятник-мемориал мог стать символическим местом для свершения панихидных служб всех религий, которым могли принадлежать жертвы революции — христианских конфессий, магометанства, иудаизма, буддизма и т.д.

5 июня 1993 г.
Главному редактору журнала "Континент"

Глубокоуважаемый Игорь Иванович!

Я буду Вам от души благодарна, если Вы сочтете возможным опубликовать мое письмо, основанием для которого послужила замечательная статья Валентина Непомнящего "С веселым призраком свободы" в №73 ж-ла "Континент"...

С глубочайшим уважением и наилучшими пожеланиями

Дора Штурман

С той радостью, которую всегда доставляет обнаружение сходства позиций, твоей и уважаемого тобой автора, я прочитала в "Континенте" №73 статью Валентина Непомнящего "С веселым призраком свободы". У меня нет серьезных возражений против стержневых мыслей и, главное, настроения и мироощущения автора статьи. Мне тоже приходится по тем или иным поводам, в той или иной форме возвращаться к большинству этих проблем. И все-таки некоторые суждения автора вызывают у меня либо недоумение, либо потребность возразить ему. Я не стану приводить цитаты из статьи В.Непомнящего — я просто выскажу несколько собственных наблюдений и соображений, которые прояснят эти расхождения, как мне представляется, большей частью — второстепенные.

Я попытаюсь сузить широту поднятых В.Непомнящим проблем до проблемы словоупотребления, а также до противопоставления культуры — цивилизации в форме противопоставления духовности — удобства.

Я провела примерно четыре года в лагере и четырнадцать — в селе, сначала в отдаленной от транспортных артерий глубинке, потом — ближе к железной дороге. Меня тоже никогда так не оскорблял, не шокировал мат в устах моих сельских соседей и друзей (или заводских рабочих во времена работы на заводах и стройках в качестве заключенной), как в салонной и кухонной болтовне эрудированных и дипломированных представителей образованного слоя. В устах детей и молодых людей он меня просто пугает, потому что я тоже чувствую его как победу инфернальной стихии. Когда крестьянка кричит своему отпрыску, задравшему рубашонку, присев под кустиком: "Подотри ж...!" — она выражается естественным для нее просторечием. Когда восторженный поклонник пытается по телефону выразить свое восхищение великой балерине, а супруг последней, прославленный композитор, от-

вечает: "Она не может взять трубку — она моет ж...!" — это нарочитое, элементарное и примитивное хамство. Это распоясавшийся библейский Хам в мелочном проявлении. Я не знаю, произошел ли в реальности такой эпизод, но то, что по стране ходил такой анекдот, — уже достаточно показательно. Когда колхозный конюх употребляет мат "для связки слов в предложении" (или когда такую "связку" мастерски и весьма дозированно включает в текст язвительной песенки Юлий Ким), это не вызывает отвращения. Но когда в романе человека, которого принято считать рафинированным эстетом, в драматической главке о насквозь просматриваемой трехдневной встрече "наедине" истосковавшегося зека с его женой, вдруг сообщается, что замочная скважина была заткнута ваткой, вынутой, простите, из, меня тошнит от нарочитой, грубой, хулиганской брутальности. Это уже — дьявольщина, нередко проглядывающая сквозь "эстетизм" вышеупомянутого эрудита. Когда-то в лагере мы, кучка друзей, молодых и не очень, решили сопротивляться матерной агрессии блатного барака и вохры, пропитывавшей всю неуголовную стихию лагеря. Мы воспринимали ее, несмотря на весь свой тогдашний атеизм, именно так, как ее воспринимает В.Непомнящий и как я сознательно воспринимаю ее теперь: как посягательство на Дух в себе и в жизни. Мы старались вырвать из этой растлевающей стихии малолеток, и порой это удавалось. Вообще, я подозреваю, а точнее — надеюсь, что борьба против этой агрессии — не столь уж непосильное для здоровых людей дело. Приезжающие примерно с 1990 года массово в Израиль из СНГ дети и подростки сначала просто ошеломили своей, как виделось, внутренней "зачерненностью" учителей, приехавших из СССР пятнадцать-двадцать лет тому назад. Но уже через год-полтора нормальной жизни и учебы большинство из них стало такими же нормальными детьми и юношами, в границах нормы — неслухами, но душевно и духовно здоровыми, как большинство здешних детей и подростков.

При всем моем приятии концепции В.Непомнящего о пропасти между "тетрадной" и печатной матерщиной (добавлю: между анекдотным "черным юмором" и демонстративным внеморализмом литературных экстрасупер-поставангардистов), я все же не разделяю отнесения Василия Аксенова к числу бездуховных "матюгальщиков" и "психологических мутантов", как сам себя определил В.Сорокин (Москва), пассажи которого, случайно услышанные, вызывают физический рвотный спазм. И я не могу даже приблизиться к единодушию с весьма уважаемой мною коллегой-литературоведом, объединившим в одном предложении Юза Алешковского и Лимонова. Юз Алешковский — большой писатель, его роман "Рука" — великая книга, книга христианская в глубинном

своим смысле. Его стихи-песни о Сталине ("Товарищ Сталин, вы большой ученый..."), "Свадьба лесбиянок" и другие сначала вошли в классику подсоветского фольклора, а потом прославили автора. Для меня всегда было трагическим парадоксом пристрастие Алешковского к "ненормативной лексике", чего я от него никогда не скрывала. Но оно не ставит этого писателя в один ряд с графоманами и "чернушниками" типа Лимонова и прочих "суперматистов".

Но кое-что в статье В.Непомнящего не дотягивает, на мой взгляд, до ее же уровня. Как, например, можно Вайля и Гениса воспринимать в качестве феномена американской духовной жизни? Это напомнило мне израильских иммигрантов из СССР-СНГ, которые, едва ознакомившись с иммигрантскими же расхожими русскоязычными газетами Израйля, яростно начинают обличать бездуховность израильской цивилизации, произносить гневные монологи об отсутствии в Израиле "настоящей культуры" и "настоящей интеллигенции". Делают это они в тех же газетах-однодневках, на которые так уничтожительно обрушиваются. Неужели и просвещенному литературоведу надо напоминать, что и в духовную культуру и характер народа нельзя проникнуть, скользя по ним туристическим, эмигрантским (в первом поколении) и даже читательским взглядом? Ну, можно ли всерьез назвать американцев "скучным народом"? Острота проблем и конфликтов, напрягающих все силы этого парадоксального, во многом — только еще становящегося многоплеменного этноса очевидны даже при поверхностном взгляде на его повседневность. К слову сказать, проблематика статьи В.Непомнящего, в американской, разумеется конкретно-исторической интерпретации, занимает все большее место в духовной и общественно-политической жизни Америки. Задача нравственного выбора, руководимого Заповедями, а не Змием, возникает с нарастающей остротой везде: в сфере образования, в разных жанрах и областях media, в экологии, в социологии семьи, в толковании свободы личности, прав меньшинства, границ возможностей большинства и т.д. и т.п. Проблематика эта возникает не только, так сказать, структурно — в переплетении противоречий и осложнений, но и ставится вполне сознательно и занимает одно из главенствующих мест в интересах общества и власти. Утилитаризм западной демократии явно преувеличивается сторонними наблюдателями. Институты бесплатного добровольчества и благотворительности охватывают все возрастные группы демократических стран в плохо представимой для советского и постсоветского сознания степени. Во всяком случае, не существует на самом деле такой альтернативы, как "нравственность, духовность или прагматизм". То, что безнравственность в высшей степени апрагматична, а бездуховность в далеко идущем смысле своем — убийственна,

становится несомненным фактом для большинства серьезных мыслителей Запада, для целых общественных движений.

Мне представляется надуманной и фиктивной также альтернатива "духовность или удобства". Привычность и повседневность удобств порождают не культ последних, а их незамечаемость. Отсутствие же таковых в массе случаев способствует не возрастанию духовности, а сокращению продолжительности жизни и падению жизнеспособности в тех возрастах, которые Запад воспринимает как цветущие. Аскеза и схима возвышают человека только в качестве результатов его свободного выбора. Если же из них попросту невозможно выпутаться, они унижают. Поэтому вряд ли следует выдавать нужду за добродетель. Я говорю об этом со знанием дела: у меня за спиной десять лет жизни в достатке, восемь последующих — в относительном достатке, за ними примерно двадцать преимущественно весьма и весьма тяжелых, и уж во всяком случае — без мало-мальских удобств. И вот уже семнадцатый год жизни, обеспеченной необходимыми удобствами, духовности моей не снижает, но растраченного в борьбе с непосильной работой и тяжелым бытом здоровья ни мне, ни моей дочери вернуть не может. Когда в 1958 — 59 годах мы с главврачом сельской больницы в деревне, где я работала, фронтально проверили здоровье детей и их матерей, оказалось, что 80% женщин больны хроническими заболеваниями и около половины школьников инфицированы в разной мере туберкулезом (неподалеку был тубсанаторий, и работающие там члены колхозных семей приносили домой не доеденную больными пищу). Я не думаю, что этим крестьянкам, чистившим до первого снега свеклу, сидя на ее кучах в поле, повредила бы теплая уборная. А мы с главврачом даже скамеечек для чистильщиц свеклы не могли в колхозе добиться. В жизни достаточно роковых альтернатив для того, чтобы не осложнять ее альтернативами надуманными.

Вернемся к словесной культуре современной России. Здесь у меня нет ни единого возражения. Я только хочу дополнить. Эталонные когда-то в речевом смысле московское радио и телевидение теперь уже стандартно, как норму, обрушивают на нас все эти слова "ФэЭрГе", "СэШэА" и т.д. Почему же тогда не произносить уже "СэНэГе", "КеНэРэ" и т.п.? Мелочь, но слышать тяжело. Особенно — в устах уважаемых, а порой и любимых комментаторов.

С уважением, Дора Штурман

* * *

Редакция "Континента" познакомила меня с письмом Доры Штурман, человека, глубоко мною уважаемого за муже-

ство и мирный, невзирая на все невзгоды ее жизни, дух. Ее согласие и похвала мне чрезвычайно дороги.

Что касается частных расхождений, то некоторые из них не то чтобы совсем мнимые, но — привнесенные, что ли. Я, например, хоть и не принадлежу к поклонникам В.Аксенова, но на эту тему не высказывался: перечитав соответствующее место моих заметок, можно увидеть, что Аксенов упоминается в чужой цитате, приведенной не ради оценки его творчества, а совсем с другой целью.

Есть расхождения, выглядящие фундаментальными, но тут у меня нет никаких недоумений или претензий, просто мы с Д.Штурман взираем на проблему с разных концов. Точнее — рассматриваем ее в разных контекстах и масштабах.

Для меня вопросы, затронутые в заметках "С веселым призраком свободы", — прежде всего о с в о б о д е, о ее понимании и употреблении. Это не суть вопросы некоего более совершенного внутрикультурного устройства, в котором хорошо бы мирно совместить культуру с цивилизацией, "духовность" с "удобством" и одновременно как-то отделить того Ю.Алешковского, который Д.Штурман нравится, от того Ю.Алешковского, который ее огорчает. Это вопросы уровня "быть или не быть" (человеку человеком). Быть культуре как возделыванию человеческой души или окончательно превратиться в возделывание внешних условий обитания человеческой особи, ее удобств и утех, в служение ее природным инстинктам, то есть — в цивилизацию.

Я бы непрочь заменить здесь "цивилизацию" другим термином, поскольку знаю, что такая ее трактовка многих не устраивает; но что поделаешь: не я такое понимание ввел, не мне его отменять, это давнее русское понимание, оно отражает наш душевный склад, духовный строй, наш взгляд на мир и на человека. Точку отсчета можно найти в словах Спасителя: "Царство Мое не от мира сего" (Иоан. 18, 36), — это из тех евангельских речений, которые наиболее точно соответствуют особенностям русского (и российского) менталитета, в свое время оформившего себя в православном исповедании. При такой точке отсчета видно, что культуре сущностно свойственно стремление к н е о т м и р н о м у. Какими способами, на каких путях и с какими результатами это стремление осуществляется — дело другое, но само-то с т р е м л е - н и е есть для культуры доминанта, родовое качество. Доминанта и родовое качество цивилизации — наоборот, забота "мира сего". По христианскому учению, дух и плоть не отрицают друг друга, Христос воскрес во плоти. Вопрос в другом — в иерархии: что выше, что должно властвовать, дух или материя; в конечном счете — ч т о в ы б и р а т ь в качестве главного. Культура выбирает в качестве главного дух, цивилизация — материю.

Соответственно и об "альтернативе духовности и удобства" говорить неточно: не будем же мы утверждать, что, предположим, "мягко спать" и "любить ближнего" есть вещи "альтернативные"; но иногда все-таки приходится выбирать в качестве иерархически главного что-то одно. Я уверен, что в тюрьме и лагере Дора Штурман не теоретизировала на эту тему, как вот я сейчас, а поступала; поступала по духу, а не "по плоти". Отдать последнюю рубашку — вряд ли придет в голову назвать это "цивилизованным" поступком; а вот о культуре говорить можно.

Поэтому и спора настоящего тут между мною и Д.Штурман быть не может, разве только о словах. Для меня лично вопрос лишь в том, как я-то вел бы себя на ее месте, если бы был там...

А "защита" Америки... Да я вовсе на эту Америку прекрасную и не нападаю. Говоря о том "американском", чему мы должны противостоять, я имею в виду не культуру в ее нормальных и подлинных проявлениях, а ту американщину, от которой уже все стонет в мире от Европы до Японии; ту специфически американскую, сытую, самодовольно-победительную бездуховность, которая откровеннее, массивнее, плотнее и потому витально мощнее бездуховности европейской или российской и безудержная экспансия которой, проявляющаяся на самых разных уровнях нашей жизни, представляет собой, по глубокому моему убеждению, главную для нас опасность. Почему и компромиссы непозволительны: тут уж поистине "не мир, но меч".

В.Непомнящий

P.S. В январе я прочитал значительную часть своих заметок по радио, и сейчас передо мной — несколько десятков писем. Привожу малую частичку из того, что можно было бы переписать.

"Ваше выступление — как молния, как взрыв, как вызов всему, что мы слышим, видим, что окружает нас... (Тростина Ф.С., Казань).

"У меня создается впечатление, что мы попросту перестали уважать себя, и в этом вся беда..." (Булыгина О.П., Тюмень).

"Если и была любовь, то и ее отняли, один секс оставили, и слово-то какое противное!...Думаю, что надоест людям озаграничивание, ох надоест, не привьется чужеродное, отпадет, да вот только когда это будет!" (Гонценбах И.К., дер. Горбачевичи Оршанского р-на, Беларусь).

"Стыдно за державу! За Россию! Зато додумались — платные туалеты повсюду!" (Филиппенко И.С., Ростов-на-Дону).

"Запад — разгул цивилизации. Обеспеченность — да, блеск этикета — да, но только не сердечная тоска по

"иному"... Все эти радиоголоса импортных миссионеров виснут камнем на шее... Радио России ориентируется на псевдо-западный стиль и ритм ведения передач ("псевдо" — потому что, хочется верить, и "там" что-то сохранилось)..." (Е.Мерная, Новосибирск).

"На нас, на Родину нашу хлынули потоки всяческой грязи, пачкают души молодых, растлевают, сводят с ума в буквальном смысле этого слова... Особенно проповедники по радио американские, и японские, и кришны, и кого-кого тут не услышишь, и все это нам, россиянам православным. Что за цель? И почему мы с этим миримся?.. Зря Вы думаете, что эта грязь как пена сойдет... Надо бороться" (Даниленко В.П., Краснодар).

"Еще не погибла русская культура. На высыхающем древе есть еще живые листья и ветви. Их мало, да, но их можно сохранить" (Митасов В.В., Москва).

"А хотела я сказать о России... Все-таки страна у нас особая, и очень мне за нее больно. Быть не может, чтобы возрождение не настало" (Рик Т.Г., Москва).

"Когда Вы закончили, произошло со мной совсем из ряда вон: внезапно, взрывом, я зарыдал... Не помню подобного..." (И. Совцов, ст. Студимир Жиздринского р-на Калужской обл.).

... Нет, в цитатах мало чего передашь... Москва, Тверь, Нижний Новгород, Иваново, Электросталь, Калуга, Астрахань, Рославль, Тирасполь, Бердичев, Старый Оскол, Владивосток, Новороссийск, Менделеевск, Ярополец... от 17 до 80 лет, от художника и учителя до рабочего и крестьянки-пенсионерки, от края до края — сплошной вопль, сплошное рыдание, сплошное "быть или не быть". И тут же, в этом рыдании о России, о нации, о культуре, — вера, надежда, жажда: быть! "Слабость наша! Укрепи нас, Господи, в смирении и терпении!" (Алешина О.И., Воскресенск).

В.Непомнящий.

* * *

Дорогие читатели "Континента"!

Пастернак отвечал на каждое письмо, даже "чайникам" и назойливым дамам. Фолкнер не отвечал никому и никогда, но складировал почту в особую комнату. Я — иногда отвечаю, чаще — нет. Но эпистолярный жанр мне не чужд, как говорят в народе, "по жизни". Письма — герои многих моих вещей, как опубликованных, так и не. Трудно признать случайным и тот факт, что под одной обложкой сошлись мой насквозь эпистолярный "Забор" и послание К.Ковальджи, на которое я взялась отвечать (№74). Письмо К. Ковальджи, в свою очередь

относится к публикации моей работы "Ученик отступника" в №72.

Пережив последовательно весь набор реакций уязвленного самолюбия — от смертельной обиды на редакцию (сначала в гости зовут, потом аппетит обсуждают), через полное, всерьез принятие на свой счет каждого из обвинений письма вплоть до "партийного суда над поэтами" и сравнения меня, грешной, с Бухариным, Ждановым и Сусловым; отдохнув и оправившись на привале иронии (Кирилл Владимирович, зная меня 20 лет, обращается через мою голову к главному редактору, которого тоже знает всю жизнь, но обращается не по имени-отчеству и т.п.), я наконец вырулила в тихую гавань анализа. И анализ помог мне вычлениить из письма К.Ковальджи то, с чем можно обращаться без цирлихов-манирлихов прямо к читателям. Потому что в равной степени и я, и мой неожиданный оппонент по профессии все же писатели, но не писем друг другу, о чем и свидетельствуют каналы связи. Друг другу пишут не через толстые журналы, а через почтовый ящик.

На мой слух, основной пафос письма состоит в том, что К.Ковальджи кажется не случайным избегание мною в статье понятия свободы творчества. Обходясь без этого понятия, я тем самым ущемляю права авторов, о которых идет речь в статье (Есенин и Высоцкий). Все остальные положения письма, сознательно или нет, вытекают из этого главного или сводятся к нему.

Статья "Ученик отступника" писана давно и безнадежно. К.Ковальджи не даст мне соврать, что сам отверг сей опус еще в бытность свою работником журнала "Юность". А больше я с ним никуда и не совалась, тем паче, что Кирилл Владимирович тогда же устно высказал мне все, что теперь письменно подтвердил, и я с русской, тяжелой до идиотизма, серьезностью несколько лет обдумывала сказанное, пока меня на малое время не избавили от рефлексии легкомысленные сотрудники "Континента". Я искренно и глубоко благодарна К.Ковальджи за строку о свободе творчества, потому что иначе, возможно, никогда бы и не добралась до этой темы.

Сознание христианина устроено так, что ему не довлеет принцип дополнительности. Даже в самом малом диапазоне оно ухитряется обжиться в целокупности, и с п о л н и т ь с я (Помните, в "Пророке": И с п о л н и с ь волею Моей!). Диапазон впоследствии можно бесконечно расширять, внутренний интерьер совершенствовать, но принцип дополнительности уже не понадобится. Есть одна свобода — свобода воли, дарованная Богом человеку по факту рождения. Никаких добавочных свобод, в том числе и свободы творчества, не говоря уж о печати, собраниях и т.д., не требуется. За них можно бороться вовне, в мировом (в смысле: мирском) масштабе. Аб-

солютно не при чем тут и праведничество, которое в христианстве только налагает дополнительные ограничения, ответственность, то есть, н е с в о б о д у в антихристианском понимании. Свобода воли не только не предостерегает от греха, но, напротив, вводит его в феноменологию жизни, легализует его. И отказ, жертва ценится только по степени ее добровольности. Религиозное сознание вообще отличается от секулярного полнотой мировосприятия и излишностью дополнительности. Ущерб, надлом, та самая "трещина мира", о коей упоминает К.Ковальджи, понуждает постоянно добирать недостающее. Поэтому те, кто называют себя "неверующими", как правило, интроверты. Целостное же, наполненное сознание не боится отдавать, делиться, причем, частное от такого деления только возрастает. Поэтому религиозные люди часто экстравертированы. Вопрос в том — ч т ó отдавать.

Сознание христианина — подарочное. Оно не ищет с в о е г о , предпочитая дарованное. Дарованное — не дармовое. Последнее употребляют через меру. Дарованным дорожат, берегут его, помнят дарителя по имени, день и час подарка. Но подарки получают не всякий день, а в праздник. Скажем, в день рождения. Виновник торжества умыть, причесан, принаряжен. И старается достойно себя вести. Паузы же между подарками и заполнены тем, что можно считать отдачей: ведь дар надо заслужить, а потом отработать. Правда, в праздник многие упиваются и объедаются, а неумные пастыри их к тому поощряют: пушай дите побалует, и так в будни света белого не видит. А дите по уши в шоколаде, пепси из носу пузырит — хрясь подарок об пол! А подарили ему образок, где маленький Спаситель у Пресвятой Девы на ручках... Заигралось дите, перевозбудилось. Это, что ли свобода творчества? Так ее понимает секулярное сознание и так она отличается от с в о б о д ы н е с в о б о д ы , диалектического клапана религиозного сознания.

"Уж вы простите бедному гению, он порой не отвечает за себя", — эта нарочито юродивая фраза К.Ковальджи хорошо удобрена. Тут и заранее пересказанный Пушкин с "Пока не требует поэта" и аллюзиями знаменитых цитат об и н о й природе "малости" и "мерзости" гения. Но — что Пушкин! Тут полутысячелетие борьбы за "свободу" выведения искусства за скобки жизни, морали, религии. Атака итальянских гуманистов, глубокий рейд Шопенгауэра, рекогносцировка Ломброзо, прорыв декадентов, бастионы постмодерна. Правда, был и толстовский бунт на корабле, но подавлен с беспримерною безжалостностью. Особые права, особые свободы, спецраспределители вседозволенности. Ну, там партийность, народность, полный комплект "чего изволите?", — не без этого, конечно. Но как до "... Христово тело выплевываю изо рта", —

так не замай! Свобода творчества! Пушай дите побалует, по-эпатирует барышень. Христос, безусловно, выплюнут в область сострадания, понимания, смирения и любви, а если Ходасевич сболтнул лишку, то он из области ненавидящих. Ну, за ненавидящих нам предписано молиться в первую голову. Только зачем уж так-то друг друга дурачить? Зачем расставлять Высоцкому знаки препинания, так что и прочесть нельзя? Песня — умнее, в песне слышнее.

Несчастный Свифт на пороге окончательных сумерек разума после длительного мизантропического молчания открыл рот, чтобы сказать самое честное из того, что можно сказать под бременем вседозволенности: "Пушай бы эти сумасшедшие хотя бы не сводили других с ума".

Стыдно, мучительно стыдно вести полемику с человеком, годящимся тебе в отцы. Условия заведомо неравны. За свободулюбие принимается генетический страх. Страх, что снова придут и заставят: "Делай, как я!" Только страх и объясняет феноменальную способность принимать другое за п р е ж н е е. Для "коллективного бессознательного" рефрен популярного хита: "Делай, как я!" может оказаться смертельно опасным. Принцип дополнительности работает, пока его питает источник оппонирования. Дополняющее, сиречь в о з р а ж а ю щ е е, сознание лишено дара различения. Оно умеет только сопротивляться. В этом его сила в пограничных ситуациях. В этом его слабость в ситуации выбора. "Вероисповедание" и "идеология" тут одно и то же, потому что чреваты (якобы) тотальностью распространения. "Свобода творчества" тут пролегает где-то между двумя возражениями. Между "много на себя берешь" и "ишь, какая нашлась". Творчества, разумеется, секулярного, о котором я и пробовала рассуждать в "Ученике отступника".

Да, статья-то, получается, о н е с в о б о д е. О том, что мы живем в х р и с т и а н с к о м мире независимо от того, являемся ли христианами, от того, в какой партии состоим и к какой конфессии примыкаем. О том, что после некоторых событий в Иудее периода конфликта федеральной и муниципальной властей в лице Пилата Понтийского и Ирода Антипы-четверовластника, человечество, хочет оно того или нет, вынуждено в той или иной форме учитывать деятельность выходца из Нижней Галилеи, считаться с тем, что этот парень с командой земляков несколько, скажем так, видоизменил порядок на планете Земля. При этом, повторю, человечество вольно исповедовать дзен-буддизм или хасбулат-дудаизм, но сказанное: Я дам вам истину, и истина сделает вас свободными, — сказано буквально к а ж д о м у. Это обладание истиной как залогом освоения свободы — освоения не через физкультурный комплекс или продразверстку, а исключительно в меру личности, — возможно только в полноте

Логоса, Божественного Слова, Которое воплощено тоже в распятом Боге, составляет Его ипостась. Таким образом, обходя философские туманности, основа мира в е р б а л и з и р о в а л а с ь, по-русски сказать, в о с л о в и л а с ь. Разговоры о свободе творчества в освобожденном, искупленном Творении есть не иное что, как тавтология, и возможны только после семидесяти пяти лет обессловливания, вербицида (И.Хейзинга) довербализации. Кстати, бессловесным искусствам, в частности, музыке (Прокофьев, Шостакович), никаких дополнительных свобод, судя по "Классической" или 7-й симфонии, не понадобилось. А если музыканты пачками сдаются на Запад, это означает лишь, что их природа наиболее расположена к внешнему комфорту, с чем и чао-какао.

Христианство, в отличие от католичества, лютеранства или англиканства, — не вероисповедание. Это — состояние мира после Воскресения, состояние принципиально новое. Не верующие во Христа, как бы они ни старались умертвить Его вторично, не в состоянии о т м е н и т ь факт Воскресения из мертвых, и з б е г н у т ь постижения этого факта хотя бы на уровне чистого релятивизма, тогда как миллионы людей милостью Божией избежали, например, коммунизма и даже в умозрении не в силах постичь этой заразы, с чем мы их и по-здравляем.

Мне не хотелось бы прибегать к расхожим формулам, подтверждающим мою мысль, типа тертуллианова "душа-христианка" или наивного мандельштамовского: "Художник XX века не может не быть христианином" (конечно, не может, но как дорого бы дал...). Достаточно, что, пусть на тривиальном уровне, большинство людей свободно оперируют арсеналом Благовествования, даже не фиксируясь на первоисточнике. Увы! При каждом удобном случае они, как Буратино от букваря, стараются избавиться от этого невесомого груза, отступить на зады дополнительных "свобод" или мировоззрений. Они приучаются манипулировать обрывками Священных текстов, к своей выгоде цитируя различные "не судите да не судимы будете", "подставь правую" и т.п. Конечно, поколению, выросшему без Евангелия, было бы жестоко вменять в грех непонимание, что с подобными требованиями Спаситель обращался к избранным Своим, а числом их было 12. Но если мы, камчадалы и второгодники мирового процесса, на этом основании не будем сегодня судимы за все, что натворили, то горе нам.

И я благодарю К.Ковальджи не только за то, что ему хватило мужества не проверять "шаг за шагом аргументацию автора статьи". Я прежде всего благодарна старшему товарищу, что он дал мне возможность вернуться к старой работе и оговорить то, что не удалось с первого раза. Да, творчество не

свободно от Творца, а художник христианского космоса не свободен от ответственности за земное обращение Бога-Слова. Выбирать же свободу по принципу данности или дополнительности — это личное право каждого, и зависит от выбора всего лишь такая малость, как возможность личного спасения.

Любящая вас

Марина Кудимова

* * *

Есть на Южном берегу Крыма странная достопримечательность: скала-памятник над могилой любимой собаки одного из Великих князей Романовых. Удивительные мы все-таки люди: зверски убили царя и детей, десятилетиями гноили их кости неизвестно где и все эти годы бережно сохраняли могилу великокняжеской собаки...

Вот уже скоро 20 лет, как я работаю в Ливадии — бывшей летней резиденции русских царей. Судьба этого места теснейшим образом связана с историей нашей страны, особенно драматично — с новейшей. После Февральской революции имение, строившееся не из казны, а на личные деньги Романовых, национализировали. Царя с семьей, как известно, вместо Крыма, куда они просились "жить, как частные лица", отправили в Сибирь, а в Ливадии стали жить вернувшиеся из Сибири политкаторжане. Потом здесь пришлось открыть детский приют — на юг хлынули беспризорные дети, осиротевшие в ходе двух войн и двух революций. Имелся в Ливадии и музей — "Критика быта царизма". По сути, это была попытка спасения дворцовых вещей — на каждую навесили ценник, и все покуда осталось на месте. Но с 1925 года музеем пришлось потесниться, а потом и вовсе исчезнуть. В бывшем царском имении торжественно открыли Крестьянский курорт. Об этом писал Маяковский: "Такое настало, а что еще будет!" (как в воду глядел). Когда с крестьянами справились, здравница стала профсоюзной и в таком виде осталась надолго — до войны и после нее, вплоть до 1974 г. Впрочем, могла бы и до наших дней, как другие дворцы, но в 1974 г. случился визит Р.Никсона в нашу страну. Л.Брежнев пригласил его на свою дачу в Нижней Ореанде — в 10 минутах ходьбы от Ливадии по Царской тропе. И все испугались, что Президент США Р.Никсон захочет посмотреть, где и как жил в 1945 г. во время Ялтинской конференции "Большой тройки" другой Президент США, Ф.Рузвельт. Поэтому в Ливадии срочно починили покосившиеся крылечки, а из Белого дворца быстро убрали санаторий и за три месяца изобразили музей.

Вышло очень похоже. 16 июля (вот ирония судьбы!) двери распахнулись для первых посетителей.

Однако в спешке забыли (или не захотели) предоставить дворцу статус музея. Это означало отсутствие права покупки, невозможность пополнять фонды, находить и возвращать утраченные дворцовые ценности (точнее, украденные, потому что всякая передача с баланса на баланс есть откровенный грабеж). В сочетании с принадлежностью дворца по-прежнему профсоюзам это низвело бывший флагман музейного дела в Крыму до уровня "кульпросветучреждения III разряда". Чтобы прикрыть стыд, дворец назвали "Выставочным комплексом". Пять парадных залов отвели под Мемориал Крымской конференции, а остальные — пустые жилые комнаты — заполнили передвижными тематическими выставками. Чего только не повидали стены царского дворца! От "Подарков советскому народу" (то бишь вождям народа от Сталина до Брежнева) — и до изделий народных умельцев республик СССР (как раз накануне его развала). Единственная тема была запретной: Романовы. За рассказы о том, что было "при царе", могли уволить с работы. Экскурсоводы боялись ушей даже бабушек-смотрительниц. Главной научной задачей ставилось разъяснение туристам благодетельности революционных преобразований и Ялтинских соглашений для судеб мира в целом и Ливадии в частности. Рассказ явно превышал показ, ибо показать было почти нечего. Во всем мире мейсенский фарфор дорожал, и только в Ливадии дешевели с каждым годом остатки коллекции Александра II — с них "снимали амортизацию", как с санаторного инвентаря. Одну из двух парных "торвальдсеновских" ваз разбила уборщица, заплатила 25 рублей. Мраморная "Пенелопа" Брюггера, подарок одесситов бабушке Николая II, проходила в бухгалтерских книгах по цене 20 рублей. Кованые ворота XVIII века итальянской работы до зияющих дыр общипали туристы на сувениры. Однажды тогдашний директор, бывший газосварщик, отдал на реставрацию венецианскую люстру — вернулась фактически киевская. Вместе с тем множились программы расширения экспозиции. По одной собирались поставить в зале макет избы в натуральную величину и воссоздать атмосферу Крестьянского курорта. По другой — Музей Революции придумал для нас "Свалку Истории", где в художественном порядке должны были разместиться остатки саксонской коллекции и дворцовой мебели. Третья программа требовала мундиров советских дипломатов и картины В.Ефанова "Ялтинская конференция" из Третьяковки (справедливости ради надо сказать, что нигде, кроме Ливадии, эта картина не имела бы такого количества внимательных зрителей).

Как вы помните, перемены наступили внезапно. Вдруг стало можно — и модно — рассказывать про царей. Вместо

временных выставок в личных покоях открылась постоянная: "Романовы в Ливадии". Около 150 фотографий, приоткрывающих другое наше прошлое. Три поколения российского императорского дома отдыхали здесь, гуляли по дорожкам старинного парка, купались в море, молились в дворцовой церкви, которая — слава Богу! — сохранилась до сих пор. Здесь лечилась от туберкулеза супруга Александра II императрица Мария, ради которой Ливадия и была куплена у наследников графа Л.Потоцкого по совету лейб-медика С.П.Боткина. Здесь скончался Александр III и взошел на престол Николай II. Последний вздох царя-миротворца и первую присягу молодого царя принимал здесь человек, считавшийся святым еще при жизни — знаменитый священник о. Иоанн Кронштадтский. Он же миропомазал в дворцовой церкви, приобщив к Православию, Александру Федоровну, тогда еще невесту Николая. Здесь же молилась и ее сестра, Елизавета Федоровна, сброшенная живьем в 1918 г. в алапаевскую шахту и канонизированная Архирейским собором в 1992 г. В рабочем кабинете Николая II — портреты отца и деда, чьи консерватизм и реформаторство он пытался сочетать в своей государственной деятельности. Однако в политике именно такая "средняя линия" чаще всего оказывается самой тяжелой и неблагоприятной... Вот на снимке бабушка, сын и внуки на палубе яхты "Штандарт" — на ней в июне 1914 г. они отплыли из Ливадии, еще не зная, что видят ее в последний раз.... На прибрежной гальке, оскальзываясь, позирует мальчик в матроске, напряженно вглядываясь в объектив, как в будущее. Так мог быть сфотографирован и ваш сын, и мой... Эта выставка рождает удивительное чувство причастности к судьбе Отечества и осознание своей ответственности за эту судьбу.

Возобновились службы в дворцовой церкви и состоялась первая панихида по Царской Семье — еще недавно и помыслить такое было невозможно. К 100-летию кончины Александра III и воцарения Николая II намечено поставить часовню-памятник праведнику и чудотворцу Иоанну Кронштадтскому — там, где ныне летняя танцевальная площадка, а был Малый дворец, в котором царь умер. Прочили научные конференции по творчеству двух архитекторов, формировавших облик Ливадии — И.А.Монигетти и Н.П.Краснова. Замячили перспективы международного обмена материалами — ведь только два и есть таких Мемориала периода 2-й мировой войны — Цецилиенхоф в Потсдаме и Ливадия в Ялте. Выяснилось, что автором идеи "коллективной безопасности" был еще прежде Рузвельта "наш" Николай II — и вот уже намечается сотрудничество с ООН. Наконец, летом этого года барон Э.А.Фальц-Фейн привез в Ливадию бесценный дар — персидский ковер с изображением царя, царицы и наследника, подарок шаха к 300-летию династии Романовых. Ковер

когда-то висел в вестибюле дворца, потом исчез и объявился лет 10 назад на одном из европейских аукционов, где барон его и купил по настоятельной просьбе Юлиана Семенова. Купил давно, однако в Ливадию привез не раньше, чем убедился, что ковер не похоронят в запаснике, а выставят в экспозиции. Появилась надежда на возвращение других дворцовых ценностей. Сотрудники Ливадии воспрянули духом — похоже, гадкий утенок, искусственно заторможенный в развитии, получал шанс все-таки превратиться в дивного лебедя. Началась разработка концепции "национального тематического парка" с разнообразными рекреационными возможностями — именно эта модель "музея будущего" во всем мире признана наиболее рентабельной и перспективной. Все базовые условия для этого в Ливадии есть: примечательное в историческом плане место, роскошный старинный парк, три великолепных по архитектуре дворца, ухоженный пляж и прогулочная тропа, клуб-столовая с кинозалом на 150 мест, огромный зал, теннисный корт, винподвал и другие добротные хозяйственные постройки еще XIX века — да всего и не перечислишь. Каждый нашел бы здесь для себя отдых и занятие по вкусу, а возможные убытки от каких-то культурных инициатив легко перекрывались бы прибыльным рестораном, например, — поскольку в такой музейной структуре доходы всех подразделений поступают в один "кошелек". Боюсь, что излагаю здесь азы экономики...

Для всего этого одного только и нет в Ливадии — единого и рачительного хозяина (есть только условный юридический — поселковый Совет). Не семь нянек у нее, а семижды семь. Дорогами заведует один, магазинами — другой, дворцом — третий, другим дворцом — четвертый, и так до многозначной цифры, при которой впору уже не работать, а начинать перегрызать друг другу горло в борьбе за сферы влияния. Что и происходит нынче — с неизбежностью закона природы, помноженного на нецивилизованность. Первыми еще несколько лет назад почуяли добычу фарцовщики и детки из разряда "дяденька, дай доллар!" Золотой дождь, в том числе и валютный, в Ливадии струится отнюдь не в государственные карманы. За мелкой рыбешкой потянулась крупная. Наконец, спохватились и "властные структуры" — как городского, так и республиканского масштаба. Первую пробу сил по оттягиванию того, что плохо лежит, они провели в Массандре, где дворец Александра III, бывшая госдача, доводился до музейной кондиции как филиал Эрмитажа. Санкт-Петербург сопротивлялся застенчиво и вяло, поэтому, дождавшись, когда он вложит во дворец огромные средства и доведет его "до ума", ялтинские депутаты объявляют дворец городской собственностью. Я не очень удивилась, когда не услышала в Массандре иных слов, кроме бранных, в адрес Эрмитажа. Как известно,

советский чиновник — самый большой любитель жать, где не сеял, приходить на готовое и при этом даже не говорить спасибо.

Вторым пал смертью храбрых дворец Юсуповых в Кореизе. Тоже бывшая госдача; теперь он запродан за валюту неизвестно кому, неизвестно, на сколько и за сколько, временами там кто-то живет и по особому благу туда, говорят, пускают "посмотреть". Мне не удалось.

Третьей жертвой готовится стать Ливадия. Обставляется это дело весьма тонко. Вот уже много лет (выросло целое поколение) в Ялте нет Исторического (бывшего Краеведческого) музея. Точнее, он есть, но лишь условно, как подпоручик Кизе, на бумаге. Понятие о нем складывается из сети филиалов: дома писателя Бирюкова, дома Тренева-Павленко, выставки голограмм в одном месте, археологической выставки в другом и т.д. Фонды годами замурованы в шкафах и ящиках, переезжают с места на место, сотрудники ютятся во временных комнатухах — хотя в Ялте есть подходящие исторические здания, в том числе и те, что раньше музею принадлежали (дворец Эмира Бухарского, например, — ныне клуб санатория Черноморского флота). Забрать эти здания у новых хозяев трудно, иное дело — Ливадийский дворец, который сейчас вроде как "ничей", поскольку профсоюзы уже созрели от него отказаться. И теперь в парадные и личные комнаты Царской Семьи внесут и расставят чучела и черепки, превратив дворец, по сути, в большой депозитарий, рассадят попросторнее новую сотню сотрудников, и уникальное место станет ординарным, каких сотни, и все на одно лицо. Это хорошо известное вливание нового вина в старые мехи, пришивание новой заплатки к прежней ткани добром не кончится: дыра станет больше, вкус вина испортится.

В подоплеке этой акции самая важная, но тщательно завуалированная деталь: кто будет хозяином сети коммерческих и валютных магазинов в Ливадии, мимо которой не проходит ни один черноморский круиз? Горсовет Ялты схлестнулся с республиканским совмином. Не пытайтесь понять, какой из вариантов лучше. "Оба хуже", одна валютная мафия стоит другой. Это раньше был выбор между Добром и Злом, теперь — между большим злом и меньшим, а критерием служит лишь степень относительной свободы этого выбора. В конце концов, начальники, конечно, договорятся, кому из них слизывать пеночку с жирного национального пирога. Но давно известно, что "паны дерутся — у холопов чубы трещат". Меня сильно беспокоит упорное нежелание властей всех мастей допускать ливадийских представителей на закрытые заседания, где решается судьба Ливадии, встречаться с коллективом дворца и учитывать его планы. Существует мнение (и я отчасти его разделяю), что не музейные смотрители, которых,

естественно, больше, чем научных сотрудников, должны определять музейную политику. Но в условиях посттоталитарного государства производственный коллектив является единственным средством контроля и тормозом кастовой начальственной ретивости. Наконец, существует просто закон, по которому никакие структурные изменения недопустимы без согласия коллектива, над которым сию процедуру собираются учинить. В любом случае при выборе модели будущего для Ливадии необходим экспертный анализ и гласное обсуждение. Давайте хоть иногда семь раз отмерять, прежде чем резать по живому — ведь с каждым необдуманном шагом властей истаивает возможность повторить для Ливадии замечательный план-проект реставрации, сделанный архитектором И.Манцыгиной для Кореиза и так и нереализованный. Да на Западе давно бы его использовали и уже прибыль получали! "Вы ходите по золоту, и не хотите наклониться, чтоб его поднять", — сказал о нас Э.А.Фальц-Фейн, большой знаток туристского дела.

Ливадия, наше национальное богатство, стала заложницей амбиций серой посредственности, использующей противоядие России и Украины — никто не хочет, боится вмешиваться в крымские дела. Вот есть музей семьи Бенуа в Петергофе — почему бы не быть в Ливадии музеем семьи Романовых, внесших не меньший — если не больший — вклад в историю? Господа потомки Романовых, решитесь ли вы защитить честь и достоинство романовского гнезда? Сейчас несколько городов оспаривают право похоронить останки последнего императора и его семьи. Я промолчу о большевистской идее похорон на Красной площади. Но и Петропавловская царская усыпальница не кажется мне удачным решением — в ней нельзя будет, очевидно, похоронить горничную, камердинера, повара, врача — людей, которые сто раз могли спастись, но предпочли разделить судьбу тех, кому были сердечно преданы. По совести — надо хоронить всех вместе. Лежат же вместе Великая княгиня Елизавета Федоровна и ее келейница Варвара в Иерусалимской церкви Марии Магдалины (повторением которой, кстати, является ялтинский собор Александра Невского). Вернуться в Ливадию — это была воля самого Николая II и его семьи. Они говорили: "Здесь — жизнь, а в Петербурге — служба"...

Не секрет, что музей Бенуа был создан при личном участии супругов Горбачевых. У нас всегда так: что-то делается быстро и хорошо только в результате высочайшего вмешательства. На что естественным путем ушли бы годы, было сделано и в Ливадии в 1974 г. за три месяца. Исходя из законов этой системы, к кому обратиться на этот раз, к которому из Президентов? Или, может, уж сразу к английской королеве?

Предположим, нам удастся при очередной встрече Л.Кравчука и Б.Ельцина уговорить их на минуту присесть на

мраморную ливадийскую скамью. Третьим в этой новой Ялтинской конференции, по-видимому, должен стать Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Не может Русская православная церковь остаться равнодушной к тому месту, где происходили сразу десять святых!

Впрочем, особых иллюзий у меня нет. Опыт показывает, что в нашей несчастной стране из всех возможностей последовательно выбирается наихудшая. При этом, как правило, втихаря. Нас как не спрашивали, так и не спрашивают. И не спросят. А сделают так, как будет проще, удобнее, а главное — выгоднее конкретному человеку, который случайно именно сегодня здесь обладает правом последнего слова и первой подписи.

И остается уповать лишь на то, что Государь Николай Александрович, который молится за нас в селениях райских, сам как-нибудь управит свое имение, куда он так мечтал вернуться...

Т.В. Бездетская,
искусствовед, бывшая сотрудница
Ливадийского историко-художественного комплекса.

Р.С. Великая панихида по Царской Семье в Ливадии прошла в этом году без участия Великой княгини Марии Владимировны с сыном. Против их уже объявленного визита в Крым в июле возражало Правительство Украины. Визит предположительно состоится осенью. Между тем Министр культуры Крыма озадачил сотрудников Ливадийского дворца требованием "выходить на международный уровень и крепить связи с потомками Романовых". Очевидно поэтому уже в августе (ровно через год после августа 1991 г.) внезапно была смещена прежняя Заведующая Ливадийским историко-художественным выставочным комплексом и назначена новая: бывший секретарь по идеологии Ялтинского горкома КПСС Л.Ф.Ковалева. То есть человек, всю жизнь доказывавший законность злодейского убийства Царской Семьи, теперь в качестве хозяйки их дома будет пожимать руки их потомкам. Воистину за грехи наши Господь попустил такое!..

Уважаемые читатели!

Подписка на журнал

КОНТИНЕНТ

принимается во всех отделениях связи России.

Наш подписной индекс в каталоге "Роспечати"

73218

**Жители Москвы и Московской области могут
подписаться**

**на журнал в редакции и получать его там же
по мере выхода в свет очередных номеров,
не платя за доставку по почте.**

КОНТИНЕНТ

**продается в книжных магазинах, киосках "Роспечати"
и высылается по индивидуальным заказам
агентством "Книга-сервис".**

Адрес редакции:

**Россия, 101923, Москва, Чистопрудный бульвар, 8а,
редакция журнала "Континент".
Тел. 928-97-42.**

Если вы не успели подписаться на

КОНТИНЕНТ,

вы можете приобрести отдельные номера журнала
в магазине
«МУЛЬТИМЕДИА»

109189, Москва, ул. Николо-Ямская, 1.
Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы.

В магазине всегда в продаже журналы:
«Иностранная литература», «Истина и жизнь»,
«Искусство кино», «Интерлинк»,
«Новый журнал» (Нью-Йорк), «Право»,
«Российско-британский бизнес», «Синапс»,
«Совесть и свобода», «С нами Бог»;

газеты:

«Инглиш» (детская газета для изучающих английский язык), «Япония сегодня».

Магазин приглашает к сотрудничеству распространителей периодических изданий.

РОССИЙСКАЯ КНИГОТОРГОВАЯ ПАЛАТА

объявляет подписку

на книги издательства «НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»

В.О. Ключевский «Русская история», цв. обл., 190 с., 120 руб.

Ричард Пайпс. «Россия при старом режиме»,
обл., 420 с., 330 руб.

Г. Остер. «Противные задачи», цв. обл., с илл., 32 с., 105 руб.
«Бродский об Ахматовой», обл., 50 с., 105 руб.

на книги издательства «МИКО-КВ»

Абу Али ибн Сина (Авиценна). «Канон врачебной науки»,
3 тома, обл., 1000 с., 1920 руб.

на книги издательства «СЕМЬЯ И ШКОЛА»

В.Леви. «Исповедь гипнотизера», 3 тома, цв. обл., 1000 с., 840
руб.

на детский иллюстрированный журнал «ТРАМВАЙ»

Уникальный иллюстрированный журнал, собравший в
прошлые годы рекордное число подписчиков - 3 миллиона.
Оригинальные работы известных литераторов и художников,
печатаются в Финляндии, № 1-6 1993 г., 2160 руб.

на журнал «МАГАЗИН»

популярный юмористический журнал под редакцией
М.Жванецкого. Большое количество смешных текстов и
иллюстраций. № 3-5 1993 г., 303 руб.

Все цены включают стоимость доставки на территории
России и Украины.

Прием денег по указанным ценам до 1 сентября 1993 г.

Для перевода: г.Москва, р/с 4680140 в ком. банке
«Индустрия-Сервис»,

к/с 161858 в ГУ ЦБ РФ по г.Москве, МФО 201791 (РКТП).

На бланке перевода четко пишите реквизиты банка, свой
адрес и фамилию.

На поле для письма перечислите названия и количество
заказанных книг.

Для писем: г.Москва, 109443, а/я 12.

Тел. для справок: (095) 250-61-82.

Для москвичей: вместо перевода - открытка-заказ с Вашим
адресом на каждую книгу (или комплект журналов) в
отдельности по адресу для писем.

Художник Н.Кудрявцева

Сдано в набор 1.09.93. Подписано к печати 1.10.93.

Формат 84x108/32. Бумага офсетная №2.

Гарнитура "Таймс". Печать офсетная.

Усл.печ.л. 19,32. Усл.кор.отт. 19,74. Уч.-изд.л. 18,35.

Тираж 45000 экз.

Заказ № 485 . Цена свободная.

Л.р.№ 010184.

Издательство «Московский рабочий», 101923, ГСП, Москва,
Центр, Чистопрудный бульвар, 8а.

Адрес редакции журнала «Континент»: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8а.
Телефон: 928-97-42.

Оригинал-макет изготовлен в компьютерном центре агентства
"Инфан".

Отпечатано в Московской типографии № 13.
107005, Москва, Денисовский пер., 30.

